

ЮНОСТЬ

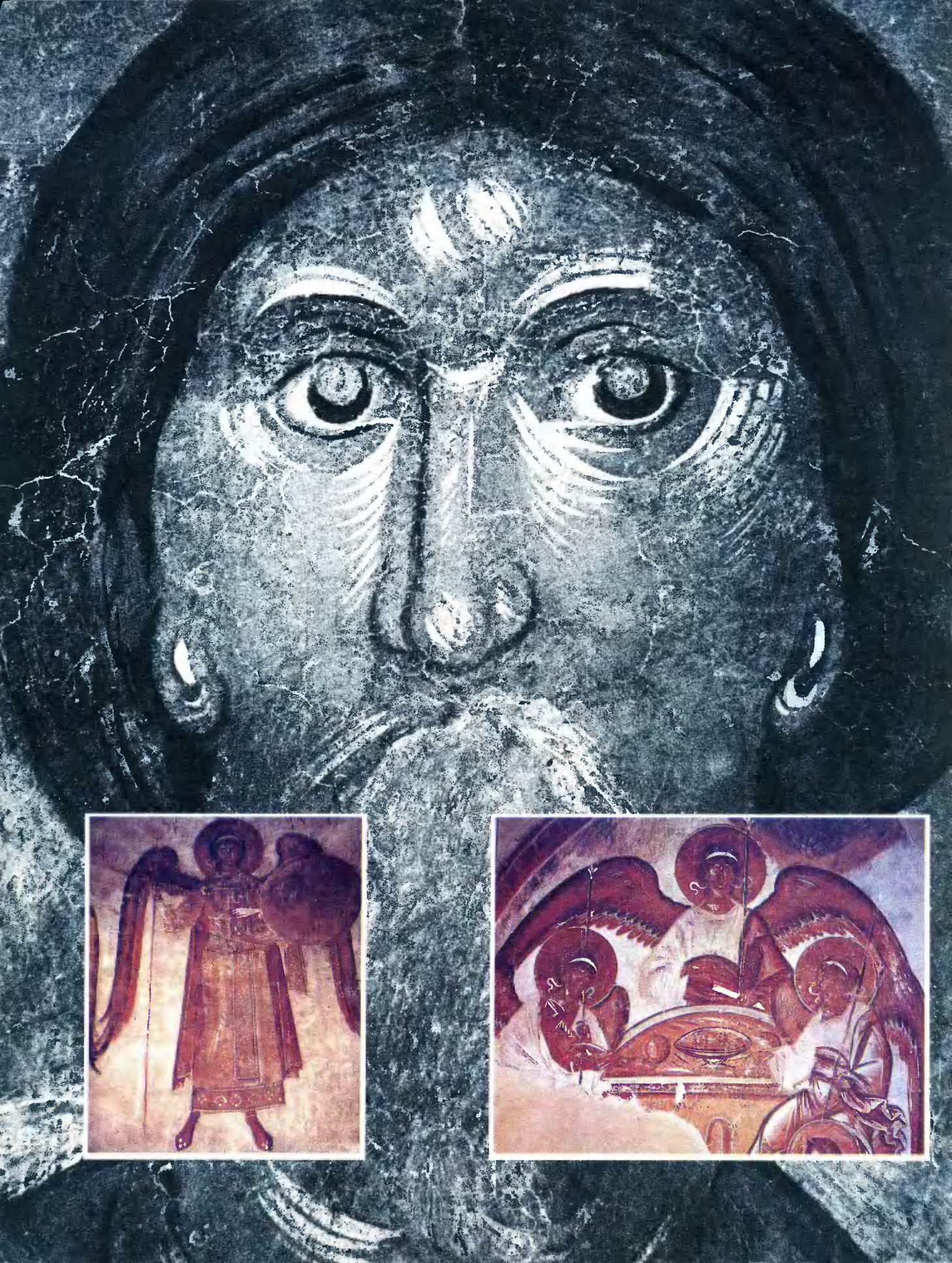
5,95

Дмитрий ХОЛЕНДРО
«СТО СТРАНИЦ ВОЙНЫ»
Документальная повесть

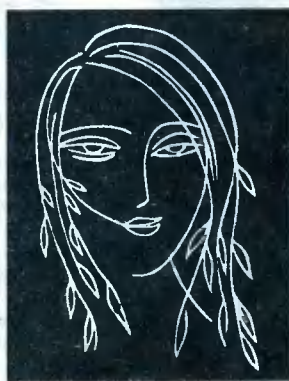
Геннадий ГОЛОВИН
«ЖИЗНЬ ИНАЧЕ»
Повесть. Продолжение

Сергей ТОЛКАЧЕВ
«БУЛЬОН НА ПАЛУБЕ»
«ПРОМЕНАД»





ЮНОСТЬ[©]



С. Красаускас. 1962 г.

Май (476) **1995**

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА**

Редакционная коллегия:

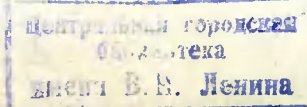
главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

Елена ДУБЧЕНКО
заместитель
главного редактора
Натан ЗЛОТНИКОВ
ответственный секретарь
Владимир КОЖЕМЯКИН
Николай НОВИКОВ
главный художник
Юрий ПЕТЕЛИН
Эмилия ПРОСКУРНИНА
заместитель
главного редактора
Юрий САДОВНИКОВ

Редакционный совет:

Геннадий ГОЛОВИН
Сергей ДЫШЕВ
Сергей ЕСИН
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Александр ЛАВРИН
Валерия НАРБИКОВА
Булат ОКУДЖАВА
Игорь ОБРОСОВ
Владимир ОРЛОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий РЯШЕНЦЕВ
Евгений СИДОРОВ
Владимир СОКОЛОВ
Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР
Представитель журнала в Париже
Валерий ПРИЙМЕНКО



Лев ОШАНИН

СТАВЯ ПАМЯТНИК ГОРЮ...

Даже если тебе не пятнадцать, а сорок.
Та былая война от тебя далека.
Только мнится, что движется время нескоро.
Время мчится, снимая года и века.

Для тебя это все не судьба, а наука.
Это было. Когда это было? Давно.
Все смешалось — Кутузов, Нахимов и Жуков,
Сталинград, Севастополь и Бородино.

А для нас, человек двадцатого века,
Сталинград — это в сердце кровавая вежа.
По ночам просытаюсь — забыть не могу —
Друг хрипит, умирая на сером снегу.

Еще фото и фильмы не все сожжены.
Еще живы солдаты той страшной войны.
Отлянись на деревни в пустой нищете,
На безмерное поле в бесплодной тщете.

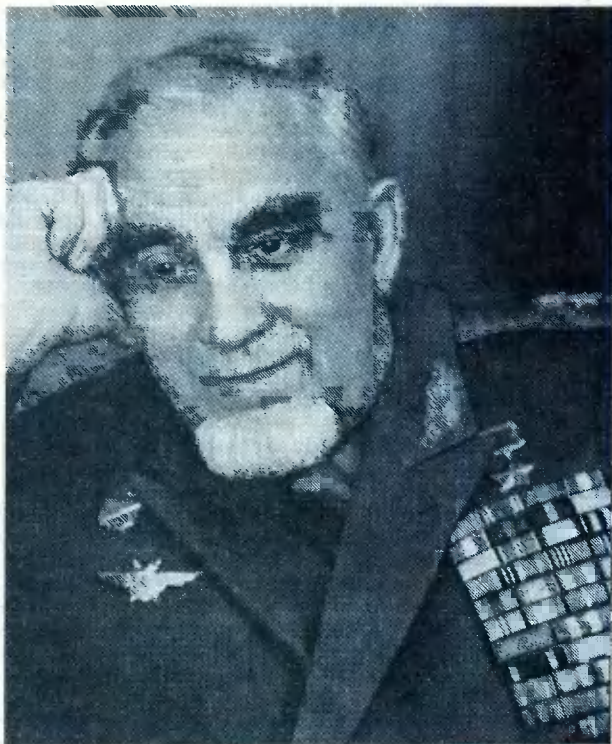
Век еще не прошел, но, не глядя назад,
Снова люди бездушно оружием гремят.
Чья беспамятность? Чья роковая вина?
Ставя памятник горю на все времена,
Если входите в жизнь вы не ради наживы
И для вас еще прошлые павшие живы:
Зачеркните бесстыдное слово «война».

23 января 1995 года

Владимир ТОКАРЕВ

Человек из «СУДЬБЫ...

...человека». Так мы решили назвать этот материал. Владимир Токарев рассказывает о судьбе человека, эпизод из жизни которого лег в основу шолоховской «Судьбы человека».



Григорий Устинович Дольников. Фото В. Гребнева

Я кругом и навечно виноват перед теми, С кем сегодня встретиться я почел бы за честь. В. Высоцкий

Мое поколение на ту великую войну, не то к счастью, не то к сожалению, не попало. Мы опоздали всего на несколько лет. В сорок втором году погиб подо Ржевом один мой дядя, ему было семнадцать лет. В марте сорок пятого — пропал без вести второй. Его я помнил — в довоенной летной форме с «кубарем» в петлице и «курицей» на рукаве. В победном мае пришло странное письмо — не привычный треугольник, а настоящий конверт с письмом, написанным несколькими людьми, и фотографиями летчиков. В суровом немолодом капитане узнавался наш Саша, двадцатичетырехлетний... Однополчане писали, что штурмовик комэска был подбит зенитным огнем и упал, а, может быть, сел на вражеской территории, и тогда, наверное, дядя мой попал в плен. Как плохо мы тогда в тылу сознавали, что такое фашистский плен! Тема эта и в те дни, и годы спустя оставалась запретной: солдат должен был или героически сразиться или героически погибнуть...

Но плен — это еще не смерть, «пропал без вести» — еще не погиб. Надежда у нас еще оставалась, и не счастье сколько раз ходил я в то лето сорок пятого на станцию — «встречать дядю Сашу». И брал с собою его фронттовую фотокарточку, боялся, что не узнаю... Он не вернулся. И так было почти в каждой семье, в каждом доме...

Сейчас передо мной лежат две пожелтевшие газеты «Правда», одна за 31 декабря 1956, другая за 1 января 1957 года. Новый — двенадцатый по счету — год без войны. О ней уж стали как-то забывать, и тут взрыв! Сколько было разговоров, как сильно шолоховская «Судьба человека» всколыхнула народную память! Стране был явлен новый тип героя Великой Отечественной, эта была новая страшная правда о плене, концлагере. Потом Бондарчук снял свой знаменитый фильм, военная тема мощным потоком хлынула на страницы книг, в кино, на телеэкран. «Никто не забыт, ничто не забыто», — скандировали по торжественным дням пионеры. Так ли? Всегда ли? Всеми ли...

ТРИ ВСТРЕЧИ

Мне всегда везло на встречи с интересными людьми. Но такого как в этот раз... такого еще не случалось. Первая встреча произошла еще в конце пятидесятых — случайно. Вторая лет через пятнадцать — как подарок. Третья, главная — была судьба. И все эти встречи — словно патроны в одной фронтвой обойме!

Летом пятьдесят девятого года я познакомился с одним человеком. Мы отдыхали в соседних деревнях на Рязани. Люди вокруг добрые, места чудесные, ласковая речушка Проня.. в Оку впадает. Слово за слово, разговорились мы с соседом. Не скажу, чтобы близко, но подружился. Он-то, а звали его Федор Федорович, и вставил первый патрон в обойму этой весьма любопытной истории. Он был мастер рассказывать, я любил слушать, поскольку не рыбак вовсе. Так, на рыбалке, в разговоре и дошли мы до шолоховской «Судьбы человека». Неожиданно он говорит:

— Да я ведь эту историю от молодого летчика после войны узнал. Он тогда с меня слово взял никому не рассказывать и о нем не писать. Была у него тому своя серьезная причина... Но после смерти Сталина я не удержался и рассказал все Шолохову, тогда я у него литературным секретарем работал. Слово, как видите, не сдержал, но Михаил Александрович отличную повесть сделал. Сомневаюсь, правда, что Соколов — его настоящая фамилия... Где сейчас тот летчик, жив ли, чем занимается, не знаю.

С соседом своим я потом встречался все реже и реже, у него свои дела, у меня — служба. Фамилию его встречаю иногда в журналах — рассказы, очерки. История с «Судьбой человека» с годами стала как-то и забываться... Тут и случилась вторая встреча.

Еще много лет назад сложились у меня добрые дружеские отношения с замечательным человеком, пилотом, Константином Петровичем Сапелкиным. Именно так зовут его в жизни, он и поныне здравствует. С его разрешения —

валяй, говорит, нынче все можно — я ничего не меняю ни в его имени, ни в биографии. Заслуженный пилот СССР, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых и трудовых орденов, умница и эдакий «воздушный гусар» даже в свои 75 лет.

Ночью 31 декабря 1941 года он был сбит в районе озера Каспля на Смоленщине, горящий самолет рухнул в лес. Немцы разыскивали самолет, но партизаны нашли первыми. Подлежился он у них, перешел линию фронта и вернулся в полк. Пролетал лейтенант Сапелкин всю войну до самой Победы. Как похожи были тогда судьбы многих людей: фронт, плен, побег, партизаны, снова фронт. И еще раны, контузии, смерть товарищей. А у летчиков вообще, как говорят, без вариантов: вернулся с боевого задания или... Если очевидцев гибели не было, может, и жив, может, вернется — бывали такие случаи, правда, нечасто.

После войны еще многие годы летал Константин Петрович Сапелкин командиром корабля в правительственном отряде. Он и рассказал мне вот такую историю:

— Пригласил Никиту Сергеевича Хрущева американский президент Эйзенхауэр в Америку. Было принято решение лететь в Штаты на новой, только построенной машине ТУ-114. Огромный был корабль, на шасси стоял высоко, как журавль. Помнишь, тогда газеты писали, что в аэропорту Вашингтона трап подходящий никак не могли найти? Ни один до дверей нашего лайнера не доставал. Хрущев с собой пригласил Михаила Александровича Шолохова. Оба собрались смотреть Америку вместе с женами. Никита Сергеевич их почему-то, жен-то, все поддевал: урядники, мол. Но меня это не касается — их дело. Те, кажется, были сестрами, Мария и Нина Петровны.

Часа через полтора-два после взлета, дай, думаю, посмотрю, как дела в салоне. Вижу, дамы между собой беседуют, а Шолохов, слышу, убеждает Хрущева, что та история из «Судьбы человека» списана с жизни, придуманы только детали. И человек такой был и сейчас, наверное, жив, даже фамилию его он поставил настоящую — Соколов. Только был он не шофер, а летчик. Хрущев никак не хотел в это верить, хотя и хвалил, молодец, говорит, здорово придумал. «Судьба человека» только что вышла на экраны...

Сын у Хрущева был летчиком, в войну в плен к немцам попал, судили его, кажется, в конце войны — за какие-то недобрые дела во время плена и расстреляли. Сталин в помиловании сына Хрущеву отказал. У Сталина сын тоже был в плену, но не сломался... Тогда все это было покрыто тайной. Это я позже узнал. Вот Хрущев и допытывался у Шолохова, что да как все было.

Слушал я старого летчика и отметил про себя: выходит, и вправду был такой человек, нужно бы поискать, если он еще жив...

Вот так и появился в той обложке второй патрон.

Я терпеливо ждал, вдруг да сведет судьба наши пути-дороги с Соколовым? Встреча должна была состояться, она просто не могла не состояться...

Прошло еще лет десять-двенадцать. На книжных полках появлялись все новые и новые мемуары, воспоминания... Генералы, маршалы, фронты, операции... Где уж пробиться на эти страницы простому солдату, там и лейтенантов было негусто. Один из немногих, друг мой армейский Женя Хохлов — под Сталинградом был командиром танка Т-34, лейтенантом. Но ведь вспомнил же о нем в своих «Воспоминаниях и размышлениях» сам Георгий Константинович Жуков!..

Удача — дама капризная, родная сестрица судьбы. Сместившись она, и вот держу я в руках «лейтенантские» мемуары «Летит стальная эскадрилья». Значит, комэск писал. Читаю и диву даюсь: это же он, Соколов! Как я не знал, как не догадался! Почему эта самая главная встреча раньше не состоялась? Мы же много раз виделись, общались по службе. Герой Советского Союза, заместитель Главкома ВВС, генерал-полковник авиации, Заслуженный военный летчик, кандидат исторических наук, фронтовик! Скромный, доброй славянской души человек, Григорий Устинович Долбняков...

— Милый, Григорий Устинович, что же вы так долго молчали?

— А ты что, правда, не знал? Тогда давай приезжай ко мне домой, я ведь уже в отставку вышел. Все по порядку и расскажу, теперь у меня времени больше стало...

ДОЛБНЯКОВ РАССКАЗЫВАЕТ

— Все летчики твердо помнят три вещи: первый полет, последний полет и первого своего инструктора. Воевавшие помнят еще первый и последний боевые вылеты, помнят невернувшихся товарищей, поименно, а возраст их не сложно запомнить: либо 21, либо 22...

В моей судьбе нет ничего особенного, обыкновенная фронтовая судьба, как у всех, кто прошел войну...

День Победы я встретил в кабине истребителя. Накануне, 8 мая, наш 100-й гвардейский перелетел на немецкий аэродром Гроссенхайм. С утра мы съездили в Берлин, сфотографировались на фоне Бранденбургских ворот, расписались на рейхстаге. Радостно было — живы! И едва только 9 мая, на рассвете, узнали, что акт о капитуляции подписан, как вдруг приказ нашего комдива Александра Ивановича Покрышкина: прикрыть с воздуха танковые колонны,двигающиеся на Прагу. Я шел ведущим восьмерки истребителей. Было какое-то непривычное чувство: война закончилась, а вылет — боевой. И пронеслось вдруг в уме — эх, жаль будет, ежели убьют. Очень бы хотелось мирной жизнью пожить. Как она сложится, никто и представить не мог, вся юность на фронте прошла.

Сбили мы «фаму», корректировавшую огонь немецких батарей по нашим танкам, и вернулись на базу все. С того самого вечера и началась моя эта самая мирная жизнь. В свои двадцать с небольшим мы уже приучились не особо заглядывать в будущее, но прошлое помнили хорошо...

Малая родина моя — затерявшаяся в белорусских лесах деревушка Сахаровка. Жизнь в ней была, правда, совсем не сахар. В большой бедности жили. Была у меня с детства мечта, смешная, правда, — стать киномехаником. Модная была тогда в деревнях профессия — кино крутить. Но когда мне стукнуло тринадцать, разбилась мечта моя — умерли отец, сестра, и ушел я в город на заработки. Поступил в ФЗО при паровозном депо. Вот там и подхватил вдруг «вирус» другой мечты — о небе. Всю жизнь «страдаю» от этой болезни.

Что творилось тогда! Самолеты, рекордные перелеты, аэроклубы — голова шла кругом. Да тут еще к нам в общежитие два пилота настоящие зарпнули. Сапоги хромовые, блестящие, пилотки со звездочками, на рукавах крылья с пропеллером. Этот удар мы с ребятами еще как-то перенесли, но вот кожаные регланы нас совсем доконали. Я тогда твердо решил: все силы приложу, но стану летчиком. Ребята стали путать меня, мол, худой, маленький, в аэроклубе медицинская комиссия — не люди, а звери: бросают в глубокую яму, вытаскивают и пульс щупают. Надо, решил, потренироваться падать в ямы, а покуда начал фотографии летчиков, героев Испании и Халкин-Гола, из журналов вырезать...

Исполнилось мне шестнадцать, закончил я ФЗО, стал бригадиром в цехе, а в летчики хочется — сил нет! Отправился в аэроклуб. Прошел комиссию. Зачислили. Начал заниматься и вдруг узнаю, что летчиком-инструктором у меня будет... девушка, чуть старше, чем я. Такого издевательства над своей мечтой я не вынес и забросил учебу. Живу, хорошо зарабатываю, уже мастер, стахановец — дался мне этот аэроклуб! Вон маршал Ворошилов тоже слесарем был и ничего.

И вдруг — судьба «не вдруг» не случается — приходит ко мне в цех мой инструктор, та девушка Анна Чекунова, и приносит курсантскую летную форму. На следующий день я вернулся в аэроклуб.

В этой форме, с инструктором Аней я и взлетел первый раз в своей жизни. Да вот так, незаметно, и пролетал сорок лет. И около сорока самолетов и вертолетов освоил. Последний полет у меня был в пятьдесят восемь лет. Ну, думаю, хватит. Все труднее и труднее поспевать за новыми

машинами, за молодежью. Эх, а знал бы ты, как и теперь хочется на новом МИГе полетать! Ну да ладно...

По окончании аэроклуба, весной сорокового я прибыл в летное военное училище, а в начале сорок первого начался полеты на учебном УТ-2, затем мы «пересели» на истребитель И-16. Это была моя первая боевая машина.

22 июня с утра мы собирались в город, солнышко светило. Первый в нашей жизни «юнкерс» низко-низко прошел над нашим аэродромом, отчетливо были видны кресты... Война! Из училища в строевую часть я прибыл только в январе 1943 года. Потери в небе были огромные, да и на земле тоже. Прошел ускоренную переподготовку на американские «аэрокобры» и сразу в боевой полк. А тут, что ни летчик — то ас! Борис и Дмитрий Глинка — оба Герои, Герой-комэск Николай Лавицкий, сам Покрышкин, Иван Бабаков...

Иван Бабаков, мой фронтовой друг, и сейчас живет на Полтавщине. Ты знаешь, что это за человек! До войны тихий, ни с кем, кажется, так и не подрался, но что он творил в небе! К концу войны уже полком командовал, но сбили-таки его в марте сорок пятого. В полку его считали погибшим, я даже на борту своего истребителя написал «за Ваню Бабака!» Вдруг прошел слух, что Иван жив, в плену, в американской зоне. Покрышкин, как узнал, так сразу — туда. Американцы рты пораскрывали: сам знаменитый ас, три золотых звезды Героя, но пока они ахали, комдив схватил Ивана в охапку и домой. Дерзость с его стороны неслыханная, не будь он человеком прославленным, головы бы ему не несли. Такая вот была фронтовая дружба, как вспомню сейчас, слеза наворачивается. Близкий мой друг Петя Гучек — Героя ему дали посмертно — погиб он за несколько дней до Победы. Петя научил меня писать дневник, так и веду его уже полвека...

Ну кто меня, не нюхавшего пороха, возьмет в таком полку себе в ведомые? Выполнил я несколько боевых вылетов, и тут комэск Николай Лавицкий говорит:

— Долбникова ведомым беру я...

Тридцать первого августа небо над Кубанью было еще «не наше». Самолет комэска оказался в отчаянном положении, секунда-другая, и его расстреляют. Тут я и бросил свой самолет под очередь немца. Комэск вывернулся, а я падаю. С трудом выбрался из горящей машины, спустился на парашюте. Но при ударе о землю вывихнул руку. Подобрали меня наши пехотинцы, отвезли в медсанбат. Руку мне вправили, а на следующий день я и сбежал. Пришел в полк, а меня считают погибшим. Комэск так и сказал:

— Гриша Долбников был не только смелым летчиком, но и преданным другом.

Был? Нет, думаю, еще летаем. Скоро я сбил уже три самолета. С того времени дали мне позывной «Горачий» — так, на белорусский манер, произносил я слово «горячий». С этим позывным всю войну и пролетал...

Прошел месяц после того, как меня сбили. Утром 30 сентября Коля Лавицкий повел нашу шестерку «аэрокобр» в район Большого Токмака. Задание ясно до деталей: ни одной бомбы не должно упасть на позиции наших войск, драться до последнего, если потребует обстановка — идти на таран. Это был мой 56 боевой вылет.

Вышли в зону «работы», я первым заметил шестнадцать «немцев». Идут без прикрытия истребителей. Коля дает команду: «Горачий, атакуем!» Пошли на прямое сближение. Немцы дрогнули, несколько бомбардировщиков круто заложили вираж и пошли назад. Три бомбардировщика мы сходу свалили. И тут появились запоздавшие «мессеры». По приказу комэска пошел с ними на сближение и с первой же попытки прошел очередью головную машину. Немец задымил, но не падает. Подошел ближе, чтобы добить, жму на гашетку, а пулемет молчит — кончился боекомплект. Гарантии! Только подумал, как мой самолет задрожал и начал сыпаться вниз. Слышу в наушниках голос комэска:

— Горачий, горишь!

Машина падает беспорядочно, я с трудом выбрался из кабины. Но прямо на меня идет «мессер», очередь, еще одна очередь. Мимо! Живой. Земля уже рядом, жаль —

чужая... Не дело пересказывать Шолохова, но мы без него не обойдемся никак. На, читай, тут закладочки у меня: «Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен<...> Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал — не сообщу. Очнулся, а встать на ноги не могу... в глазах темно... и боль во всем теле такая... Но кое-как встал<...> Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились... потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот так оно на войне бывает...»

Очнулся я от тяжелых ударов. Немцы били ногами до тех пор, пока не стало темно в глазах. Чего бы ни стоило — нужно встать, иначе так, лежащего, и убьют. Встал, думал, пот со лба течет, а это кровь. Так вот все, по-шолоховски: «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе... И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было».

Гестапо располагалось в крестьянской хате, туда меня и поволокли. За столом сидели трое. В центре сильно подвыпивший жирный немец в белой расстегнутой рубашке. Наверное, старший по званию. У ног сидела здоровенная овчарка. Начали допрос. Назвался я, сам не знаю почему, Андреем Соколовым.

На столе стояли бутылки, закуска. Окна были распахнуты, и видно было, как стоняют народ. Немцы умели превращать казнь в спектакль — для запугивания населения. Гестаповец плеснул в стакан водки и приказал:

— Пей за нашу победу!

Мне терять было уже нечего, я и ответил:

— Мало.

Немцы переглянулись и налили полный стакан. Я молча выпил, а от закуски отказался:

— Русские после первой не закусывают.

Потом выпил второй стакан, третий, но закуски так и не взял.

— Русские перед смертью не закусывают, — говорю.

И в этот момент входит в избу старушка-хозяйка, в руках у нее огурцы и помидоры:

— Съешь, сынок, это мои, не их, иродов.

Немец ударил ее сапогом, она упала, а я, потеряв контроль над собой, бросился на фашиста. Втроем они меня били до тех пор, пока не поняли, что я без сознания...

Дело не в том, что Шолохов перенес эту сцену в кабинет начальника концлагеря, важна ее суть. Думаю, Михаил Александрович правильно поступил, что не добивался полного совпадения характеров, обстоятельств, деталей. «Судьба человека», — она не столько о Соколове-Долбникове, она о человека, воистину о судьбе человека. Я бы здесь избегал слов с большой буквы... Хотя... ведь этот Человек шагнул в книгу, потом в Легенду... Кстати, слово «легенда» мне нравится, по-моему, оно ничем не хуже слова «правда», ежели так долго служит людям. Вот тут открой, почитай: «...с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка». И дальше: «...я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать».

Трижды пытался бежать из лагеря и трижды меня кто-то выдавал. Сговорились бежать все сразу — бросились на охрану, опрокинули ее, выскочили из барака и кинулись кто куда. Уйти удалось немногим, началась погоня и почти всех поймали...

Мне повезло. Подпольщики укрыли меня в заброшенном сарае у путевого обходчика. Нас там двое пряталось — еще один товарищ по побегу, Вася Скробов. Вскоре нас переправили в партизанский огряд «За Родину», а через месяц отряд присоединился к наступающей Красной Армии.

Стал я свой полк искать. Добрался до освобожденного Николаева. Смотрю — на стенах газеты расклеены, а в них портреты моих однополчан! От радости захватило дух, шапку снял и читаю. Оглянулся вокруг, нет никого, ну я взял и... поцеловал портрет Ивана Бабака.

— Ты чего тут, дед, слезу пускаешь? Шел бы на фронт, а не ошивался по тылам.

Обернулся: сержант молоденький сзади стоит, смотрит эдак на меня удивленно. А на мне старый ватник, сапоги разбитые, борода с сединой. Дед и есть. В двадцать-то один год...

Хорошо помню, что полк свой нашел я 29 апреля 1944 года. С собой у меня была бумага из партизанского отряда, только не помогла она. Последовал из НКВД приказ направить меня на проверку в тыл. Все понимали, что это прямая дорога в лагерь. Теперь уже в наш... Но вмешался командир дивизии Джужов (вскоре его сменил Покрышкин), он сказал «СМЕРШу»: «Летчиков не хватает, проверяйте на месте». Вроде пронесло.

До плена я сбил три самолета, но полгода без полетов — огромный срок. И люди новые в полку, кто-то из знавших меня погиб, у кого-то уже есть вedomые. Один из летчиков не то в шутку, не то из боязни не взял меня к себе в пару. Бог с ним, фамилию называть не буду. Тогда Ваня Бабака, мудрый он человек, и говорит мне: «А ты, Гриша, один летай». Ну, я от обиды и злости за пять дней шесть самолетов сбил. Над Молдавией это было. А 18 апреля 1945 завалял своего последнего немца, пятнадцатого. Представили меня к Герою, но звезды не дали, документы даже до Москвы не дошли. Положили их где-то в штабах под сукно, а причина одна: в плену бил.

Лишь после пятого, не то шестого представления получил я свою Золотую Звезду. Через тридцать три года после войны. Как же долго сторожила меня та страшная память о плене, считай, всю жизнь. Ты вот под этой закладкой почитай: «Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука».

...Получил я приказ покинуть полк в двадцать четыре часа и следовать к новому месту службы на Дальний Восток. Даже тяжелую болезнь трехмесячной дочки не приняли во внимание. Может быть, поэтому она умерла совсем молодой... На Дальнем Востоке я долго служил. Но и там меня НКВД не обходило своим вниманием. Годы и годы подряд каждый месяц ходил я на свидание к «оперу», писал одно и то же: как и почему попал в плен, с кем общался, как удалось бежать. И так — до пятидесяти третьего года, пока не умер Сталин.

«За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так искажила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь!»

Три тома моего «дела» показывал мне потом «комитетский» полковник. Принес, как говорится, искренние извинения и заверил, что могу жить спокойно. И на том спасибо. Но долго еще я чувствовал — висит на мне это клеймо проклятое.

Но что бы ни было, я служил честно, прошел все ступеньки летной офицерской службы. Закончил академию. Командовал полком, дивизией, корпусом, был заместителем командира воздушной армии. Академию Генштаба закончил. Да и повоевать еще пришлось, как же! Египет, Эфиопия... Как там у Шолохова сказано: «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к тому нужда позвала».

Долго я думал-гадал, как и от кого узнал Шолохов мою историю. Я ведь о ней помалкивал, сидел, что говорится, как мышь под веником. А сам с Михаилом Александровичем и вовсе не встречался. А тут как-то, разом, вспомнилось.

В сорок седьмом году проходил я «собеседование» на Лубянке. И после беседы ждал обреченно, какая мне выпадет судьба. Жили мы, три летчика, в комнате Володи Ильюшина в Марьиной роще. Вот приходит после «проверки» один из них грустный — уволен из авиации. Через несколько дней такая же участь постигла второго. Но, правда, на фронт они пришли в конце войны, быстро их сбили, оба угодили в плен. Фамилий их не помню, но ребята были хорошие, честные, жалко их было. Остался я один, жду, еще на что-то надеюсь. Все-таки, думаю, пятнадцать самолетов сбил, у самого Покрышкина в дивизии воевал... (Помиловала меня тогда судьба, но, как в ссылке, на Саха-

лин служить отправили). Тут как раз — дело в было в феврале — день Красной Армии. Соседские девчонки пригласили меня в свой заводской клуб. Армия, тем более летчики, да еще фронтовики, были тогда в почете. Вот там, на вечере, я и встретил молодого, начинающего писателя Федора Шамагонова. Он тоже пришел в клуб — свой рассказ прочитать. Он-то и выпытал мою историю — под честное благородное, что никому!.. Но я, как чувствовал, на всякий случай ему Андреем Соколовым назвался. Михаил Александрович это имя-фамилию так в «Судьбе человека» и пропечатал.

Приезжал я позже в шолоховский дом по приглашению вдовы Шолохова — Марии Петровны, ведь Михаила Александровича тогда в живых уже не было. Постоял у его могилы, вот и вся встреча. Подумалось тогда: «Что если память о войне, о вернувшихся или погибших для остающихся жить... вдруг будет важнее, чем для нас?..»

С Сережей Бондарчуком мы долго дружили, до самой его смерти. Он тоже фронтовик, с ним было легко и просто — на равных. Когда он умер, тяжело мне стало привычки смотреть с его участием, особенно «Судьбу человека»...

Спрашиваешь, доволен ли я своей судьбой, счастлив ли? С супругой моей, Валентиной Михайловной, жизнь мы прожили дружно, два внука у нас, недавно правнук появился. Имя ему дали как шолоховскому мальчишке — Ванюша... Судьбу, поступки да и всю жизнь человека, как их на части разделить? А счастье, это уж как сам человек его понимает... Я, пожалуй, счастлив...

Многое успел в жизни сделать генерал Дольников. Воевал, детей вырастил, написал книгу, сотни летчиков на крыло поставил. Совершил Поступок. А еще — умел преодолевать приливы и отливы этого безмерного в человеческом измерении океана, имя которому Судьба. И всегда находил в себе силы доплыть до берега...

Сегодня его обычно живые глаза показались мне грустными, даже печальными...

— Григорий Устинович, я вам занесу материал, посмотрите, как получилось, хорошо?

— Лучше позвони, если что-то нужно уточнить. Пиши как знаешь, я тебе верю.

«...Ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!»

Так встал в обойму этой истории третий, самый главный патрон.

P.S. Страшно, но именно война стала спутницей человечества на протяжении всей его истории. Часто ли мы задумываемся над тем, что лучшее из написанного — это книги о войне: «Слово о полку Игореве», «Война и мир», «Прощай, оружие!», «Живые и мертвые»... Вот и мне хотелось написать о мире, а получилось опять о войне. Простите меня за это. Если сможете...

Москва, 1995

Григорий ЛЮШНИН

РАССВЕТ ВЕСНЫ

Иду в рассвет по Подмоскovie,
Где был с врагом жестокий бой.
Земля, пропитанная кровью,
Позаросла густой травой.

Сравнились с пашнями окопы,
Над блиндажами вырос сад.
А тут ведь было пол-Европы.
Металлом кованных солдат.

Металл истлел, враги тем боле.
И столько дивной тишины!
Шумит пшеничным хлебом поле,
И словно не было войны.

СЕРДЕЧНАЯ БОЛЬ

Пришла старушка на прием
К военным не впервые:
— Я о Тимошеньке своем
Похлопотать, родные.
Давно покончено с войной,
Нет споров о границе,
А он, кормилец мой, домой
Не может возвратиться.
Бумажка прислана была
Ко мне от генерала,
Как возле русского села
Тимошеньки не стало.
А мне не верится душой
Той вести нехорошей.
Сражен не он,
Совсем другой,
Знать, схожий был с Тимошей.
Я день и ночь сыночка жду
Зимой и жарким летом.
Так поимейте же в виду,
Товарищи, об этом.

НАКАЗАНИЕ

Дядя Ваня уходит рано
На просторы родных лугов.
И до вечера, до тумана
Оставляет отцовский кров.

Дядя Ваня косец умелый.
Он, косою своей звеня,
Посрезает участок целый,
Где троим маловато дня.

Еле-еле начнет смеркаться,
Вытирает травой косу,
И тропинкою вдоль акаций
Пробирается, как в лесу.

Опускает, ссутулясь, плечи,
Легче, кажется, так идти.
И к тому же боится встречи
Он с Варварою на пути.

Два сынка под Москвою пали,
Муж пришел без обеих ног.
И никто ни одной медали
Получить на войне не мог.

Дядя Ваня войны начало
Встретил криком:
— Фашистов бей!
Смерть его на пути встречала,
Но не трусил он перед ней.

На груди полосой блестели
И медали, и ордена.
Три рубца штыковых на теле,
И сквозная в плече одна.

В сорок пятом весною ранней,
Подлечившись уже вполне,
Ждали в части его желанней.
Он из госпиталя... да к жене!

К ней горел он такой любовью,
Погасить океан не мог.
Поведет она только бровью, —
К милой молнией на порог.
Полных три огнестрельных года
Он без ласки ее и любви.
И на это звала погода,
И свистели о том соловьи.

...Люди пашут и сеют в поле,
Нипочем им дожди порой.
А он в подполе, как в неволе,
На подстилке лежит сырой.



Рисунки Нинель Оселко

Не лежит, а сидит в подвале
Не увечный, крепыш живой.
А ведь пушки-то перестали
Бить давно на передовой.

И однажды он все же вышел
На заросший травой порог.
Ослепило цветенье вишен,
И от шума берез оглох.

И никак дядя Ваня рану
Не залечит — погробный грех!
Потому он уходит рано,
Возвращается позже всех.

ВЕТЛА

Спилили старую ветлу
И выпрямили тропку.
Из веток сделали метлу.
А остальное в топку.
Ее растивший человек
Стоял в безлюдном поле.
Он никогда за целый век
Так не вздыхал от боли.

Дорогие наши читатели!

Сегодня мы объявляем имя лауреата конкурса

«Победа».

который проводился Российским Фондом мира
и журналом «Юность».

Лауреатом стал

Владимир ТОКАРЕВ

за очерк «Человек из «Судьбы... человека».

Сердечно поздравляем нашего лауреата!

На конкурс пришло немало работ. Всем,

кто принял в нем участие — огромное СПАСИБО!

До новых встреч и новых творческих успехов Вам!



Конкурс!

СТО СТРАНИЦ ВОЙНЫ

Документальная повесть

Великая Отечественная для младшего сержанта Дмитрия Холендро началась в пять часов утра того самого горестного июньского воскресенья, когда орудейный расчет, в котором Холендро был наводчиком, бесстрашно и достойно принял бой. Это было в Карпатах, вблизи городка Турга. Отсюда пришлось отступать, отсюда пролегал долгий и тяжёлый путь, во время которого душа испытала неслыханные утраты, но были сохранены честь, человеческое достоинство, оружие. Расчет — без моторной или конной тяги — на руках протащил свою пушку до Волги и с нею же, когда пришло время, двинулся на запад, свершая незабвенный труд жизни на войне. Эта история рассказана в повести «Пушка», после публикации которой в «Юности» из восьми пушкарей отозвались четверо — их пригласил в Москву и привечал Борис Николаевич Поле-вой. В ту пору фронтовики еще было немало, хотя война, конечно же, вела свой счет и будет вести его, откуда они живы.

Когда же после победного мая минули только первые десять лет, а типографские машины принялись печатать первый тираж нашего журнала, Валентин Петрович Катаев, еще не привыкший к этой роли первый главный редактор «Юности», заинтересовался у Сергея Петровича Антонова, замечательного мастера прозы, нет ли у кого-либо из его студентов готового рассказа. Сергей Петрович назвал Холендро и познакомил его с Катаевым. Это произошло во дворе Литинститута, откуда признанный мэтр и студент, одолевая смущение и робость, пошли пешком на Поварскую, где находилась тогда редакция и где был заслан в набор рассказ «Раннее утро» — в один номер со стихами Константина Ваншенкина и записками Тура Хейердала «Путешествие на «Кон-Тики». Это был литературный дебют Дмитрия Холендро, одного из тех, кто прошел всю войну.

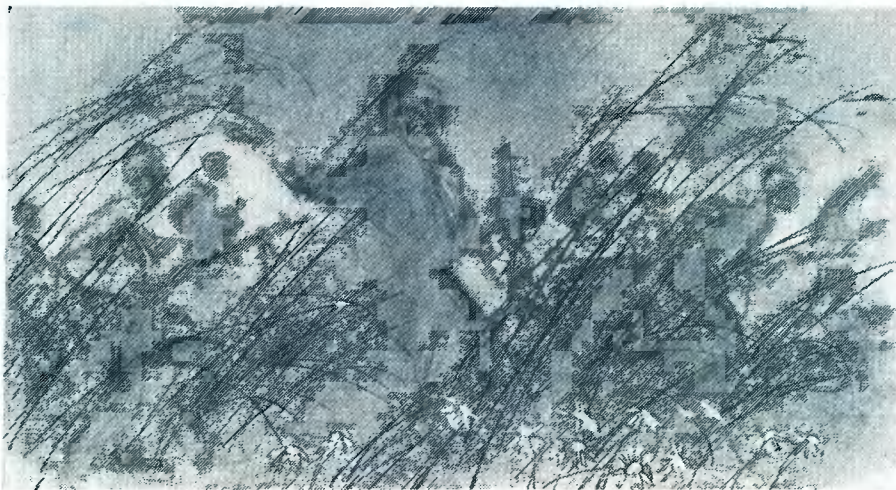
Они не очень-то охотно рассказывают — тем с большим вниманием мы должны их слушать. Мы должны их слушать даже тогда, когда они молчат.

Бесценный чеховский дом в только что освобожденной Ялте своим возрождением немало обязан автору сегодняшней публикации. Поэтому совсем не случайно писатель предстает перед читателями на публикуемой фотографии вместе с Марией Павловной Чеховой. Мне видится в этом надежное подтверждение правоты человеческого благородства. Победили те, кто не только нашел в себе силы протащить тяжёлую пушку едва ли не через полземли, но еще и имел душевную потребность читать книги, любил Чехова.

Предлагаемое повествование называется «Семьдесят страниц войны». В нем есть эпизод, вполне символический: фронтовик в самом начале мирной поры возвращается к невесте, и последний прогон до дома, где его ждут, приходится ему идти пешком. Это как раз семьдесят километров. Для солдата с полной выкладкой — два дневных перехода, для победителя с тощим демобилизационным «сидором» — недолгое время разрозненных, как облака, воспоминаний. И пока — повезло! — на полпути не догнал его рейсовый автобус, он шел и вспоминал свою, еще не остывшую, войну. Все светлое небо простиралось далеко впереди. Он верил, что там, впереди, случится что-то значительное и необычное, и он будет счастлив; самое лучшее, мнилось ему, конечно же — там, впереди. И молодому нетерпеливому сердцу еще было рано ощутить, что и за спиной, где никак не перестанут соседствовать голоса живых и мертвых, может статься, тоже — самое лучшее.

Н. Злотников

Эту повесть сопровождают рисунки художника Ивана Лепинина Коваленко, война для которого не столько тема его рисунков, но боль воспоминаний, часть души и жизни, ибо он прошел ту страшную войну.



Еще вчера артополк нашей 192-й дивизии жил в летних лагерях близ карпатского городишки Турка и польских курортных дач Розлуч. Дивизия называлась горно-стрелковой и поэтому забралась в горы со своими тяжелыми орудиями на конной тяге, никак не приспособленными для гор. Держались стыка отечественной, венгерской и еще недавно польской, ставшей бывшей польской, границ. Теперь вместо границы тянулась демаркационная линия с войсками, до нее — нашими, за ней — фашистскими, по-соседски.

Наш гаубичный артполк с коновязями на горных лесных полянах — пожалуйста. Аэродромы с «ишаками», как соседи-летчики называли свои фанерные, тупоносые истребители «Иш-16». И выискивали остальное, залетая к нам на 50 километров, до изыщного западноукраинского города Самбора, плотно набитого службами штаба дивизии. Там была и зенитная батарея, но она ни разу не открывала огня. По нарушителям демаркационной линии запрещалось стрелять даже из винтовки. Выстрел, ответные выстрелы, и — война! И тот, кто первый выстрелил — провокатор войны, со всей ответственностью за это. Лучшие не стрелять...

Я прекрасно помню свою пушку. Высоченные, в человеческий рост деревянные колеса с железным ободом толще пальца. Зимой спицы и обод обрастали ершистым снежным льдом, который мы сдирали конскими скребками, прежде чем натереть колеса пушечным салом с крупичками, прозрачными, как зерна воска.

— Гонь!

А стрелять боевыми нам разрешали не чаще одного раза в год. Останавливало опасение: а вдруг гаубица разва-

герях. Первый день войны прошел в убаюкивающем покое. Ни выстрела. Но — седая голова в крови, но — первые могилы под молодыми кленами вокруг казарм, посаженными руками и тех, кого война уже зарыла под ними. Спокойствие оказалось обманчивым. К ночи к нашим позициям подскочил незнакомый капитан, и его легкий конь пал, едва почувствовав натянутые поводья.

— Где командир полка? — закричал незнакомец, вставая на ноги.

Комполка, наш майор, спешил к нему от своей еще недостроенной землянки.

- Откуда вы?
- Из штаба дивизии.
- С чем?

— Меня послали к вам, чтобы доложить, что немцы обхитрили нас у Перемышля. Сначала заманили к себе, пустили, а потом окружили и уничтожили окруженных.

- Какой приказ нам?
- Немедленно отходить!

Началось отступление, похожее на бегство. Вырывались из сжимающихся немецких клещей, бежали от угрозы окружения. Через горы, леса и села, чаще враждебные, через реки, иногда с разломанными мостами, через рельсы без переездов, те рельсы, по которым на днях последние составы с нашим зерном прокатились в гитлеровскую Германию, аккуратно снабжаемую нами хлебом. Мы откатывались через Карпаты.

Фуры двигались за нами. Кое-кто из кучеров исчезал в карпатских зарослях со своими пузатыми лошаденками, а кое-кто тянулся дальше.

На фурах, в большинстве своем, ехали пареньки, уже прозванные «западниками», и были они, «западники», на редкость услужливы, даже угодливы, на коротких привалах кипятили чай в домашних чайниках, наливали всем раньше, чем себе, угощали. Один такой паренек — Станислав — дружески привязался к нашему расчету, уставших подсаживал на свою фуру, а раз, на остановке, наполнив протянутые кружки чаем, вдруг сказал:

- Немец вас побьет!

Он сказал это еще непонятней, на своем языке, полным галицизмов, совсем трудных для понимания, и сейчас я лучше буду писать его слова уже как бы в переводе, по-русски. Один наш бойкий паренек кинулся ко мне:

- Дай пистолет!
- Зачем?
- Застрелю его, как собаку! «Немец вас побьет!» Немецкий провокатор!
- Не спеши. Он же не удирает.
- Побегу до политрука.

Все остальные разошлись. Оставшись со Станиславом вдвоем, мы сели на корягу у дороги с кружками, полными кипятка.

— Как тебя вернее называть? Станислав или Станислав?

- Станислав, пан.
- Какой я тебе пан? Зови меня не пан, а товарищ.
- Так, пан.
- Ты честно считаешь, что немец нас побьет?
- Так, пан.
- Почему?
- А вы не застрелите меня из своего пистолета?

У меня, действительно, был пистолет, в первый день войны наводчикам орудий дали, как полагалось, пистолеты «ТТ», невиданные до сего дня.

А потом Станислав пошел и помолился — в трех шагах от коряги, у перевала, была деревянная мадонна, на столбе под углом из двух досок, как под косами крышки. Скорбное, коричневое лицо поражаало готовностью выслушать молитвенную просьбу любого католика. Таких мадонн премного на дорогах Западной Украины...

Станислав молился долго.

Вернувшись на корягу, он сказал:

— Он механизированный, немец. А у вас — кони.

Коню спать нужно, а у немца — мотор.

— А где ты видел немца?

— Я много немцев видел!

— Где?

— Как где? В своей деревне, где были, там и видел.

Они у нас были!

Два года назад фашисты напали на Польшу и были в той деревне, где жил Станислав, пока мы не вошли в Западную Украину — защищать братьев. Тогда договорились с фашистами, кто где останется и кто что наново займет, было такое перераспределение. Были, значит, и в деревне Станислава немцы... Были до того, как она перешла к нам.

— Ага... Так... Побьет, говоришь?

— Але ж я не хочу того! — закричал Станислав неистово. — Не хочу! Смерть ваша — смерть наша! Матка боска Ченстоховска!

Приближалось село, названия которого не помню (пятьдесят лет — не пятьдесят дней), а может, и не слышал того названия, но село помню. Белая, прямоугольная башня костела с остроконечным колпаком из черепицы возвышалась над кудрявой зеленью, над домами, над плакучими ивами, окружившими пруд. А под колпаком был большой проем для колокола. Но с колокольни бил не колокол, а пулемет.

Пулеметчики пропустили нашу разведку и походное охранение, дождались основных сил, открыли огонь, едва орудия и расчеты втянулись в село. Перебегая от хаты к хате, перепрыгивая через крепкие плетни, бойцы, увлекаемые своими сержантами и просто смельчаками, окружили колокольню. Ездовые растянули орудия по сельским закоулкам. Наш дивизион спустился по склону последним, и командир полка, развернув его, нацелил на колокольню. Двенадцать гаубиц в трех шагах одна от другой встали на склоне в ряд, стволами к селу. Впереди, за селом, вразмах открывались поля и небо. Нам виделись все улицы — пустые, будто мертвые. Сзади, за волной мелко-лесья, сгрудились фуры «западников». Наш майор посмотрел в их сторону:

— Кто пойдет к колокольне и скажет, что одним залпом я развалю костел и треть села? Они не ждали таких тяжелых орудий. Пусть сейчас же прекращают огонь и сдаются.

— Я пиду! — прозвучал голос Станислава.

— Старшина Примака!

Наш старшина бросил руки по швам и замер.

— Пойдите с ним, чтобы его не застрелили наши. Дайте ему пилотку со звездой.

Станислав без всяких натянул пилотку, тесную, открыв затылок, сдвинув к бровям и для лихого вида — набок, как многие удайцы носили у нас. Прячась под заборами, они приблизились к колокольне, на которой надрылся пулемет. Бойцы у гаубиц тем временем обменивались мнениями:

— Жахнуть бы разок, и юш, чего церемониться?

— Дома вокруг, а там — матери и дети.

— А их отцы стреляют.

Пулемет на колокольне костела вдруг затих. Станислав в своей цивильной куртке, лихой пилотке и старшина Примака появились на лужайке, где, наверно, после молитвы обычно сплетничали прихожане. Сложив рупором ладони у рта, Станислав прокричал вверх то, что ему веле-ли. Ответом был тупой одинокий выстрел. Потом старшина сказал, что беззусый пулеметчик на колокольне застрелился. Примака со Станиславом лазили туда, махали нам, что можно двигаться. Командир полка вскочил на черного, точно смолой облитого, коня и стал возвращать какой-то порядок колонне. Я расспрашивал Станислава, неуже-

ли пулеметчик был один, а он уверял, что ничего («нищ»!) не знает, могло и больше быть, остальные удрали, а его, может быть, сказавшего, кто войдет, того и обстреляем, бросили, и юш! Еще бы. Матка боска Ченстоховска! Тяжелые пушки. Командир полка распорядился узнать, чей это сын, пусть возьмут. Никто не спешил прийти за ним. Кончилось тем, что наши бойцы закопали его недалеко от костела, рядом с четырьмя юношами, выполнявшими святой долг и убитыми им. Самое нелегкое опущение первых дней войны мы извещали, когда зарывали в землю того, с кем долго общались до этого и говорили еще сегодня. А тут — своими руками. В землю. Навсегда. И юш!

На стене костела мы прочитали листовку, напечатанную крупным шрифтом и — что нас особенно поразило — типографским способом. На толстом сером листке всему населению обещались свобода и богатство, а сейчас приказывалось ломать мосты, прятать про-довольствие и стрелять в спину бегущей — так и было напечатано — Красной Армии. И подписано — Степан Бандера. Мы встречались с этим именем все чаще, пока шли по Западной Украине.

— А ксендз знал, что с колокольни костела будут стрелять?

— Может, знал, а может, и не знал, — ответил Станислав. — Для них теперь Бандера ксендз.

Через много лет я прочел в газете сообщение, что во Львове установили памятник Степану Бандере. Пусть те, кто пытается сбросить добрую память о нем, объясняют другим и самим себе, почему и для кого они это делают, я же лишь хочу узнать, а хоронили ли они у костела, на одной поляне, безусого пулеметчика и четырех его ровесников, можно сказать, мальчишек, застреленных им? Все — в земле, не ждавшей их, преждевременно — в земле.

Дальше по пути был древний нефтяной город Борислав. Едва мы вступили в него, он принялся загораться и разгораться в разных местах. Само небо исчезло за дымами. Поначалу подумалось, что слепой случай подбросил спичку к дереву, просмолившемуся за века. Но скоро выяснилось, что это специальные команды били зажигательными пулями по нефтяным вышкам, которых в городе без числа, даже во дворах возле жилых — тоже деревянных — домишек. Выполнялся сталинский приказ — ничего не оставлять врагу. Приказ зверский, поскольку женщин и детей в городе было куда больше, чем нефтяных вышек. А тут — огонь! Какой!

Свою долю получали цистерны с нефтью на рельсах, густо исполосованных город. Цистерны, взрываясь, подпрыгивали, как лягушки, словно надеясь выпрыгнуть из огня.

Жители домишек выбегали на улицы, захватив, что успели, а точнее — что попало. На улицах уже нечем было дышать. Воздух раскалился, будто тоже пылал. Распластавшись по стенам, женщины напоминали распятия. Они роняли узелки к ногам и пытались поднять на руки детей, а смотрели через дорогу, на дальний край города, куда выводили короткие переулки и где было спасение. Но как попасть туда? По мостовой все быстрее, с напором, шли и катились войска. Разве их остановишь в огне? Кто остановит?

На жеребце, дрожавшем всем телом, дождавшись своих бойцов, командир полка ворвался в поток. Он приказывал остановиться, он кричал, но... Орудийные упряжки натянулись одна на другую, повозка налетала на повозку, никто не мог остановиться, и майор, с багровым лицом, выдернул из кобуры пистолет и начал стрелять в небо. Он выстрелил так раз пять или больше, пока не случилось чуда. Бесконечная колонна трудно, но перестала катиться, и там, где на своем коне, сдвигая его коленями сильных ног, сидел майор, начала образовываться и расти щель, и майор еще раз выстрелил в дымное небо и резче махнул рукой людям у стен домов, с которых пожиратель-огонь кинулся слизывать крыши.

И без слов, тихо, через дорогу побежали женщины, потянули за собой детей, а позади всех шли, падали и ползли какие-то вечные старички с пейсами. Жеребец майора громко ржал, он тоже просился из огня.

Прошло полвека, а кажется, это было вчера. Горели вышки, и дома горели, потрескивая и радуясь возможности разгореться, и ржал конь майора...

Наше орудие подступало к хутору среди полей, на них золотился еще не убранный хлеб, и стало понятно, почему Гитлер не начинал войны раньше, ждал созревшего хлеба. Все бойцы смотрели на хутор, за плетнями зеленели садочки. Это был настоящий хутор, равнодушно стоявший к дороге боком. И на ее перекрестке с хуторской улицей сбились люди. Женские платочки белели. Наши устало разговаривались:

— Похоже, встречают.

— Похоже... Да не нас!

— Приоделись!

Приближаясь, мы разглядели на белых блузках узорные вышивки. А сами были в трепаных и рваных гимнастерках, у кого треснувших на локтях, а у кого ползших на лопатках. Но на выгоревших наших пилотках краснели звездочки. Да, новость! Орудие тянул трактор! Наших верных павших и пропавших коней заменил трактор, для чего мы целый день стучали молотками во дворе попутной МТС,



пока не собрали этот трактор из пяти-шести поломанных и брошенных.

Наш сержант сам вел трактор. Подрулил к хуторско-му перекрестку и заглушил мотор. Боже, как стало тихо!

Почти все женщины в расшитых блузках разбежались.

На травянистом пятачке у перекрестка остались три сухонькие старушки в опрятной одежде и горбатая девушка, она все вертела по сторонам головой. И еще был старик, седой старик — он как стоял, так и не сдвинулся с места. Чуть ли не до земли со стариковских рук свисали длинные концы рушника. На этом рушнике лежал каравай с солонкой, утопленной в специальном углублении.

Черный картуз старика был заранее снят с седых волос, свисающих с боков плешивой головы, и заткнут за пояс. Косички волос перевились за ушами, запущенные усы закрывали губы. Мы молчали. Нет, неправда! Не могли же наши выйти навстречу фашистам, не могли они их встречать, не могли, а вышли, а принарядились... Нет, нет, нет, не могли. Но вот же они — стояли. И седой старик держал каравай с курчавой корочкой. Был бы еще кто с нами, тоже увидел бы это. Старик заранее обнажил голову... Толя процедил сквозь зубы:

— Немца вышли встречать?

— Нимця.

— С хлебом-солью?

— Хлибом-силью.

Толя спрыгнул с трактора, схватил старика за рубашу на груди, стал трясти, и солонка вылетела из своего гнездышка в каравае и упала к стариковским ногам в галошах.

— Рас-стрелять! — вырвалось у сержанта со свистом в зубах.

Старухи закрестились, а горбунья завывала. А старик, будто не ему назначена кара, протянул Толе каравай.

— Немецким хлебом угощаете?

— Ни, це хлиб свий.

С лафета, где расселись бойцы, впервые за это время ехавшие, не мерившие бесконечную дорогу ногами, послышалось:

— Хлеб взять.

— Хороший хлеб.

— И верно, свой.

А я повел старика в пшеницу, думая о погибших бойцах нашего расчета, набираясь злости. Даже вспомнил интенданта Шпакова, его окровавленную седину. Но какое отношение имел к Шпакову здешний старик-хуторянин? Почему расстреливать мне? Потому что у меня был пистолет? Старик совсем бесшумно шагал передо мной, едва переставляя большие ноги, давно поменявшие обычную обувь на галоши. И вдруг я расслышал его невнятное бормотанье:

— И житы не треба, а живешь... Э-э, молодой не ховався бы. Стань вийско, забери и мене. Нема вийска, не стають, а мени як обороньтис? Чим? Пушки немає. Ничого немає... Одын я, та ще бабы, та ще диты... Вынис хлиб. Хай вин подавьтис, а може, и не зачепить? Гадал, як лучше, а воно... У нас и взяты нема ничого. Поля не скошены... О Господи!

Билась между ногами мотня стариковских порток, сутулилась спина, пшеница все теснее сдавливала его... Он шагнул в одну сторону, в другую, выбирая себе место, повернулся ко мне лицом и замер. Я уже вынул пистолет. И выстрелил. Старик покорно стоял, не понял, что я выстрелил в небо. Крестясь, ожидал, что повторю выстрел, раз промахнулся. Ткнув пистолет в кобуру, я побежал за трактором, оставив старика в пшенице. Догнал своих, вспрыгнул на лафет. Воздух становился вокруг серым, даль мутнела. А потом до нас донеслось:

— Сыночки! Застрельте мене!

Еще долго старик следовал за нами, и когда ему, надрывая сердце, удавалось приблизиться, в громыханье трактора впутывался слабющий голос:

— Сыночки! Застрельте мене!

Но вернемся к пушке-старушке. Где мы ее оставили?

Нашу пушку бойцы называли старушкой с первых дней армейской службы. И нигде мы ее не оставили. Прицепили к трактору и волокли за собой. Ах, какая же это штука — трактор! Он изредка бабахал в небо комками дыма из длинной прямой трубы, но не глух.

Долетел слух, что мы приближаемся к укрепленному району. Старая граница, никто не сомневался, что мы увидим на ней свежие войска. Ноги живее забултыхались в просторных голенищах бойцовских сапог.

Все чаще обращались к Ивану Карабутенко, который топал с нами, давными друзьями из МИФЛИ, хотя и был сейчас бойцом-вычислителем. Его, длинного, спрашивали:

— Что на горизонте?

Иван — голова выше крыши, а крышей был щит, за которым все прятались и над которым торчала голова одного Ивана, и он отвечал:

— Небосклон!

Мы уже устали спрашивать-ждать, а он вдруг сказал:

— Одинокая ракета!

С нее и начинался укрепрайон, под ракетой — первый дот. Но никаких войск и в помине не было. Действительно, ракета росла одинокой сиротой. Как в подвал, по ходу сообщения залезли в пустой дот. Под ногами зачавало — хлопающая жижа — по щиколотку. Хлопало громко, а вообще-то в доте тихо и мрачно. Лишь в амбразуре солнечной полоской светился день. С куском пустой дороги. Кто-то спросил:

— Почему такое запустение, сержант?

— Мы здесь, уже не пусто, — ответил Толя Кедик.

— А где же войска?

— Бьет врага на его территории. — У нас еще были острословы.

А через полчаса мы развернули свои гаубицы, чтобы встретить фашистские танки, показавшиеся на дороге, по которой мы пришли к одинокой ракете.

Гаубица — не пушка, а тяжелое орудие навесного огня, ее снаряды летят по очень крутой траектории. За десятков километров они набирают высоту, теряют скорость и, как бомбы, срываются с неба, разворачивая чужие укрытия. Пушке не пробить, гаубица развалит, силища.

И совсем не для гаубицы дело — стрелять прямой наводкой по танкам, а мы стреляли. Не из чего было больше, вот и все. Мы вели беглый огонь, это были счастливые минуты.

— Товарищ сержант! Сержант!

После громоздкого выстрела, такого, что все, бывшие рядом, разевали рты, будто неслышно войя, на самом деле для того, чтобы не полопались барабанные перепонки, ствол откатился и не возвращался, застряв над самым концом лафета. Услышав, что его зовут, Толя Кедик скачками бежал к пушке со своего командирского места.

— Что случилось?

— А вот! — замковый Эдька Майхольд, согнутый пополам, не зная, что делать, еще держал рукоять замка, повисшего у земли.

Онемевший сержант обогнул орудийное колесо, поскользнулся в траве неизвестно на чем и схватился за спину, чтобы не упасть. Все мы следом за ним тоже выпрыгнули из-за щита и склонились под оголенной противооткатной полкой. Жидкость, похожая на веретенное масло, вытекала из люльки... Две жгучие капли царапнули по моей щеке...

— Отчего потекла? — спросил нас человек с голой головой, серой от пыли и ранней седины. — Отчего? А?

На него мы наткнулись, вернувшись за щит, это комиссар полка Жук, забывший свою фуражку где-то на других позициях. Все молчали. Кто мог знать, отчего проти-

вооткатная жидкость потекла из своей люльки в траву? Кто-то пожал плечами, а кто-то прямо сказал:

— От старости!

А комиссар Жук сдернул с себя гимнастерку, скомкал и положил на плечо, чтобы не обжечься о раскаленный ствол.

— А ну, накатим его сами, ребята. А ну! Ребятки!

Мы сделали то же самое — сдернули и скомкали гимнастерки, как он, положили на плечи и обступили наш ствол-предатель и, навалившись на него, скользя по маслу в траве, стали толчками, во всю нашу силу, пытаться сдвинуть эту неподатливо-грузную махину, но она не поддавалась, и мат не помогал, мы передохнули и опять пошли материться, и вдруг эта махина тронулась, совсем чуть-чуть, но все же она сдалась. Мы нажали! А наш сержант, не терпевший лишних слов, затеял повторение:

— Раз, раз, раз!

Вокруг стреляли, и он командовал шепотом. Верно замечено, что шепот в оружейной пальбе слышнее крика, и сержант повторял свое «раз», сжимая всех, облепивших ствол, не в одну силу, а в одну душу:

— Раз! Раз! Раз!

Мы слышали его сквозь продолжавшийся мат, призванный помочь нам, потому что больше некому и нечем было помочь. Нехотя мертвый ствол всползал над своей люлькой, а Толя Кедик выхватил из передка банку с жидкостью, долил в люльку и, наконец, скомандовал:

— Заряжай!

Фашистские танки придвигались. Их снаряды с нарастающим свистом доставали наши позиции. Бегали санитары. Опрокинулась набок фланговая гаубица соседней батареи, санитары унесли половину расчета, а она, лежа на боку, все вертела в воздухе колесом системы Грум-Гржимайло, как сказал нам однажды старшина Прима, а может, и не Грум-Гржимайло...

Элька стукнул замком, закрыв снаряд в стволе, я попробовал поймать танк, ближайший к нам, перекрестием панорамы и дернул шнур. Все понимали, что стрелять из пушки с неисправным противооткатным приспособлением опасно, но разве менее опасны фашистские танки? От разрывов их снарядов сухими столбами вставала земля, комки ее разлетались. Надрываясь, мы втаскивали ствол в третий или четвертый раз.

Мы видели чужие танки и свои разрывы. Через полвека не скажешь точно, от какого по счету снаряда загорелся этот танк, но это был наш одинокий выстрел. Ни ближе, ни дальше никаких разрывов больше не было. Танк выпшвырнул из себя вихрь гари. Можно думать, проломив его сверху или сбоку, наш снаряд взорвался внутри, не

оставив там никого. А танк потом задымил, одеваясь в темные клубы. Это была наша победа, нелегкая и непростая, но простых и легких побед, наверно, и не бывает.

Пехота впереди нас подорвала еще два танка, похоже, гранатами. Немцы остановились, да, все остановилось. Надолго ли?

Это была победа в бою, похожем на первый и на последний. Победа, как агония, у которой, по законам исхода, есть свои мощные порывы. Мощные, но короткие. Короткая победа. Над землей висела внезапная вечерняя тишина. Смеркалось все гуще. К нам подъехал на своем жеребце командир полка, увидел, что мы едим (в руках у нас были ложки, в траве поблескивали латунные котелки) и спросил:

— Котелок найдется?

— Вот, товарищ майор.

Командир полка принялся за кашу, распаренную из плиток пшеничного концентрата, а потом, закулив с нами и пряча, как все, самокрутку в рукав, сказал:

— Ну, голая команда, свое дело сделали. Всем — благодарности!

Потом покосился на нашу полуживую гаубицу.

— Ах, черт побери! Сейчас бы нам маленькие пушечки, чтобы легко передвигать и в каждом селе драться за каждый дом, если придется драться в селах. Как, комиссар?

Жук кивнул.

— Когда-то эти гаубицы тоже были ничего, но для другой войны, не такой маневренной, а главное — когда-то. Что завтра?

Командир полка вздохнул и закачал головой.

— Не знаю... Что?.. Знаю, что раньше... еще ночью — дальше, на восток... На сон — два-три часа. Отбой!

И словно по этой команде там, за краем нашей батареи, где перевернулась набок фланговая гаубица соседей, кто-то начал подбирать на губной гармошке «Светит месяц», дудя без стеснений, во весь дух. Я понесся туда не под ясным месяцем, а под обломанной рогулькой хилой луны.

— Эй, заглохни! Раздуделся! А другим что делать?

— Брать трофеи и тоже дудеть.

Тонко зажужжал карманный фонарик с крохотной рукояткой, на которую дают всей ладонью, тоже трофей, и я успел схватить глазом носилки и заматанного бинтами лейтенанта на них — с мертвым лицом и губной гармошкой в руке — больше школьного пенала.

— Чучело, — пробормотал я, рискуя приврать, — меня прислал командир полка!

— Какого?



— Артиллерийского.

— А я пехота, — еле выдавил из себя лейтенант и вовсю зарыдал, оставалось только ежиться.

— Непонятный какой-то лейтенант, — сказал кто-то сбоку, а другой голос прибавил:

— Он своего взвода лишился, случайно остался совсем один, даже без спины.

— У него спина раздолбана, — обронил еще один голос. — Зайграет — отвлекается.

— Мне немощно осталось, — молвил сам лейтенант. — Ну, часик!

— Дуди, — виновато разрешил я и побрел в свою сторону.

Перед зарей майор отрядил нас с нашим искалеченным оружием на Умань — там артиллерийские мастерские. На подходе к ней нам стали попадаться беженцы, повернутые от Днепра в свои села, назад. Кем? Фашистами. Они уже в Умани.

— А через Днепр где можно и как? Не слышали?

— Слышали. Севернее, ближе к Запорожью — военная переправа на плотах.

— Была или есть?

— Может, была. А может, еще и есть.

Сразу взяли севернее. Дороги путались и вовсе пропадали. Мы и ругались и надеялись. Где-то встретился трудный спуск, не трудный, а совсем безнадежный. Наш сержант послал Майхольда и Ганичева за камнем потяжелее — для колес гаубицы. Ждали долго, больше часа. Неужто смылись? Нет, приперли каменюку, прикатили. Удалось спуститься и выбраться на тихую и даже ласковую дорогу в васильках вдоль необруанных хлебов. Старшина попросил нарезать ему пшеничных стеблей под раненую ногу. В первые дни войны, когда ранило старшину, подвезжала подвода из медсанбата, звали старшину с собой, но он остался. Не пустяк, выходит, что мы были его бойцами? Значит, можно было чего-то ждать от старшины-сверхсрочника?

Стемнело, ласковая дорога исчезла. Примак заворчал на себя:

— Всех загонял по укрытиям, а сам опоздал. Ранило — не поверил, сам подлез под бомбу! Ах, Примак, ах, Примак, удивительный дурак!

Но это уже было из нашей песни про старшину! Откуда он ее знал? А Примак просил:

— Эдька! Запевай песню про меня! Веселье — не беда!

И Эдька затанул в замешательстве и негромко:

— Разлетайся, тишина,

Появился старшина,

Голосок у старшины —

Чистый гром среди тишины!

А дальше? Кто выручит? Но Эдька сам спел по-другому:

— Ах, Примак, ах, Примак,

Удивительный Примак!

— Хо! — сказал старшина, — люди без стыда, но с совестью.

А Эдька продолжал:

— От такого голоса

Каждый гложет на века,

Но глухой наверняка

Тоже слышит Примака!

И мы все, как позволяла военная ночь, грянули припев.

На следующий день с очередного холма открылось село, растянувшееся на зеленом берегу Днепра, — в жаркий день оттуда тянуло свежестью. Встретились мальчишки, будто ждали нас. А может, ждали?

— Кто в селе?

— Вже нимцы.

— Много?

— Ни. Отрядик. Солдат десять, а може, меньше.

— Охамели.

До ночи пересидели в овраге, а ночью пошли, вооружившись всем, что было, — три гранаты, пистолет, ППШ, два карабина. Впереди пустили трактор с нестреляющей гаубицей. Он-то фашистов перво-наперво и напугал. Опомнившись, захватчики открыли по трактору белый огонь из минометов.

И когда Толя вывел свой тягач на прибрежную дорогу у Днепра, в ночной темноте догонять его стали мины. Тогда Примак поднялся с лафета и прикрыл собой командира орудия.

К переправе старшина подъехал, неподвижно лежа на лафете, закинутый попоной. Переправа спряталась в рослых ивах, и похоже, бойцы на том берегу разбирали окруженный бочками плот, чтобы пустить его по воде.

— Стойте! — закричал им наш сержант, махая руками.

Ночь таяла, над рекой повисало марево нового дня. Над Днепром стягивались облака, таящие в себе грозу. Затевался не рассвет, набухали сумерки рассвета, стараясь помочь уцелевшим артиллеристам, окутывая и скрывая нас.

В зарослях у воды, пропитанных кислыми запахами, пока тоже были наши, долговязый лейтенант подошел к орудью:

— Трактор выводите из строя, оставим, гаубицу попробуем. А это что? — Он сдернул попоны и увидел бледного, небритого старшину. — Извините. — Он поддул в дудку на тот берег, оттуда ответили, пришел плот, и, забив клинья, а попросту — разные деревяшки под колеса гаубицы на плоту, мы тронулись... С нами плыл старшина. Как прежде, на лафете. Перед нами все выше поднималась круча левого берега, обросшая дубами. Из этой дубовой рощи к воде выныривали люди в гимнастерках — столько армейского народа мы давно не видели. И пушки нам на берег помогли выплывать, хохоча:

— Глянь, какую рухлядь выволокли!

Нас накормили, но сначала мы похоронили старшину, прибыв к белому столбику табличку со словами: «Сергей Примак, старшина». Не все мы знали, что его зовут Сергеем, Примак да Примак. Пройдясь по берегу, увидели новые пушки с раздвижными, как ножки циркуля, лафетами. Над ними болтались маскировочные сетки с лоскутками, изображавшими листья. Красивые были пушки, с журавлиными шеями, но только четыре штуки, как на выставке, напоказ. Лоскуты надувались от предгрозового ветра.

Нам сказали, что остатки нашего полка — где-то еще севернее, у Запорожья. Мы притопали туда с листком, подписанным майором, удостоверяющим: неисправная гаубица переправлена на левый берег и с нею пять огневых номеров из «обстрелянного» расчета. Нам майор сказал: наполеоновские французы в своих книжках сами писали, что русские артиллеристы никогда не бросали своих пушек, случалось, раненые привязывались к лафетам, и французы приканчивали их штыками, прежде чем завладеть оружием.

Мы начали войну с заранее неисправной, чуть живой гаубицей, пушкой-старушкой. Кого винить? Мать не коряйт, когда ей трудно. Может быть, родная земля когда-нибудь простит нас за то, что мы так много отдали ее врагу, и разберется в том, кто виноват? Сейчас война...

На левобережной поляне, окруженной деревьями, стеснилось двенадцать бездыханных гаубиц. В конце поляны на траве заманчиво лежали матрацы. Сколько мы не спали на матрацах? Не сосчитать. Казалось, много лет. Прилегли на часик-другой и, как дома, проспали до нового утра, проснулись — над нами стоял батальонный комиссар Жук, сказал, что никаких бумажек не нужно, все своими глазами видел. Вот — ему сейчас звонили из политотдела дивизии, срочно вызывают туда Карабутенко и Холендро.

- Зачем?
- Не сказали. Дуйте в Софиевку, ребята.
- Далеко?
- Не близко. Километров десять.

- Зачем это нас зовут, Иван?
- Какая-то неприятность.
- Факт. А какая?

Когда пришли, наконец, нам показали на высокую дверь в доме конторского типа, может, в бывшей земской управе. Слышали про такие, но не видели. А от увиденного за дверью остолбенели. Все наши, и рядовые, и старшие, были в затрепанных формах, часто — рваных, с отпечатками пройденных дорог, рек, луж и пылицы, которой мы дышали, а тут за столом сидел человек в новенькой, как из каптерки, форме. Все новое — звезда на рукаве, петлицы на воротнике, на столе — фуражка с новым околышем, будто ни разу не надеванная. Смеяться — и только, смешно же!

Но мы молчали. И услышали, что вся редакция нашей армейской газеты 12-й армии Южного фронта погибла и немедленно будет формироваться заново. Через три дня газета «Звезда Советов» должна рассказывать бойцам и командирам, что делается в стране и в мире. Для этого он, батальонный комиссар Караев, вчера прилетел сюда из Москвы.

- Готовы работать в новом составе редакции как бывшие студенты литературно-философского института?
- Нет.
- Чего — нет? Почему?
- Никакого опыта. Никогда в газетах не работали.
- Опыт с неба не падает.
- Но почему именно мы? Полтора года в артиллерии...

— Я уже сказал, редакция погибла при бомбардировке. Война. Вы посылаются на замену. Из фронтовой газеты к вам, в редакцию, придет помочь писатель Борис Горбатов. Знаете?

- Заочно. Читали.
- Из Киева к вам выбирается поэт Кость Герасименко.
- Как выбирается? — спросил Иван.
- Пешком. Раза три уже попадал в окружения, но идет дальше.
- Что за поэт? — шепнул я Ивану.
- Молодой, но знаменитый. В Канаде на украинском у него вышло уже две книжки.
- Ого! — воскликнул Караев. — Вот и я узнал от вас о вашем будущем сотруднике что-то новое для себя!

- А как называется фронтовая газета, откуда к нам придет Горбатов?
- Не видели? Где ж вы были?
- Отрывались от фрицев.
- Поздравляю, что оторвались.

Выйдя из политотдела, мы сразу спросили друг у друга, что будем делать.

- Ты как, Иван?
- А ты как, Дмитро?
- Бежать без оглядки. В свой полк.
- Свой полк — своя семья. Я — за!

В самом деле, мы провели в этом полку уже полтора года, попав туда из своего МИФЛИ, Московского института философии, литературы, истории. Все было так давно, как будто и не было никогда. Осенью 39-го года мы, первокурсники МИФЛИ, с разных концов столицы приехали сначала на метро до станции «Сокольники», а потом на трамвае — до корабельных сосен в глубине парка, где краснел кирпичный корпус нашего института. Приехали и узнали, что не всем, а мальчишкам надо спешить в актовый зал. Зачем? Туда собирали по торжественным случаям, а сейчас какой случай? Самый обыкновенный. Святой долг — все, как один!

А потом — в замоскворецкую квартирку, трехкомнатную, из трех спичечных коробочек в деревянном доме, с узенькой лестницы — в кухню:

- Мама! Я ухожу в армию!
- Какая армия? — спросила мама, отвернувшись от плиты, где трещали дрова. — Институт же!
- Указ Верховного Совета. Вчерашний.

Мама села на стул и заплакала. Чем больше у матери мальчишек — тем больше слез. Младшие братья — еще школьники, а я — как раз 21-го года.

Нами овладело какое-то незнакомое, новое чувство, похожее и на обиду, и на радость. Обидно, что покидали такой завидный институт. Еще было обидно, что напрочь развеивались почти устоявшиеся привычки. Например, все приходило на занятия пораньше, чтобы, сдав в неуместительной раздевалке свои пальтишки и плащишки, давясь у стен, почитать друг другу новые стихи, написанные за ночь. Особой одаренностью всех ошеломлял росло-богатырский юноша Семен Гудзенко. До сих пор, больше, чем через полвека, помнятся его строки, услышанные в той раздевалке:

Чайки в человеческой тоске
Молча разбивались об утесы.

В них было что-то, чего не было у других. Да, поэзия в них была! А что же радовало нас? Да то, что уезжаем накануне



первой сессии. Этому обрадовались бы студенты всех институтов во всех странах. Когда наши шевелюры покрыли полы московских парикмахерских, прохожие на улицах, встречая безволосых мальчишек-призывников, сочувственно качали головами, и только один старикан дал мудрый совет:

— Служить надо легко, а то спичка бревном покажется!

Уезжали куда-то на двухэтажных нарах в товарных вагонах, называемых теплушками. Пели, надрываясь, окрипшими голосами: «Если завтра война!» Назавтра от хрипоты фамилии не могли назвать, когда командиры спрашивали. И началась служба — ежедневная смазка деревянных гаубиц и три раза в день — чистка коней. Сначала — донецкий город Артемовск, потом хлебно-фруктовое село Карналовичи и прикарпатский город Старый Самбор в Западной Украине. А потом — газета...

Нет, каким-то парком, куда неизвестно как свернули, чтобы покороче, побыстрее, мы возвращались, как домой, в родной полк. А к нам возвращалось спокойствие. Не без честного любопытства начали оглядываться. Деревья и кусты в парке, по которому мы топали, были подстрижены, и красиво. Видно, старые садовники еще обитали тут. Возле небольшого пруда, заросшего свежей зеленью на берегу и густыми водорослями в воде, как в море, возвышалась беломраморная, тонкая, божественная Афродита — она же Венера Милосская, якобы случайно возникшая из пены морской. Я спросил:

— Что за чудо этот парк, Иван? Не знаешь?

— На Украине его называют кусочком Швейцарии, — ответил Карабутенко. — А насадили по распоряжению польского помещика Пилсудского в подарок его молодой жене Софье. Эй! Оттого и село, куда нацелил нас Жук, зовется Софиевкой, а? Как раз для политотдела!

Почти бегом мы двинулись дальше по широкой, как проспект, аллее, приближаясь к воротам из четырех металлических полос. В воротах просвет, перехваченный опрокинутой дугой толстой цепи, чтобы в парк не ездили. Отвлеченные красотами парка, мы не обратили внимания на лейтенанта за воротами и подобие автобуса возле него. Уж очень лейтенант был мятый, как со сна (а может, и правда, со сна), а автобус какой-то битый-перебитый, каким не сразу удастся сдвинуться с места.

Мы поняли, что попались, когда лейтенант каждого, как гвоздем, ткнул пальцем в грудь.

— Халендра? Карабутенко? В автобус! Только скажешь, что сообразительные, я понял — тут пойдете. Короче.

— Нам еще за вещичками в полк надо!

— Что у вас там за редкие ценности?

— Зубные щетки...

— Эка невидаль! Редакция засядет в городе Серго, а там аптеки еще работают. Я куплю вам зубные щетки. Новые! А пока никуда не отпускай. Лезьте!

Битый-перебитый автобус лихо двинул нас в новую жизнь на войне, нередко более опасную, чем прежняя, — все же — за щитом. Мы с Иваном сделались сотрудниками политотдела фронта, ездили в окопы, на передний край, начиная с острова Хортица посреди Днепра, куда наша армия высадила десант. Это будто бы была первая наша наступательная операция. Нередко жестокие, случалось, и рукопашные бои разгорались за щедрые виноградники острова, словно бы интересовавшие всех в первую очередь. В окопах мы разговаривали с бойцами, возвращались в редакцию с заметками. Редакция занимала самый крупный в городе корпус, бывший родительный дом, который часто бомбили из-за заметности. Журналисты цеплялись за комнаты с потолками, чтобы дождями не мочило бумагу, когда они писали.

В редакции шла своя неизбежная жизнь. К нам приезжал Борис Горбатов, как обещал Караев. Приезжали поэт Илья Френкель и композитор Модест Табачников, оба молодые в ту пору, познакомиться с новой своей песней. Представьте себе, в коридоре роддома оказалось полужи-

вое пианино с оторванной крышкой, мы передвинули его в самую просторную и сухую комнату. Модест уселся на табуретку, мотнул кудрявой головой, прошелся по клавишам и вдруг показал нам большой палец. И раздались мелодичные первые аккорды покуда безвестной песни. Называлась она «Давай закурим», фронтовые поэт и композитор запели вместе:

—...Вспомню я пехоту

И родную роту,

И тебя за то, что дал мне закурить...

Френкель рассказал, что у песни много противников. Неужели у бойцов-де нет более серьезного повода для встречи? Закурить, и все? Мы возражали — это песня не о поводе, а о самой дружбе, которая дороже всех поводов. Модест Табачников повторял:

— Петь хочется?

Слова заучивались, вернее, сами запоминались сразу, и мы пели вместе с авторами. А скоро эту песню запели не только на Южном фронте, но и на всех других, как одну из лучших песен, родившихся на войне. Ее до сих пор помнят и поют.

Перед весной 42-го наш майор Гнедин вызвал меня к себе, испугал, что хочет присвоить звание. А это грозило тем, что после победы оставят в армии, мечталось же о возвращении в МИФЛИ, хотя его благополучно прикрыли, пока мы воевали. А нам ведь выдали справки, что, отслужив свой срок, мы можем вернуться в институт без экзаменов. Уже дважды я переклеивал справку на картон.

— А мать кормить надо? — спросил Гнедин. — Будет звание, получите аттестат, пошлете ей.

Мне стало не по себе. В тревожные дни Москвы, взяв Коляру и Шурея буквально в охапку, мать уехала в эвакуацию, и как раз пришло от нее письмо, как они жили в эвакуации, — трудней трудного.

— Давайте аттестат и звание! — закричал я Гнедину.

Скоро получил и то, и то. И перевод в газету новой армии, ударной, откуда была, оказывается, на меня заявка. Без звания меня, объяснил Гнедин, держали на должности корректора, а звание требовало места. Я согласился на перевод. Ударная армия, казалось, это наступление. И газета, куда я с направлением скоро приехал, под нынешний Луганск (тогдашний Ворошиловград), называлась коротко — «Вперед». Но пошли мы назад.

Двумя неудержимыми потоками — один к Волге, через действительно тихий Дон, другой — напрямик на юг, на Кавказ.

Наша ударная армия попала на кавказское направление.

И чего только не довелось увидеть на этой душераздирающей дороге отступления, пожалуй, более стремительного, чем в первые дни войны. В одном месте степной дороги, подковою осевшей в пшенице, из броневику вылез комиссар с одним ромбом в петлицах, от плечей до пояса перемотанный грязными бинтами, и подшагнул к полковнику, вылезшему из ветренного броневику.

— Где дивизия?

— Не знаю.

— А кто знает?

— Никто.

И — пощечина. Полковнику, похоже, опередившему на этой дороге свою дивизию. Но — пощечина, в армии! Человеческая вспышка, конечно. А в армии не люди?

— А ты бежал из госпиталя? — спросил полковник с красной щекой.

Человек, ударивший его, без ответа ушел в гущу пыли навстречу отступающим.

Какой-то хуторок среди степи скрылся в лесу. Откуда лес? Да это танкисты замаскировали свои пять танков ветками длинного тополя, единственного на весь хутор. Замаскировались и стояли, потому что не было ни единой капли соларки, а к ним приближалась гитлеровская армия

генерала Клейста — полторы тысячи гремящих танков. Вот какая силища перла на Кавказ.

На берегу Маныча, степного канала, в хуторе Веселый (надо же такое название нести!) мы встретили девочек и мальчиков, старшеклассников из школьного ансамбля, умчавшихся из родных домов Ростова на уборку урожая обслужить песнями и танцами ее участников. Чего только не бывает на войне! Ростов уже заняли фашисты. Мальчики расспрашивали нас, как поступить в армию, девочки — о госпиталях, как — туда? Мы накормили их и взяли на свои полторки — их было всего две. Ночью они вдруг горько и нежно запели любимые песни. А мы слушали, может быть, впервые понимая, что жизнь сильнее войны.

Танки Клейста приблизились к северокавказским городкам Моздоку и Малгобеку. С июля до конца 42-го года здесь велись необычные бои, и мне хотелось бы обратить на эти бои заслуженное внимание.

Клейст и другие генералы рвались в Баку за нефтью, без которой их боевые самолеты и танки остановились бы на аэродромах и дорогах, далеких от дома. Вероятно, для того, чтобы припугнуть своих генералов, Гитлер громко заявил им, что без кавказской нефти проигрывает эту войну. Военные заверили своего фюрера, что в начале сентября возьмут Грозный, город с крупным нефтяным кладом, в середине этого месяца пройдут Махачкалу, дагестанскую столицу, угнездившуюся среди гор, а за ней рукой подать до Баку, в ту пору самого нефтеносного у нас куска земли.

Мало того, как только победоносные войска приблизятся к границе в дело должны были вступить два десятка турецких дивизий, уже развернутых. «Безумного» ефрейтора Шиклыгубера нельзя упрекнуть в непредусмотрительности, потому что там открывался выход к нефти Ближнего Востока.

Пока же танки Клейста овладели Моздоком и с помощью понтонных мостов форсировали Терек, день и ночь волокущий по дну острые камни, и затеяли, как им казалось, недолгие бои у Малгобека. Каждое утро танки начинали с крупных атак. У нас танков не было совсем — как писал маршал Гречко в книге «Битва за Кавказ», на всю Северную группу войск Закавказского фронта (был уже и такой!) их, танков, насчитывалось не больше пятидесяти. Чтобы не потерять, их сразу зарыли в землю и использовали как артиллерию.

Первыми навстречу фашистским танкам выходили не пушки, а пушчонки, юркие «сорокапятки», как называли их по калибру бронебойных и зажигательных снарядов, которых, увы, не хватало. Еще бы! Их везли в грузовиках из Сибири и с Урала, на баржах по Волге сквозь огненный Сталинград и враскачку по Каспийскому морю в ту самую Махачкалу, куда рвались гитлеровцы.

Вооружали пехоту двухметровыми противотанковыми ружьями на коротких распорках, таких, что бронебойщиков, как их окрестили, с головой укрывала осенняя трава. Их крохотные снаряды взрывались внутри танка. Но танков было много, а бронебойных ружей очень мало. Если бы их, этих ПТР, было больше!

Однажды я видел, как по рельсам в серой траве застучал бронепоезд, реликвия, оживленная железнодорожниками Тбилиси и Баку. Бронепоезд выкатился, как из прошлого, заворочал длинными стволами перед мощными щитами брони.

— Огонь! — закричал корректировщик из сухой травы, словно земля обрела голос.

Длинные стволы бронепоезда громыхнули. В шеренге наступающих вражеских танков три начали обмахиваться черным дымом и облизываться огненными языками. Всего три! А приближалось их больше трехсот! Три копти-

ли, а остальные принялись отвечать своим огнем музейному солдату на рельсах. Росла угроза оглохнуть. Рельсы кусками разлетались впереди и сзади бронепоезда, а сам он загорелся в разных местах. Ни в детстве, ни позже я не слышал, что бронепоезда горят. Он горел и стрелял, будто хотел настреляться перед смертью.

Шли месяцы кавказской битвы, между тем, а фашистские танки топтались на месте. И неперменной деталью пейзажа всех склонов и дорог становился сторевавший корпус фашистского танка. Кто же останавливал и сжигал их? Человек. Люди, если мыслить не образно, а масштабно.

Как сейчас слышу донельзя усталый голос командира роты:

— Они валили, словно из рога изобилия. Самый страшный момент наступал, когда между тобой и танком не оставалось ничего, кроме воздуха. Тогда боец брал в руки гранату или бутылку с горючей смесью.

Моторная решетка у танка — сзади, попадешь в нее — можешь поджечь танк, но для этого его надо сначала пропустить над головой, сжавшись в земляном окопе «колодце». Каждый раз человек и танк встречались на коротке. Вот об этом мне и хотелось сказать. Главная пара кавказских сражений все еще в тени.

Помню первый съезд истребителей танков в Малгобеке. Съезжались, сошлись, повстречались наводчики «сорокапятки», стрелки из ПТР и гранатометчики — поделиться опытом. И представьте себе, первое место занял человек с гранатой. Меня познакомили с двумя братьями, из которых один сжег семь, а другой пять танков. Усмехнувшись, этот признался: «Снятся, заразы. Выспаться охота, а они все снятся!»

Сталинград всю войну повернул с востока на запад. А за месяц до этого перешли в наступление войска Северной группы Закавказского фронта, наши войска.

Гитлеровцы, подталкиваемые наступающими, побежали с Кавказа в ростовскую форточку, распахнутую на запад, опасаясь еще одного окружения и спеша проскочить хотя бы и без нефти. К сожалению, им это удалось. А нас остановила «Голубая линия» фашистов, которую они возвели на подступах к Таманскому полуострову, сгоняя сюда тысячи жителей Кубани.

Оттремела Курская битва, а рубежи «Голубой линии», утыканные бетонными дотами от Новороссийска до гнилых болот кубанских плавней, еще держались. Фашисты рассчитывали, что она повернет войну обратно и возвратит войска, запасшиеся цистернами, к нефтяным источникам. Война залезла в плавни.

Дратся здесь было на редкость тяжело. Артиллерия не требовалась — во-первых, для пушки не найдешь позиции в воде. А во-вторых, снаряд, если и долетал откуда-то, тонул, и над взрывом в конце концов вспучивался бутор пузырящейся мути. Если вылетал из этой мути грязный кусок железа, то слабенько, хоть рукой лови, шлепался под камыши. Пушки стали евнухами. Другое дело — миномет. У мины взрыватель чуткий, как спичка, она рвалась от первого прикосновения к воде. Для минометов годились крохотные клочки земли, так называемые «сушки», очень уж несолидные для суши. Из уважения минометы перестали называть «самоварами».

Еще что такое плавни? Комары. Плавни их вечный дом. Но солдат, как известно, ко всему привыкает, про комаров начали говорить, как про телефоны: «Вот зуммерят!» Еще? Нарывы на ногах. А к этому не привыкнешь. Больных в плавнях было больше, чем раненых, потому что раненых вообще не было — тонули. Фашисты сразу забрали лодки на свою сторону и разбивали, топили. Даже санитары были у нас без лодок.

Весна 43-го года... Мы с Эффенди Капиевым, тоже работавшим в газете, топаем из Краснодара, на окраине которого поселилась наша редакция, в плавни. Ранняя

распутица утопила в небывалой грязище кубанские дороги, а они все — солдатские. На них торчали застрявшие кухни, орудия, грузовики. Местные старики удивлялись — никогда не было такого. Да и не могло быть! По этим дорогам никогда не прокатывалось столько колес и не топало столько ног в сапогах, а чаще в ботинках с обмотками.

Вдали показалась Анастасиевская — станица у края плавней, и оттуда раздались внезапные звуки бомбардировки. Мы увидели, как в отстающих зенитных вспышках уходила стая «юнкерсов», освободившись от бомбовых запасов. Прибавили шагу... Цветущие вишневые деревья пылали, как листы белой бумаги, сжатые в комки. Это был последний на кубанской земле колхозный вишневый сад. Дальше — плавни. Там и тут за уцелевшие ветки последнего сада уцепились куски солдатской одежды, а где — рука, где — нога рядом с пустым сапогом.

В Анастасиевской стояли запасные части, готовые заменить те, что были в плавнях, и медсанбаты, в основном, с больными. По окровавленному саду бегали санитары. Раненые и убитые были сложены с краю, у кюветов. Перед поляной, обложенной ими, догорал помост.

— Что такое здесь было?

— Концерт артистов из Москвы, для раненых.

Все луга в саду стонали. Эффенди твердил:

— Об этом и писать надо языком грома и молнии...

В октябре новороссийцы, посылая на городские причалы десант за десантом в помощь тому, который высадил майор Цезарь Куников, перешли в наступление.

Малоземельцы помогли прорыву «Голубой линии» на самом укрепленном ее участке, в этом и заключалась хитрость командиров. И тогда вся наша Северо-Кавказская армия навалилась на линию обороны фашистов, они дрогнули и побежали к Тамани. И начала выбираться пехота из плавней. По грудь в воде солдаты пошли на вражеские дамы, увитые ключевой проволокой. На плотах и с помощью камышовых штурмовых дорожек пересекали разливы. Наш солдат еще раз показал, что ему все по силам и по рукам. Многие гибли, конечно, но и плавни двинулись вперед. Шаг за шагом.

Я мчался в Тамань. На чем может мчаться фронтовой корреспондент? На попутной машине, конечно. Было это в последние дни октября 43-го года. На берегах Черного моря завершалась подготовка к высадке освободительного десанта в Крым, и по молодости я очень хотел быть с первыми десантниками, чтобы ступить — впервые в жизни — на крымский берег, посмотреть на его курорты. С какой стороны появившись — не так уж важно...

И еще... Тамань была не просто черноморской станицей, она была леермонтовской. А это на всю жизнь оставило загадочный след в душе. Вот я и мчался.

Горбатые улички Тамани оказались как-то напояк обставлены белыми хатками. Станица будто бы сама себя берегла, любила. А через залив между Таманью и Крымом виднелись крымские сопки. Да тоже какие-то необычные, розовые, будто подкрашенные.

Утром, через армейский узел связи, я дозвонился из Тамани до самого Краснодара, до редактора своей фронтовой газеты и доложил ему, что сегодня мы с Ксенофоновым «уходим туда». Наш фотокорреспондент Николай Ксенофонов стал моим постоянным спутником на земле и воде, он снимал, я писал. И вдруг совершенно неожиданный ответ редактора:

— Ксенофонтова отправляйте, а сами — вверх, вверх, понятно? — Я подумал: чего ж не понять? Вверх, вверх — на север, к Темрюку, а редактор уже кричал: — Там будет главный концерт! — Он был у нас резкий человек, всегда не просто говорил, а приказывал, но для маскировки, при близительной и грубой, сейчас вел разговор в принятой

тогда манере, разгадать которую было совсем не трудно. — Там, и уходите туда!

Я ответил, как и полагалось молодому капитану:

— Есть, товарищ полковник!

И на другую попутку.

Из Темрюка отправлялась в десант 2-я гвардейская дивизия, в ней было немало знакомых, нашел майора Поветкина, Петра Георгиевича, командира полка. Мы шли на тендере, привезенном в Черное море с Ладоги, на платформе. Тендер — сплошное железо, толстое к тому же — имел низкую посадку, грузные волны не перекачивались, а перелетали через палубу, сдвигая с нее всех, кто не успел схватиться за что-то. Для десанта выбрали штормовую ночь, никто не ждал десантников с восьмибальных волн.

За сотню метров от берега десантники выбрасывали в волны и пену хлеб и табак из своих вещевых мешков. Все, кроме оружия и патронов. Мы и сами прыгали, наконец, в ледяное ноябрьское море, а десантные корабли «малого флота» разворачивались за второй волной пехоты, чтобы начать атаку на берег. Фашисты уже вывешивали над берегом парашюты-осветительных ракет и, к своему ужасу, надо полагать, растерянно видели в дрожащем свете не только волны и брызги возле скалистых камней, но и оружие, самостоятельно плывущее среди волн к берегу. Дело в том, что после прыжка в воду десантники долго шли по каменистому дну, вскинув оружие над собой.

Наткнувшись на камень и чуть не сломав ногу, я все же сумел воспользоваться им, чтобы выпрыгнуть повыше и набрать воздуха побольше. И увидел, как автоматы, винтовки, противотанковые ружья, ручные пулеметы, гранаты не тонут, а плывут к берегу. Солдаты выпрыгивали за воздухом в разное время, их не было видно, потому и казалось, что гуща оружия плывет в ревущих волнах сама по себе.

Небо было завалено тучами, темнотой, так, точно земля не узнает больше, что такое рассвет. Но вот там и тут у фашистов начали вспыхивать прожекторы, и в их свете стало и нам видно, как из прибрежных блиндажей выскакивают люди, не успевшие в этой скоропалительности одеться, в серых и белых кальсонах. В серых (шерстяных) — офицеры, в белых (бумажных) — солдаты. Налаживали сопротивление. Заработали минометы, скоро к ним прибавились пушки.

Наши пушки пока не стреляли, хотя их немало было если не на берегу, так у берега, на дне. Во тьме их швыряли в воду с катеров, мотовотов и тендеров. Еще малоземельцы, руководимые изобретательным майором Куниковым, научились сами и научили других, как выпрыгивать на берег пушки. Высаживались при свете своих горящих плавсредств, а пушки — в воду, куда же еще? Берег крут, да и не пристанешь к нему, сплошной огонь, подожгут.

К пушкам, прежде чем их бросить в воду, привязывали поплавки, чаще всего — рыбацкие, с буханку хлеба. На рассвете глянешь — плавает, голубчик! И ясно, куда нырять за пушкой расчету во главе с командиром, доставали и сразу открывали огонь. Так было у Малой Земли, так и у крымского берега.

Кидаясь в атаку, десантники захватывали блиндажи с раскатанными печками, похожими на наши «буржуйки», только куда крупнее, с чудовищными по размеру чайниками на них, с бумажными пакетами, полными муки, на табуретках рядышком. Наши хлебопеки быстро замешивали муку в горячей воде из чайников и пекли вкуснейшие оладушки прямо на крыше печей. И все по-быстрому сушились. И тут же от радости начинали играть на губных гармошках, валявшихся на нарах, где их оставили недавние хозяева.

В первые дни десантники заняли севернее Керчи поселки Маяк и Глейка, рыбацкие села покрупнее — Опасное и Еникале, за первые две недели пладдарм расширил-

ся на двадцать километров по фронту и не меньше восьми в глубину. Руководил высадкой, объяснял солдатам, что не надо бояться шторма, жертв будет меньше, чем в нормальную погоду, а если потерять внезапность — беда, командующий Северо-Кавказским фронтом, преобразованным в Отдельную Приморскую армию, как она — под его же командованием — называлась в Севастополе в 41-м году, генерал армии Иван Ефимович Петров.

Его любили солдаты. Даже те, кто ни разу в глаза не видел генерала, за глаза называли его «наш Иван Ефимович». Не всех генералов так величают в солдатских разговорах. Само собой, особую любовь к нему вызывала боевая слава. Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь. В первые годы войны он командовал сухопутной обороной этих приморских городов, а теперь высадил мощный наступательный десант под Керчью, в задачу которого входило ее освобождение. Все эти города стали городами-героями. Четыре — в одной воинской биографии — это исключает случайность. Скажут, генералу Петрову повезло воевать во всех этих городах, но, согласитесь, и городам повезло, что их защищали и внесли свою лепту в освобождение иных войска под командованием Ивана Ефимовича Петрова.

Звание генерал-майора он получил перед самой войной, будучи до этого начальником военного училища в Ташкенте. Сын сапожника, он и не мечтал о военной карьере, а хотел стать художником. Даже на фронте Иван Ефимович, случалось, ненадолго открывал этюдник и брал в руки палитру и кисть, чтобы перенести что-то необычное — дерево или куст — на свой этюд, переселить в свою коллекцию. Вместе с тем были ему свойственны и другие увлечения. Долгая армейская служба в Средней Азии, борьба с басмачеством, командование кавалерийским полком не мешали ему изучить — да не как-нибудь, а в совершенстве, с любовью — три местных языка: туркменский, таджикский и узбекский, разные не по частным особенностям, а разных языковых групп.

Воевал он тоже с увлечением. Часом начинал носить вдоль переднего края на потрепанном автомобиле с двумя пулеметами. За ним охотились артиллеристы, а то и самолеты. Но пулеметчики стреляли, а генерал в своей выдавшей виды кожаной куртке радовался, пока с ним не заговорили о его безрассудстве на Военном Совете. К чему, мол, эта бесшабашная храбрость? Вы генерал, а не сумасшедший смельчак! Что вы делаете?

— Я работаю, — ответил Иван Ефимович. — Всем нам полезно знать, как чувствует себя на переднем крае солдат.

— Вы генерал-полковник, а не генерал-солдат! Такого звания нет!

— И времени нет, — вздохнул Иван Ефимович. — Чего вы требуете от меня?

— Ничего. Хотим, чтобы вы остались с нами живой и целым.

— Дело у меня такое... И я ему служу, как могу! Смолу.

В 16-м году он был призван на военную службу, в 17-м закончил юнкерское училище, а весной следующего в звании прапорщика добровольно вступил в Красную Армию. Гражданская война, служба в Туркестане... Не одно ранение, сильная контузия, от которой в напряженные моменты тряслась голова так, что чуть не падало пенсне, которое он носил на переносице, старое пенсне, для легкости, вместо очков. Командир кавалерийского полка перед войной, в 41-м он командовал механизированным корпусом под Брянском. Как попал туда, ведь все станции и железнодорожные пути были забиты неподвижными эшелонами? А Петров добрался. На дрезине. Потом разговор с начальником Генерального штаба и заместителем наркома обороны Г.К.Жуковым в Москве:

— Будешь командовать Первым механизированным корпусом, но в другом месте, поедешь в Одессу, быстрее!

Поезд — вечером. В Генеральном штабе был Рокоссовский, они встретились, старые знакомые, и не один час просидели вместе в ресторане гостиницы «Москва», Рокоссовский рассказывал о боях с фашистами под Луцком и даже показывал, как они разворачивались и велись, на картах, вынутых из фронтального планшета. Первого механизированного корпуса в Одессе не оказалось, но были две кавалерийские дивизии, которыми короткое время командовал Петров, и вот повышение — местные власти доверяют ему главный пост в обороне города, в этой кровопролитной борьбе — командование Приморской армией, которая в Севастополе стала называться Отдельной Приморской.

До войны оборона столицы Черноморского флота была подготовлена с моря, никому и в голову не приходило, что враг подойдет к ней с суши. Петрову пришлось все начинать с нуля, а сейчас оборона Севастополя считается образцом длительной и активной обороны крупной военноморской базы в глубоком тылу противника, к тому же — при постоянном недостатке боеприпасов. Этот недостаток все время ощущался и нарастал, но Севастополь держался 250 дней — благодаря массовому героизму своих защитников и полководческому таланту командующего ОПА.

Это всем известно. Не всем известно, однако, что Иван Ефимович Петров в последний день обороны города был с бойцами и матросами в боях за Малахов курган на Корабельной стороне и вместе со всеми живыми защитниками



города клялся вернуться в свой Севастополь. И вот — десант под Керчь, и успешный. Севастополь на другой стороне Крыма, но рано или поздно дорога туда откроется, станет реальностью. Петров насытил плацдарм, хотя этому очень мешало штормовое море, и штормы не прекращались, а усиливались, войсками и техникой — семьдесят пять тысяч человек, около восьмисот орудий и минометов, полтораста танков.

Сталин не любил Петрова, ревновал его к славе, называл «генералом обороны», понижал ему звания, ранги наград, чтобы все видели, какой тот «герой», и сомневались в его таланте. Но не понизишь же звания за успешный десант? Получалось, что он и наступать может? Не хватает того, что и оборона и освобождение Новороссийска — его «полководческая» заслуга? Теперь еще и десант через Керченский пролив — не первая «морская» удача Петрова!

А «таманская» часть этого десанта? Ушедшие из Тамани десантники высадились со своих мотоботов в рыбацкий поселок Эльтиген, крошечный клочок берега не остывал от снарядов и бомб, с моря его блокировали самоходными баржами. Еду и письма десантники получали только с воздуха, с «кукурузников» женского полка майора Бершанской, вернее — девчачьего, потому что каждой летчице было не больше двадцати. Командир эльтигенского десанта генерал-майор В.Гладков отказывался от предложения гитлеровцев за обещание сохранить жизнь сложить оружие.

Гладков знал, что у него вспомогательное направление, но важное. Благодаря его отвлекающему десанту высадились другой, обширный десант севернее Керчи. Война — нелегкое дело. Не только физически, но и духовно. «Очень может быть, мой десант обречен, — говорил себе Гладков, — но сдаваться даже за такой подарок, как жизнь, не в моем характере. А как спасти солдат?»

Над этим, не жалея шифровальщиков и радистов, он ломал голову вместе с командующим, вместе с Иваном Ефимовичем, который не забывал об эльтигенской группе. Наконец, отважились на риск. Чем неслыханней замысел, тем больше надежда на удачу. Выбрали прорыв из Эльтигена на южную окраину Керчи. «Вам никто не поможет лучше нас!» — верно заключил Петров. И Гладков согласился — надо прорываться, идти на соединение со своими. Но до Керчи двадцать километров и все — по фашистским тылам.

Вероятно, разгадав какую-то шифровку, фашисты издевались: «Испугать нас хотят, но мы не пугливые и знаем, что оба генерала — не дураки, никакого прорыва всерьез не предполагается». А Петров и Гладков уже и число наметили — 6-е декабря. А раннее? Тех, что смогут двигаться сами, — взять с собой, в крайнем случае нести на плечах. А неспособных двигаться придется оставить.

Мне рассказывал молодой военврач, как те, кто не мог оторваться от каменного дна подвала санчасти, просили оружие.

— Они ж танки пошлют на нас!

— А вы оставьте нам противотанковые ружья! Вам-то тяжело их нести, а мы уже на месте. А зачем плакать, доктор? Слезы никому не помогали. Придете домой, а... слез у человека ограниченный запас, и поплакать будет нечем. Даже от радости. Непорядок!

Через месяц и шесть дней жизни на огненном берегу Эльтигена десантники прорвались, где дорогами, а где по изрытым полям прошли 20-25 километров и внезапно вломились в Керчь, захватили самую рослую высоту над огромным городом, с древних пор до сегодняшних носящую имя понтийского царя Митридата. Генерал Гладков со штабом, связными и прочими молодцами своей службы занял капонир с выходами на обе стороны, бетонный. Первый признак жизни — коптилки, они заселили все пространство среди бетонных стен. Первая радиogramма от

Гладкова Ивану Ефимовичу такая: «У нас сил мало. Боеприпасы на исходе. Выбрасывайте ко мне десант». В темноте сразу не разберешься, и Гладков не знал еще, что все дно Керченской бухты фашисты утыкали гнутыми рельсами, один-два катера, может быть, и проберутся, но какой десант?

Понятно, что несмотря на изнурение, командир и десантники все же хотели удержать гору, нависшую над городом и бывшую ключом к нему. Петров думал об этом коротко — хотел одно, а мочь — другое. Эльтигенцев было около двух тысяч. Чтобы взять город, требовалось раз в десять больше. Фашисты уже начали теснить голодных десантников на южный склон Митридата, и генерал Гладков связался с Петровым еще одной радиogramмой: «Как ни больно, приходится высказаться за эвакуацию». И приказал концы гнутых рельсов, вынырнувших из волн на рассвете, застелить досками, щитами, чем найдется, сделать дорожки к катерам, если Петров придет их.

Когда же катера, хотя в это время уже никто не верил, кое-как пристали там и тут, а десантники-эльтигенцы принялись перебираться на них, к людям начала возвращаться вера, что они еще ступят на свой берег. И ступили — кто на плацдарм, а кто сразу на косу Чушка, которая от кубанского берега пролива растянулась песчаной свиньей в мелкой воде, как в морской луже.

Встречая эльтигенцев, мне удалось выяснить, что мой Коля Ксенофонов за два дня до прорыва вплавь добрался до катера, пробившегося к Эльтигену сквозь заслон самоходных барж, и вернулся на этом катере в Тамань. Я разыскивал его всеми правдами и неправдами, а Коля вдруг прилетел ко мне на плацдарм, чтобы работать со мной и дальше. В те дни работа — это было главное для нас.

Да, он прилетел на плацдарм, потому что к нам часто стали летать «кукурузники», которые, опасаясь фашистских истребителей, не выше кукурузы летали. Еще называли их «уточками» («У-2»). Где сядились? С десантной ночи над одной из сопкок Крыма зареял флаг — кусок материи, измятой на груди под ватником, на сопке проколотой штыком и полоскавшей на нем вместо древка среди камней, собранных в кучу. Установил этот флаг гвардии красноармеец Павел Тарасенко, кубанский парень, только что вернувшийся в строй после тяжелого ранения. В первом же Указе о присвоении героических званий за десант — имя и Павла Тарасенко.

Сразу за сопкой, чуть северней, оказалась большая площадка, лучше сказать, поляна, изрытая воронками от снарядов и мин. Вот на ней и стали приземляться «кукурузники», поднимавшиеся со степного аэродрома, весь перелет через пролив — 10-12 минут. Как в сказке. На плацдарм доставляли муку в мешках — Петров создал здесь пекарню, — а назад брали раненых.

Десантные «кукурузники» даже внешне отличались от тех, к каким привыкли. Чья-то остроумная голова добавила к самолетикам специальные люльки, похожие на сигары, их так и называли, кто люльками, кто сигарами. Крепились они поперек крыла снизу. В конце люльки откидные дверцы-защелки, длиной она как раз с санноsilки, где лежал раненый. Не глуша хлопотливых моторов, самолетик разворачивали, схватив за хвост, и везли раненого в госпиталь. Летели за мукой, чтобы десантники ели свежий хлеб. Грузы, как печатями, обменивались своими следами. На шинелях раненых — пятна муки, а на мешках с мукой — кровь.

Нельзя сказать, что мой первый перелет на «кукурузнике» через пролив удался. Над водой нас атаковал «мессер». Для прикрытия прилетел наш истребитель. Ура! Но вдруг возник еще один «мессер», и они сбили нашего ястребка. Прижимаясь к воде, чтобы помешать новым атакам, девушка-летчица тянула через пролив. Едва мы сели, нас

развернули, мне, сидевшему за летчицей, сунули в руки спасательный круг — я понял: для летчика, болтавшегося в ледяной воде, и мы полетели назад. Удачно сбросив взятый у меня круг, летчица села на свой степной аэродром и забрала вместо меня мешок муки, а я на очередной попутке уехал в Темрюк, где стояла редакция.

Не всегда удавалось уговорить летчицу вместо мешка муки взять с собою военного журналиста. Мука в десанте важнее слов. Но у Коли было в руках безотказное средство — фотоаппарат. Дома просили и ждали снимок. Вот Коля и прилетел на таком «кукурузнике».

После того, как элитгенцы соединились с нами, я спешил в редакцию отписаться о героях таманского десанта. Шагал через плацдарм к аэродрому по скользкой, ледистой траве под морозным норд-остом и вдруг, едва открылось пенное море, увидел у берега, у причала белый катер командующего. Случалось, он брал с собой на борт кого-то из застрывших здесь или на Чушке, по которой катились волны.

Я еще ничего не знал, а командующий уже не был командующим. Верховный пришел в ярость оттого, что Петров, находясь в городе, ушел оттуда, и снял его с командования Отдельной Приморской армией. Понизил Петрова и в звании, но... на всякий случай отозвал его в запас Ставки. А вдруг понадобится? Так вот, ничего не зная об этом и увидев у причала катер командующего, я обрадовался и со всех ног кинулся туда.

Посреди длинной полосы причала из мокрых досок застыла прямая фигура. Петров держал папаху в руке и смотрел на землю прощальным взглядом. Раза два, не подзревая, что его видят, обмахнул щеки ладонью, а я стал пятиться, пока меня не скрыла щель в соседней сопке. А когда узнал, что случилось, все пытался вообразить, каково ему было тогда...

Керчь освободили 11-го апреля 44-го года, почти через пять месяцев после стычки на Митридате. Эти пять месяцев еще накапливали боевой запас для наступления, чему не переставало мешать море, и новый командующий Еременко не останавливался перед солидными расходами на водолазов, сварщиков и еще многих, чтобы протянуть над проливом подвесную дорогу, в железных ящиках которой — от мачты к мачте — снаряды и патроны днем и ночью переплывали через пролив над кипящими волнами...

Итак, четыре города-героя и один вопрос: во всех ли этих городах есть площади и улицы имени генерала Ивана Петрова? В Севастополе, я знаю, есть. А в других? Он заслужил.

Наш ноябрьский десант 43-го года был на этом берегу не первым. Про первый многие забыли, а иные и слыхом не слыхивали. Он высадился в Керчь и Феодосию в новогоднее утро 42-го года. Силы его были невелики. Зато высадилось немало отличившихся особой храбростью отрядов морской пехоты. А цель — помочь Севастополю, оттянуть на себя силы захватчиков от города, издавна зовущегося городом русской славы. Вызвав у противника переполох неслыханной отвагой, оказав безусловную помощь Севастополю, десант, в конце концов, был опрокинут в море. Только один человек улетел на самолете с его плацдарма в Краснодар — член Военного Совета Захар Мехлис. Последние десантники уплывали к косе Чушка на бревнах, в мартовском море. А госпитали? Ведь были многие сотни раненых. Где они укрывались? В катакомбах Аджи-Мушкая. Что это за катакомбы? И за Аджи-Мушкой?

Наш десант 43-го года в первые же недели выгнал фашистов из этого особенного селения, где жили не рыбаки, а каменотесы. До войны Аджи-Мушкой отправлял их на работу под землю, в штольни, куда спускались через входы, похожие на пещеры или колодцы. Вооружившись, как лесорубы, пилами и топорами, они пилили камень-

ракушечник, напомилавший, что когда-то тут было морское дно. Из этого прочного и послушного строительного материала строили на всем полуострове жилые дома и бани, райкомы и рестораны, мечети и церкви.

Под землей образовалось много пустот, которые окрестили катакомбами. В них-то и расположили госпитали со множеством солдатских кроватей. Там они и остались — госпитали на бревнах не увезешь.

...Каменные поля вокруг Аджи-Мушкая, покрытые полусухой и острой травкой, в тот день лежали под неподвижным одеялом пухлого тумана. Из него совсем близко вдруг высунулся длинный ствол фашистской самоходки и плонул огнем. Я упал, вскочил, побежал. В тумане повторилось пятно огня. Услышав за собой перебор гусениц самоходки, кинулся вперед скачками. Снаряды начали догонять меня. Первый взрыв был позади, второй — впереди, я понял: меня взяли в вилку, и третьему снаряду подлагалось накрыть цель.

Но тут я, честное слово, поверил, что Бог бережет меня. Раньше выстрела под ногами разинулась яма колодца, выдолбленная в камне. Не останавливаясь, я прыгнул, полетел, ударяясь плечами о стенки, пока больно не стукнулся подошвами о сухое дно. Два солдата, вынырнувших из штольни с разных сторон, подхватили меня и помогли устоять на ногах.

— Где тут бывший госпиталь?

— Там, если еще не выпребли.

Они объяснили, где и как искать, если есть что отыскивать, я долго и зря бродил среди влажных, будто от капель пота, каменных стен. Ничего не нашел, зато выбрал в каменный «зал», где свет от плошек с постным маслом и фитильками пробивал полутьму. На полу сидели женщины, качаясь, будто делая сидячие поклоны. За деревянные ручки они вращали круглые каменные плиты, растирая зерна кукурузы в муку. Здесь прятались жители Керчи, не покоровившиеся захватчикам. Женщины, как всегда и везде, были кормилицами. Само собой, кукурузу приносили мужчины. Рядом с матерями жили и дети. В дальнем конце «зала» светилась «дыра». Сквозь нее я на руках вынес наружу маленькую девочку, и она спросила:

— Дядя, уже снег?

А вокруг лежала черная земля, вымоченная дождями, часовой у «дыры» сказал мне:

— Капитан, нельзя ей долго тут, она отвыкла от света...

Я принес девочку матери, расспросил, где найти бывший госпиталь, и подумал: приду завтра. И нашел остатки госпиталя, одного из тех, что бросил Мехлис.

Я зажег побольше коптилок на тумбочках возле низких солдатских кроватей и увидел... Никогда не думал, что увижу такое... На низких кроватях лежали скелеты... Коптилки разгорелись, свету прибавилось, и стало виднее. Да, на солдатских кроватях с короткими ножками лежали скелеты. Одежда истлела, обнажив голые серые ребра. Черепа с широкими дырами вместо глаз вдавлились в пух подушек — жалкий след госпитального белья.

— А это санитарка, — послышался голос, и я вздрогнул от неожиданности.

В каменном зале стоял еще один молодой капитан, сняв с себя пилотку, и показывал мне на скелет, который, как бы свернувшись, лежал на полу. Два клочка ткани защитного цвета с красными крестами накрывали санитарную сумку и череп санитарки.

— Я тоже лежал здесь, — сказал капитан. — А потом еще с одним раненым мы ушли кое-как, переправились на бревно через пролив, готовый нас заморозить. Но я вернулся. Вот.

...Первый день пребывания в Ялте, первый день весны, как называл я один из своих рассказов, которые украдкой от всех начал писать, кроме корреспонденций. Этот

рассказ был посвящен дому Чехова, хотя имя из робости не называлось.

Три маленькие девочки подвели нас с Колей Ксенофоновым к дому Чехова. Я спросил, в каком классе они учатся. Ни в каком, их школа была разбита, жизнь словно остановку сделала.

— А где работает твой папа?

— В жандармерии.

— Почему? — вырвалось у Коли.

Оказалось, жандармерия рядом с домом.

— А твой?

— В булочной Кусакина, потому что умеет вкусные булки печь.

Времена гуляли по земле, как циклоны. На окраине, где город переходил в поселок, открылся небольшой белый дом, тот самый... На земле у каждого есть родной дом, где он родился, рос, но есть и другие родные дома, как этот, куда нас с Колей закинула война, белый дом за железной, с витыми кольцами, невысокой оградой и зеленью древесных веток. Своими глазами смотрели, а как-то не приходило в голову, что при нем эти деревья были не деревьями, а кустиками до колен, потому что Чехов все, что густо растет здесь сейчас, сажал своими руками. И все, что принесло ему полное собрание сочинений издателя Маркса, он вложил в эти стены, возведенные, чтобы лечить жестокую болезнь.

Он приехал в этот город у моря и не полюбил его за парфюмерный запах модного курорта, забивающий запахи кедров и моря. За ярмарочную сутолоку на том берегу, куда Россия выбрасывала умирать своих чахоточных. Он отдавал остатки денег на их лечение, просил по всей стране объявить сбор средств в помощь людям, умирающим среди роскоши праздной жизни и природы. Но все же сквозь вечную душевную боль иногда проглядывали и тепло этого солнца, и солнечная улыбка моря. А друзья? Эту калитку открывали писатель Иван Бунин, художник Исаак Левитан, композитор Сергей Рахманинов.

А вот мы не можем идти. Убедились, что дом цел, а не можем. Грязный и скользкий из-за пятен солянки бензовоз оставил не просто надежные, а, казалось, вечные следы на руках и гимнастерках. О брюках и говорить нечего. Как быть? Кому молиться?

— Чего ты психуешь?

Коля всегда был приспособленнее меня к трудностям.

— Брюки сзади, значит, к собеседнику стой лицом, не увидит.

— А руки?

— Отмоем за полчаса.

— Где?

— Зайдем в любую квартиру. Помогут.

Обогнув дом, мы поднялись по деревянной лесенке, ведущей к двери. Нас пустили. Мы попросили согреть воды, а сами на это время прилегли на кровати, аккуратно сняв и сложив с них все белое. Позже гостеприимные и чуточку испуганные хозяева сказали, что мы проспали до самого утра. Разбудить не удавалось.

Приблизившись утром к дому-музею, мы разглядели, что стены выщерблены осколками, как оспой, а в окнах нет ни одного стекла. Раньше зелень и расстояние скрывали это от нас, а теперь мы заторопились. Когда входная дверь приоткрылась, увидели высокую женщину в темном платье, с белым шелковым кашне на шее, немолодую, но еще красивую достойной, нестарющей красотой. Чуть вытянутое лицо, умные глаза, волосы, собранные в старомодный пучок. Она тотчас же заплакала. Слезы радости всегда узнаются, отличаются от горьких, и мы их узнали, а она крикнула:

— Маша! Ты слышишь меня? Свои, снова свои!

— Я не могу подняться, у меня нет сил, это от счастья, — донесся до нас слабый голос сверху. — Где они, Лена? Зови их!

Женщина, вытирая глаза бахромой кашне, махнула рукой. Мы, забыв о брюках, кинулись по лестнице и очутились в тесной комнатке с письменным столиком и книжными шкапами. В глубоком кресле перед нами сидела сестра писателя с беспомощным, морщинистым лицом. Желтоватые руки дрожали, утопая в продавленных подлокотниках старого кресла. В выбитое окно смотрели сияющие, еще снежные вершины гор, полукольцом обнявших Ялту. В комнатке было холодно.

— Надо чем-то закрыть окно, — сказал я, а женщина, которая привела нас, наклонилась к Марии Павловне и поправила на ней распахнувшуюся вязаную кофту.

— Лена, — говорила сестра писателя, — это моя подруга, ее зовут Елена Филипповна...

— Отчего дом без стекол, Елена Филипповна? Снаряды? Бомбы?

— Бомбы, — ответила Елена Филипповна, кивнув головой. — Три. Позавчера вечером, почти ночью. Прилетел самолет, покружил и кинул три бомбы, нарочно или случайно, не знаю. Как вы думаете?

— Не знаю, — обронил и я, — важно, что не попали в дом.

— Одна разорвалась сразу за садом, это ее следы.

— Сегодня же займусь их ликвидацией.

— Вы или? — спросила Мария Павловна.

— А вы?

— Мы пьем кофе. Конечно, сахара у нас нет, но кофе хороший. Вы давно пили кофе?

— Забыл, когда.

— А где вы берете черный кофе? — спросил Коля.

Через несколько месяцев его убили в польском городе Бреслау, когда он снимал уличную атаку. Вражеский снайпер всадил пулю в его аппарат, а это не броня. Пуля попала в переносицу. Но сейчас — черный кофе.

— Сами делаем.

— Из чего?

— Из моркови.

Мария Павловна засмеялась, а я подумал — вот терпенье, какой искренний смех, терпеть и радостно смеяться, это ж счастье!

— Ну, ладно, — говорила Мария Павловна. — Все прошло, как кошмар. Лена-а!

Вероятно, Елена Филипповна ушла готовить кофе.

— Я бы умерла без нее. У меня же был брюшной тиф, только этого не хватало в оккупации! Лена раскопала адрес врача, а он раскопал лекарства. Официально она заместитель директора музея, мой, как сейчас говорят, зам, лучше всех работает в музее, никого не боюсь обидеть, все со мной согласятся. Лена!

Уже из Москвы, после того, как не стало Марии Павловны, не раз приезжал я в Ялту, чтобы навестить Елену Филипповну Янову, чем-то помочь ей. Она продолжала жить заботами дома-музея, будто все еще служила в нем, а не была на пенсии, рассказывала, как приезжает Иван Семенович Козловский, и они, помня себя веселыми, вроде молодых, проходят под патефон круг вальса, но не только об этом, а о том, как новое руководство дома заботится, чтобы было больше туристов, потому что это связано с премиями, а ими, туристами, истоптаны все ковры дотла, свинчена крышка с телефонной трубки, служившей Антону Павловичу при его памятных разговорах с Художественным театром, из буфета исчезла чайная чашка матери. Как говорится, невероятно, но факт.

...И вот я бегу по весенним улицам Ялты сорок четвертого года к ее временному коменданту с надеждой, что он поможет найти мастеров для скорого ремонта чеховского дома. Он — мой старый знакомый генерал-майор Горбачев. И слышу ответ:

— Ты не туда пришел. Завтра меня здесь уже не будет.

— Вы — наступать? А мне куда?

— К партизанам, они — хозяева города.

— А кто там главный? Как его зовут?

— Сейчас, сейчас скажу, — задумался генерал. — Сообразительный, головастый человек! Мне понравился! В прошлом не гражданский петух, а бывший флотский командир! Вихман!

У каждого человека свои особенности. Нет особенностей — нет человека. При первой встрече мне показалось, что Вихман, командир партизанской бригады, оригинальничает. У двери его кабинета дежурил партизан с автоматом.

— Можно к Вихману?

— Нельзя, капитан. Людей — полно!

Из-за двери вышли двое в одинаковых ватниках, а сами — разные, один — красный, другой — белый.

— О, какие разные! — невольно вырвалось у меня.

— Один бледнеет, а другой краснеет, кто как, — ответил часовой, — а получили от Вихмана одинаковую вышку.

К двери подвалил еще один партизан, богатырь по виду.

— В порту стреляют!

— Иди, доложи, Павлик.

— А закурить нет? — поинтересовался Павлик молящим голосом.

Дежурный вынул из кармана пачку.

— Всего одна.

— Пачка?

— Папиросочка. Бери. Идите и вы, капитан.

— За что такая милость?

— Не скандалили.

Комната большая, больше, чем представлялось. И, действительно, полна народу. Вероятно, возле окна стоял стол, но его совсем не было видно из-за сомкнувшихся спин: кожаные куртки, пальто. Сбоку, сидя на диване перед низким столиком, немолодая женщина стучала на машинке, изредка протирая глаза от дыма и покрикивая:

— Перестаньте курить, я задохнусь!

Едва я заговорил о доме Чехова, спины передо мной сразу сомкнулись еще теснее.

— Да заставьте окна какой-нибудь фанеркой, и хватит морочить голову. Чехов, Чехов! Он давно умер!

Отовсюду голосили:

— Товарищ Вихман! То-оварищ Вихман! Вихман!

Наконец, и я протолкнулся. За столом сидел крепкий, лучше сказать, крепенький человек низенького роста. Синели чисто выбритые щеки, кое-где прочеркнутые порезами торопливой бритвы. На нем была суконная гимнастерка, крест-накрест перетянутая пулеметными лентами. За спинкой стула висел автомат. Выслушав меня, Вихман раздраженно ответил:

— У меня грабят винные подвалы Массандры, стреляют в порту, не развлекаясь, наверно, для захвата какого-то катера, а вы, простите... Я думаю, ваше дело подождет.

— Нет, — сказал я уверенно, и он поднял глаза, — нет, потому что это — всенародная гордость и любовь.

— Кто-то там есть, — спросил Вихман, прищуриваясь, — в доме?

— Две старухи.

— Старухи — возраст. А я спросил — кто?

— Его сестра, Чехова, Мария Павловна. Она сберегла музей и сможет вернуть его к жизни лучше других. И ее зам, верная помощница...

— У вас есть стекло?

— Что?

— Грузовик снарядов любого калибра сейчас в нашем городе достать проще, чем метр стекла.

— Стекла нет.

— А замазка у тебя есть? — помягче спросил меня Вихман.

Не зная, как помочь ему и себе, я буркнул порешительнее:

— Я от генерала Горбачева, он просил...

— При чем тут Горбачев? — перебил меня Вихман. — За город пока отвечаю я.

Он отодвинул стул и поднялся. Поясной ремень был косой, оттянутый в один бок трофейным парабеллумом с массивной рукояткой, выглядывающей из чужой кобуры. Две гранаты-лимонки тоже висели на ремне, по другую сторону, но не выравнивали его.

— Айда!

Мы шли одной, второй улицами, и я не знал, куда он меня ведет, но не спрашивал.

— Что молчите? — справился Вихман.

— Думаю о вас, — сказал я.

— Ну?

— Помогает все это? Эва, даже фонарь на поясе, какой длинный! Как скалка.

— Еще как помогает.

— Чему?

— Сейчас увидите. Мне нужно дело делать.

Подшли к четырехэтажному дому, каких в Ялте немного, и спустились на сырую и темную подвальную площадку лестницы. Вихман отцепил от ремня свой фонарь, и пятно света, как солнечное, ударило в железную дверь.

— Как? — спросил Вихман, кивнув на дверь.

— Тихо, — ответил часовой.

Успел и я кивнуть.



— Кто там?

— Сволочь разная из бывшей горуправы, — выдавил Вихман, — хвосты! — И толкнул дверь ногой, ее уже открыл часовой.

Под низкими сводами скопилась тьма, в глубине ее послышался кашель. Вихман пошел вперед, я за ним, и вода не то что зачавкала, а заплескалась под сапогами.

— Гады, — прибавил Вихман, — здесь они месяцами держали наших.

Круг света от фонаря выхватил застывшие у стены фигуры, они вызвали у меня чувство — нет, не какого-то негодования, а брезгливости. Глубина тьмы, казавшаяся далекой, приблизилась. Вихман остановился, держа в одной руке фонарь, а в другой парабеллум.

— Кто из вас занимался ремонтом, вперед!

Фигуры сбились, Вихман крикнул:

— Выходи!

Но они сбились еще плотнее, видимо, от страха, и стали прятаться друг за друга. Фонарь Вихмана перебежал с лица на лицо. Вспыхивали глаза, как глаза говорящих на чужом языке. Вихман переждал и крикнул громче:

— Чего дрожите? Доживете до суда и ответите, кому что дадут. А сейчас нам срочно нужны стекло, замазка, гвозди, доски... — Он повернулся ко мне. — Доски потребуются?

— Конечно... Да!

— Все это надо для ремонта дома-музея Чехова. Кто знает, где это взять?

Поведение подвальных жителей сразу и резко изменилось.

— Я! Я! Я! — закричали тени у стены, поспешно выкатываясь вперед друг перед другом. Впереди всех оказался толстоватый парень, который спокойно сказал, комкая меховую шапку:

— Возьмите меня. Я всех частных знаю, у них достанем.

— Полицаем был? — спросил Вихман. — Прочь с глаз! Вон!

Еще один выскочил вперед и заслонил парня с меховой шапкой.

— Простите, без меня ничего не выйдет! А я смогу, я смогу! Я техник, техник...

Был он весь каким-то узким — в узком пальто с поднятым воротником, с сухощавым лицом, обросшим неухоженной бородкой. Мужчина особого вида. Словом, похож на чеховского интеллигента, правда. И как будто где-то ты не раз уже его видел. Бывают такие.

Во дворе, куда с ним вышли, с этим техником горуправы, Вихман ткнул парабеллум в мощный, чиненный-перечиненный, как бы ожиревший от всяких накладок старый ЗИС, с ревом ездивший туда-сюда. Вихман обрадовался:

— Завели! Ты сам ездись, капитан?

Я кивнул.

— Тогда вот что... Грузовик не глушит! Он работает, как вечный двигатель, или — да, или — нет!

— Не глушить, пока надо и придется ездить?

— Толково. Шофера отпусти, дело есть, и срочное. Вот конвойного я забыл... Так ты сам военный. Пистолет с патронами? Толково.

— Вроде интеллигентный человек этот техник.

— Да, образованный — все проходные дворы наверняка знает. А Ялта какой город? Зашел во двор — вышел в парикмахерской, а оттуда очутился в магазине, одевайся в женское платье и ныряй к знакомой! За руль и рядом — этого тщедушного техника.

Техник не был таким уж тщедушным, но подбирал ноги, поджимал руки, даже голову втягивал, точно боялся занять лишнее место. Он чуть приспустил стекло, чтобы лучше слушать воробьев, которыми звонко трещала мох-

натая слива, на выезде из ворот солнце ударило в глаза, он прижмурился и спросил:

— Может быть, всё же будет снисхождение?

— Не знаю, — ответил я. — Как вы себя вели? Люди все скажут.

Досок и гвоздей, стекла и замазки техник собрал немного, гораздо больше нашлось в одном санатории, где директор припрятал всего для своих нужд. И чеховский дом стал в городе первым домом в ремонтных лесах. В саду поставили верстаки, зашуршали рубанки, работали партизаны, помогали умельцы из санатория, по работе все соскучились.

Дней через пять я позвал Вихмана глянуть на дом. В чеховском саду громче, чем вчера, гомонили птицы.

— Представь себе, — сказал Вихман, — до войны не раз собирался в этот дом, а так и не был. Спасибо, что ведешь.

У знаменитой скамейки он долго снимал с себя пулеметные ленты, кобур с парабеллумом, гранаты-лимонки и складывал на нее, на эту скамейку. Долго и застенчиво одергивал и обмахивал гимнастерку, наконец, подошел и спросил, я ли поведу его по музею.

— Мария Павловна.

— Вместо экскурсовода? Ой, какая честь! Ты уже сказал ей, кого затащил?

— Нет.

— И не надо, води сам...

Потом был Севастополь, необозримые его развалины, которые я и Коля снимали со стен круглой Севастопольской панорамы, будто бы обкусанных влопыхах пролетевшим драконом. Были мокрые от моря, то и дело обдаваемые его волнами ступени Графской пристани с рифлеными колоннами, снизу доверху в следах артиллерийских осколков, а там — безглавый Тотлебен, Гитлер «казнил» памятник русскому генералу одной с ним национальности, строителю Севастополя и его форпостов, а там — на первый взгляд без единой царапины, как неприступный, Корнилов, а там — Приморский бульвар, Примбуль, наполняющийся матросами, успевшими приодеться после боя.

Но сначала Сапун-гора, от моря до Инкерманской долины опоясавшая город естественным крепостным валом. Сапун-гора без вершины, но внешний скат ее неодолимо крут, и дороги, без конца извиваясь, еле взбираются на него, а местами сдаются и обрываются у подножья. Все знают, что войска Ивана Ефимовича Петрова обороняли Сапун-гору двести пятьдесят дней. Теперь старые ее укрепления использовал враг, к ним прибавились новые: траншеи в несколько ярусов, по шесть-восемь дотов на каждый фронтальной километр. Чтобы в лоб стрелять по этим дотам, наши пушки во время штурма Сапун-горы на руках тащили свои «сорокапятки», на короткие промежутки дыха подкладывая камни под колеса. Я спросил одного:

— Где вы взяли этот камешек? На Сапун-горе, помоему, нет таких крупных.

— Не помню, — ответил он, — какая разница? Знал, что пригодится, и захватил где-то...

Гитлеровцы, как обычно, хвастливо обещали, что на таких позициях будут держать Сапун-гору дольше, чем русские, но через пять дней оставили гору и бежали, а еще через день все бывшие защитники города-героя, кто вернулся в него, как клялся, шагали вдоль Примбуля по асфальтовой полосе, в воронках от снарядов и мин и, конечно, от бомб. Почти все несли на выгнанных гимнастерках, на груди, медали «За оборону Севастополя»: на зеленатоватом поле ленты — узкая полоса цвета моря, а на кружке медали — бронзовые профили солдата в каске и матроса в бескозырке.

Не было погибших.

Не было и командующего сухопутной обороной Севастополя генерал-полковника Ивана Ефимовича Петрова. Он, по воле Сталина и назначению Ставки, воевал начальником штаба Четвертого Украинского фронта. Ему не дали выполнить клятву, не дали снова увидеть эти камни. Вдоль Примбуля шла сначала толпа, из которой скоро выпелился строй, и послышался строевой шаг. Севастополь по-своему встречал своих вернувшихся к нему защитников.

Покуда это был город без жителей, некуда было им возвращаться. Даже в уцелевших стенах зияли пустые проемы окон, в них — каменными прямоугольниками голубое небо, а перед ними горбились груды битого кирпича и побитого, крошеного инкерманского камня, белого, как свадебный наряд, из которого только и строить праздничные города, такие, как сегодняшний Севастополь, где звучат музыка и песни. А тогда тихо было на улицах среди развалин. Только этот строевой шаг — от старых бастионов 1854 года, в том числе и четвертого, который защищал молодой поручик Лев Толстой, до Графской пристани...

Официальная дата освобождения Севастополя — 9 мая 1944 года. Но жизнь часто отступает от официальных дат, лучше сказать, не совпадает с ними. Так случилось и в Севастополе. Город, как объявили, был освобожден, но бои продолжались — и десятого, и одиннадцатого. Они велись за городом, на мысе Херсонес, просторной полосой вдававшемся в брызги, в волны, в море.

В древности эту полосу суши облюбовали для своего поселения греки, а селиться они умели. До нас дошли памятники древней архитектуры, вернее, осколки этих памятников.

Среди этих древних осколков брали последних фашистских пленных. Поднял руки и третий за крымский период командующий здешней армией Гитлера генерал Беме. Первым ее командующим был хладнокровный генерал Енекке, который так стойко дрался на «Голубой линии» под Новороссийском, а на этот раз оплошал и не выполнил приказа фюрера: «Во что бы то ни стало удерживать Крым!» — и был вызван в Берлин, без гаданий можно сказать, не для ласковых разговоров.

На смену ему в Крым прислали генерала Альмендингера, и он сам издал приказ: «Никому из нас не должна прийти в голову даже мысль об отходе с этих позиций!» Никому, как видно, кроме него самого, потому что сам он тут же на военном самолете удра в Германию. Дальше требуется иной тон. Венчающие выстрелы в этом сражении за последние метры крымской земли сделал сержант-пулеметчик Юрий Быков, о котором тогда мои строки напечатала фронтовая газета.

Быков стрелял по лодке с грузом (брезентовые мешки, пухло набитые чем-то, может быть, деньгами, румынскими или нашими, никто не скажет). Три фашиста в лодке пытались бежать и еще отстреливались. Двое гребли, третий безостановочно строчил из автомата. Быков поставил на плоский камень пулемет, набрал воздуха, остановил дыхание и прицелился. Очередь, и автоматчик бросил в воду (или уронил) свой автомат, еще очередь, и двое, махавшие веслами, выпустили их. Лодку захлестнуло волной. Из ее белой пены так ничего и не выпрыгнуло. Юрий Быков стрелял в то утро, еще не зная, что за что-то прежде ему уже присвоено звание Героя. А я спросил:

— Ну, Юра, увидели, что никого нет. А дальше? Что сделали?

— Что сделал? Поискал камень, какой посуше, сел на него и свернул самокрутку.

— Из старой гаубицы стрелял, потом в газете тянул лямку? — спросил меня незнакомый фронтовик, с которым мы встретились у могилы Неизвестного солдата в памятный день 50-летия начала войны. — А теперь?

Начало войны — не праздник, но дата — юбилейная. В этот день против войны выступали канцлер Германии Коль и наш президент Горбачев. У могилы Неизвестного солдата было много людей и вороха цветов. Познакомившись, мы присели покурить на одну из скамеек Александровского сада. Даже не спрашивая его имени, я сказал фронтовику, как вышло — в Москву некуда было возвращаться, младшие братья выросли, женились и, как полагаются, завели наследников и наследниц, а квартирка-то замоскворецкая, из трех крохотных коробочек, с печкой на дровах. Сразу после войны я тоже женился и занял дочку. Короче, остался жить в Крыму.

— А там трудно не стать писателем, такая земля... У дорог — сгоревшие танки, мертвые пушки, а вокруг осенние листья слетают с деревьев, как клочки света.

— О чем же — первый рассказ, помнишь?

— Да не рассказ — роман.

— Неужто! Ну и нахал! И о чем роман?

— О переселенцах, которые покинули хлебное раздолье и переместились в горные края, в сады и на виноградники.

— А о войне писал?

— Первую повесть — «Пушка» — о своем оружии и своей дороге написал почти через тридцать лет после Победы. Печаталась в «Юности», еще живые «пушкари» узнали себя под вымышленными именами, это самое доро-



гое для меня, и приехали на встречу по приглашению редакции.

— Кто приехал?

— Командир орудия Кедик из Винницы, ездовой Лысенко из села Оскольское и правильный Якубович из Москвы, а потом здесь нашелся еще замковый Майхольд, которому позвонил сын и сказал: «Папа, ты в повесть попал!» Из четверых — трое инвалиды войны... Расскажи о себе. Где воевал?

— А я был в БАО. Батальон аэродромного обслуживания. Слышал? На Западном фронте. Все наши аэродромы фашистские разведчики с воздуха «чикнули» до войны, а в первый ее день «ишачки» до единого сгорели на земле, не успев взлететь... Друзей поубивало, почти всех. Меня санитары сложили на носилки, считай, по кускам, а в госпитале все нутро сшивали из лоскутков. Выписали домой...

— А такие ордена дома дали, там?

Две моих — Красных Звезды и Отечественная война не могли соперничать с его наградами — два Красных Знамени и три солдатские Славы.

— Дома я и десяти дней не прожил. В боевую часть. А еще через десять дней — в разведку, за «языками». Ходил, водил... Еще два раза ранило — второй раз очень тяжело, да вдобавок контузило и тоже как следует. Моя беда — следы, или, как медики говорят, последствия.

— Сердце схватывает?

Он кивнул.

— Как простреленное?

— Оно простреленное.

Отдельную Приморскую армию оставили в Крыму для охраны полуострова, тем более, за морем, не очень просторным, не все страны были настроены к нам дружески. Армия оставалась «действующей» со всеми особенностями этого звания. 9-го мая 1945 года она снова была на подступах к Сапун-горе: учения. Утром все приемники в солдатских палатках заработали на редкость громко, из палаток начали выскакивать кто в чем и вопить:

— Германия капитулировала!

— Победа!

Целоваться и открывать бутылки. Для такого случая вина было ничтожно мало, но вскоре выяснилось, что к нам отовсюду везли это самое вино, как на фронт везут снаряды. По прямой севастопольской дороге, по горной ялтинской машины и люди на них спешили к нам, как на праздник. И чтобы еще раз убедиться, что это долгожданное известие — правда. А я искал колеса для обратного маршрута и не мог найти.

В Симферополе у меня была знакомая девушка. Вся редакция знала, что это моя невеста. Все говорили — надо ехать к ней в день Победы, редактор отпускал на день, а машины... Все шли сюда, как в дни наступления.

— Ты ничего не найдешь, майор, — сказал шофер грузовика, на подножке которого он чистил сапоги, плевывая на них, — дуй пешком.

— Опух? — засмеялся его товарищ, карауливший щетку. — Семьдесят км!

— Дуй, майор! — поддержал третий, заняв очередь за щеткой. — По дороге подхватят. Случайно, но могут... Топай! Не теряй время!

И началось мое пешее путешествие, как там ни мозгуй, с войны: она кончилась. Но ведь на войне были машины! В разные стороны. Правда, в дни наступления больше к передовой. Неужели все это миновало? Канет в воспоминания? На окрестных огородах, обрастающих зеленью, похожей на лопухи, женщины, которых тут чаще называли бабами, цапали, как тут говорят, грядки.

— Эй, солдат! Откуда?

— С войны!

— Эка! — засмеялась ближняя женщина.

— Кончилась война! — закричал я на весь свет, во весь голос.

— Стой, правда?

— Включите радио, услышите!

— Так у нас радио не включается. Ни у кого.

— Женщины! Мамы! Война кончилась! — повторил я.

Половина женщин сорвалась, побежала в сторону села, наверно, к детям.

— Ты не врешь, солдат?

Оттуда, с грядок, не виделось, что у меня на погонах знаки нового звания, две красные полосы, а между ними крупная звезда, свитая из чего-то позолоченного, а если и видели эту звезду, то еще не разбирались, что она обозначает, да и не очень-то это интересовало всех, в том числе и меня.

— Ступайте! — крикнул я все еще цапавшей женщины. — Готовьтесь своих встречать!

— Некого мне, — ответила она. — У меня одни похоронки.

— Сколько их? — тише спросил я.

— Три. Последняя — месяц назад.

— На сына?

— Младшего.

Я вынул пистолет и выстрелил в небо, сказав:

— Вечная ему память.

Она вздрогнула и перекрестилась. Вгляделся — похоже, была она моложе, чем казалась.

— Прости, что я тебя задержала.

— И вы простите, что я иду с войны живой.

— Да ну! Столько счастья матери и всем, кто ждет тебя.

Из Бахчисарая пошел автобус — первый раз пошел в дни войны. Да нет, уже после войны. Водитель сжалился надо мной и посадил среди других, набивших его толпой.

Валя с матерью ждали на крыльце большого дома, занимавшего добрый кусок улицы Толстого, — старый дом времен севастопольской обороны прошлого века. Не веря себе, Валя позвала:

— Мама! Смотри, кто идет!

Я подошел и засмеялся:

— А как ты догадалась, что я иду, а не еду?

— Из Севастополя?

— Ага.

— Слышишь, мама?

Ее мать замахала обеими руками.

— Неправда!

— Ваша взяла, — сдался я, — из Бахчисарая — уже в автобусе, а до этого полдороги, а то и больше...

— Мама! Укладывай отдыхать, а я бегу...

— Куда? — испугался я.

— За вином.

— Мне водки! — крикнул я ей вдогонку и до сих пор не могу объяснить, как один выпил бутылку водки за всех моих друзей, которые не пришли с войны. И не придут с нее никогда.



Армия, которую **ПРЕ ДА ЛИ...**

Памяти Несокрушимой
и Легендарной посвящается



В самом конце первой мировой войны, в которой кайзеровская Германия, как известно, потерпела поражение, тогдашний начальник немецкого генштаба генерал фон Людендорф с горечью сказал: «Германская армия никогда не проиграла бы эту войну, не вонзи ей нож в спину собственные политики».

Наша Армия, в отличие от германской, никаких войн не проигрывала и свой титул «несокрушимой и легендарной» носила вполне заслуженно. Вот почему постигшую ее в последние годы трагедию к разряду военных поражений никак отнести нельзя. Задумываясь о ее причинах, поневоле приходишь к выводу, что слова помянутого немецкого генерала о предательстве политиками собственной армии не так уж и далеки от истины и применимы не только по отношению к германским реалиям.

Часть I. ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

С точки зрения своей грандиозности, вооруженные силы бывшего Советского Союза имели не меньше оснований считаться одним из чудес света, чем древнеегипетские пирамиды или, скажем, Колосс Родосский. Мировая история не знала аналогов такому колоссальному по размерам и мощи военному механизму. При всех своих многочисленных недостатках, 5-миллионная Советская Армия, с ее шестьюдесятью (!) тысячами танков, сотнями атомных подводных лодок, десятками десантных и танковых дивизий и количеством ракет, превосходящим все, чем располагало остальное человечество, внушала почтительный трепет и Западу, и Востоку. До тех пор, пока эта армада существовала, ни у кого в мире не возникало даже мысли о том, что с нашей страной можно разговаривать иначе, чем предельно уважительно.

Конечно, поддержание такого уровня военного могу-

щества обошлось советскому народу очень и очень недешево. Но не будем забывать, что и обретенные нами в результате этих усилий полвека гарантированного мира чего-то да стоили! Особенно для народа, пережившего самую страшную в истории человечества войну и потерявшего в ней десятки миллионов жизней. Те, кто сегодня ставят Советскому Союзу в вину создание гипертрофированной военной машины, либо не понимают, либо сознательно не желают понимать, что иной она быть и не могла после того, что сделали с нашим народом западные «цивилизаторы» полвека назад.

Что же касается упреков, относительно «чрезмерности» понесенных нами в гонке вооружений материальных потерь, то нельзя не отметить, что сегодня, когда армия и военно-промышленный комплекс разрушены почти до основания, уровень благосостояния народа отнюдь не стал выше — скорее наоборот.

Как бы там ни было, но к середине 80-х годов много-миллионная Советская Армия, чьи ударные дивизии, по оценкам экспертов НАТО, могли за 72 часа пройти всю Европу, дойти до Ла-Манша, являлась одной из ключевых и неотъемлемых составляющих глобального военно-политического баланса — этого фундамента международной стабильности. Вот почему для всякого, кто знал реальное положение дел, было вполне очевидно, что любая попытка разрушить этот колоссальный военный механизм будет сопровождаться труднопредсказуемыми изменениями в глобальном соотношении сил, что, в свою очередь, чревато трагическими для всего человечества последствиями. Видимо, именно в силу этого никто в мире, в том числе и в руководстве НАТО, не строил заведомо авантюрных планов ликвидации Советской Армии как таковой.

Но, как вскоре выяснилось, то, до чего не додумались трезвомыслящие западные политики и генералы, оказа-

лось вполне по плечу вооруженному химерическим «новым политическим мышлением» советскому руководству. Сегодня уже ясно, что демонтаж наших вооруженных сил составил едва ли не главное содержание горбачевской эпохи. Поначалу об этом, правда, прямо говорить стеснялись. Армию начали разоружать скрытно, исподтишка. Подписывали один за другим абсолютно неравноправные договоры, больше подобающие колонии, нежели великой державе. Только по одному из них — небезызвестному Договору об обычных вооруженных силах в Европе, Советский Союз обязался уничтожить столько своей боевой техники, сколько хватило бы для вооружения 80 танковых и 100 мотострелковых дивизий. И это при том, что сокращения со стороны НАТО были чисто символическими. А чего стоит предательская по сути сдача на уничтожение, по просьбе американской стороны, новейшего советского оперативного ракетного комплекса «Ока», не имевшего себе равных в мире и не подпадающего ни под какие договорные ограничения. Нашей же армии милостиво разрешили остаться с его допотопным предшественником — известным своей неэффективностью комплексом «СКАД».

Но, как вскоре выяснилось — это были еще цветочки. Ягодки ждали Советскую Армию впереди.

Часть II. БЕГСТВО

То, что развернутая в Восточной Европе сверхмощная группировка советских войск должна быть подвергнута реорганизации и планомерному сокращению в связи с общим потеплением международной обстановки, в конце 80-х годов ни у кого особых сомнений не вызывало. Эти мероприятия можно и должно было осуществлять в рамках уже наработанных переговорных механизмов и, естественно, при условии адекватных ограничительных мер со стороны НАТО. Такой подход гарантировал упреждение мира в Европе, при одновременном соблюдении коренных военно-стратегических интересов всех договаривающихся сторон. При этом было вполне очевидно, что происходившие в Восточной Европе бурные политические перемены не должны сколь-нибудь существенно затронуть основы сложившегося на континенте военного баланса, составлявшего фундамент общеевропейской безопасности. Иначе говоря — сама перспектива дальнейшего пребывания на передовых рубежах в Европе советских, а впоследствии и российских войск сомнению не подлежала. Так и только так Европа могла быть гарантирована от опасного для ее стабильности нового военно-политического передела, а Россия избавилась бы от синдрома беззащитности, появление которого стало неизбежным следствием продвижения НАТО вплотную к ее границам. Наконец, сохранение российского военного присутствия в Европе давало Москве решающий козырь для оказания давления на западных партнеров по переговорам с целью побуждения их к реальному сокращению своих вооруженных сил.

Но тогдашнее советское руководство рассудило иначе. Принятые в кремлевских коридорах власти решения, об истинных причинах которых народу до сих пор не удалось сообщить, привели нашу армию к катастрофе, равных которой в мирное время не знало ни одно государство.

Споры о том, почему Советский Союз пошел на тотальную ликвидацию своего военного присутствия в странах Восточной Европы, не утихают по сей день. Официальная версия, по которой вывод наших войск стал необходим ввиду прекращения «холодной войны» и перехода Европы от конфронтации к сотрудничеству, не выдерживает никакой критики, так как изменения эти, как показали дальнейшие события, происходили не столько в действительности, сколько в воображении некоторых кремлевских мечтателей, чрезмерно увлекшихся собственными перестроечными проектами. Глобальное соперничество было и остается до сих пор грозной реальностью, да и свои армии столь радикальным образом никто не ослаблял.

Другая версия, согласно которой вывод войск был определен трудностями с их финансированием, особенно после объединения Германии, выглядит еще менее убедительно. Во-первых, слабо верится в неплатежеспособность державы, из которой даже сегодня, несмотря на разруху, ежегодно вывозят десятки миллиардов долларов. А во-вторых — если вопрос с финансированием войск действительно встал так остро, то почему советское руководство даже не попыталось добиться у Германии более выгодных для нас условий ее объединения? Ведь, как признают сами немцы, ключ к германскому единству лежал у Горбачева в кармане! Располагая таким весомым аргументом, как Западная группа войск, Москва имела все возможности занять на переговорах куда более жесткую позицию. Но ничего похожего не произошло. Советская дипломатия, руководимая в то время бывшим генералом КГБ Шеварднадзе, который сегодня гордится своими заслугами в развале «империи зла», вела себя как кролик перед удавом, не смея и рта раскрыть. Результат оказался соответствующим... Несколькими тысячами квартир для бездомных офицеров — вот и все, что мы получили за отказ от главного нашего завоевания во второй мировой войне — западного пояса безопасности, создание которого в свое время стоило советскому народу чудовищных жертв. Впрочем — были еще и тридцать сребреников в виде Нобелевской премии мира и смехотворный титул «лучшего немца года», которым так гордился бывший президент СССР.

После того, как смертный приговор Западной группе войск был подписан, бессмысленным стало и пребывание наших дивизий в Польше, Чехословакии и Венгрии, задачи которых, в случае войны, сводились к обеспечению действий главной германской группировки. И начался великий исход. А говоря точнее — элементарное бегство.

Даже если сделать невероятное, на мой взгляд, допущение и на минуту согласиться с тем, что полный уход наших армий из Восточной Европы был единственным разумным на тот момент вариантом, даже в этом случае то, во что этот уход вылился на практике, не имеет никаких оправданий и навсегда останется одной из самых позорных страниц нашей истории.

Армию, спасшую человечество от ужасов фашистского рабства, оставившую на полях сражений в Европе миллионы своих сынов, собственные политики заставили буквально улететь, бросая на чужой земле огромные материальные ценности в виде военных городков, аэродромов, командных пунктов, создание которых в свое время обошлось в сотни и сотни миллиардов полновесных рублей. Идиотизм, так называемого вывода войск был столь велик, что до самого последнего момента во многих гарнизонах полным ходом шло капитальное строительство. Случалось, дорогостоящие сооружения сдавались день в день с ликвидацией военных городков. И, само собой разумеется, ни единой копейки компенсации мы за эти объекты не получили и уже не получим. Более того — наши дипломаты так «умело» торговались, что, в итоге, каждой из стран, где находились советские войска, мы задолжали гигантские суммы.

Что же до военно-стратегических итогов этого «вывода», то они оказались и вовсе трагическими. Причем отнюдь не только для СССР. Здание европейской безопасности, внезапно лишившееся одной из своих главных опор, было потрясено до основания. Повсеместно, особенно в Восточной Европе, на развалинах привычного миропорядка стали зреть грозды новых международных конфликтов. Запылала Югославия, оказавшаяся в этих условиях легкой добычей новых геополитических хищников.

Не менее катастрофическим стал вывод и для самой Советской Армии. По существу, оказался уничтоженным первый и самый мощный стратегический оборонительный эшелон, прикрывавший нашу страну с Запада. Советский Союз, а затем и Россия в военно-политическом отношении оказались отброшенными на задворки Европы. Была

открыта прямая дорога к расширению сферы влияния НАТО далеко на Восток.

Из Европы на родину возвращалась элита армии — лучшие ее дивизии и полки, наиболее боеспособные и технически оснащенные. Но что это было за возвращение! И без того деморализованные внезапным бегством сотни тысяч солдат и офицеров обнаружили, что и дома они никому не нужны. Войска выводили едва ли не в чистое поле, заставляли годами владеть жалкое существование в бараках и временках. Брошенная под открытым небом, драгоценная боевая техника превращалась в металлолом, солдаты сделались строителями, а офицеры, кто еще не разбежался от такой жизни, занялись поиском средств к существованию. Кстати, именно тогда в армии пыльным цветом расцвела подпольная торговля оружием. Одному Богу известно, сколько неучтенных стволов из армейских арсеналов гуляло сегодня на просторах бывшего Союза.

Стоит ли удивляться, что в этих условиях судорожные попытки российского военного руководства слепить из аморфной массы прибывших из Восточной Европы войск некое подобие нового оборонительного эшелона, уже на территории России, оказались абсолютно безрезультатными.

Часть III. ПРИ СЕМ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ...

У стороннего наблюдателя есть все основания для недоумения. Действительно, предположим, что политики, руководствуясь какими-то своекорыстными побуждениями, принесли армию в жертву собственным амбициям. Но что же делало в это время руководство самих вооруженных сил? Уж кто-кто, а наши генералы должны были быть кровно заинтересованы в том, чтобы не допустить развала военной мощи страны и первыми поднять тревогу, когда признаки такого развала стали явными.

Нельзя сказать, что попыток заступиться за армию со стороны генералитета вообще не было. Достаточно вспомнить ожесточенную газетную полемику, в ходе которой ныне покойный Маршал Советского Союза С. Ахромеев в одиночку противостоял пропагандистским атакам многочисленных оппонентов во главе с академиком А. Арбазовым. Да и автору этих строк пришлось в свое время участвовать в подготовке чрезвычайно острого выступления тогдашнего начальника политуправления Южной группы войск (Венгрия) генерала И. Микულიна (ныне он возглавляет Главное управление воспитательной работы российской армии) на XXVIII съезде партии, в котором разгромной критике подвергся вывод советских войск из Восточной Европы. Рассказывали, что это выступление И. Микულიна повергло Горбачева в настоящий шок, а западная печать даже стала писать о заговоре советских генералов против перестройки.

Но все это были лишь отдельные, из ряда вон выходящие попытки отстоять отличную от официальной точку зрения; 99,9 процента советских генералов, вышколенных в худших сталинских традициях беспрекословного холопского подчинения, и в мыслях не допускали возможности выступления против генеральной линии КПСС. Типичный советский генерал, несмотря на свою внешнюю представительность (на командные посты в армии старались подбирать мужиков породистых), был в сущности существом абсолютно затравленным, с перешибленным в нравственном отношении позвоночником и, к тому же — не шибко грамотным. Излишняя интеллигентность в армии, возглавляемой легендарными маршалами, которые, как известно, «академиев не кончали», мягко говоря, не приветствовалась. Единственное, что в совершенстве умели делать люди такого склада — это воровать. В этом отношении любой советский генерал мог дать 100 очков вперед любому советскому прапорщику, хотя последний по части воровства тоже был отнюдь не мелким любителем.

Вот почему многие, если не большинство наших военачальников восприняли вывод войск не только не как тра-

гедию, но как исключительную удачу для себя лично. Еще бы — можно ли представить себе условия более благоприятные для полноценной реализации развитого воровского инстинкта, чем обстановка хаоса, которой неизбежно сопровождается вывод миллионной армии? Будучи в то время офицером штаба ЮГВ, я многократно имел возможность убедиться в том, какой манной небесной обернулся для армейских вождей горбачевский план бегства из Восточной Европы.

В разбросанных по всей Венгрии полках группы войск лихорадочно реализовывались «излишки» военного имущества, взамен которых закупались у венгров, по указанию вышестоящих начальников, к примеру, шикарные жилые коттеджи со всей обстановкой. Закупленное десятками комплектов грузилось в морские контейнеры и отправлялось в Союз по адресам, известным только тому же начальству. К восточной границе Венгрии потянулись автомобильные конвои с награбленным (иначе не скажешь) генералами добром. Один из таких «приватизаторов» только в деревню, где живут его родители, отправил колонну из пяти тяжело груженных КАМАЗов. Дело доходило до случаев совершенно анекдотических. Так, накануне вывода в штабе группы внезапно исчезла значительная часть металлической ограды вокруг только что построенного вычислительного центра. Вскоре «разведка» донесла, что забор «загнал» венграм лично зам. начальника штаба группы при помощи коменданта штаба.

И хотя автор этих строк, по вполне понятным причинам, не располагает исчерпывающей информацией о разворовывании армейского имущества в ЮГВ и, тем более, в других группах войск, даже те отдельные фрагменты, свидетелем которых пришлось быть мне лично, позволяют судить об истинных масштабах этого вселенского грабежа. Не случайно в войсках говорили о том, что любой генерал, которому посчастливилось «попасть под вывод», обеспечил себя и всех своих близких минимум на пять поколений вперед. Кстати, после того как золотоносная жила вывода войск была вычерпана до самого дна, большинство высокопоставленных «героев» этой «военной операции» благополучно вышли в отставку и вскоре вынырнули на гражданке в качестве владельцев солидных СП, многоэтажных вилл и шикарных «мерседесов».

О каких государственных интересах можно тут вести речь?! Абсурдным кажется даже теоретическое допущение того, чтобы кто-либо из этой генеральской орды устоял перед искушением хапнуть плывущую в руки наживу и вместо этого возвысил свой голос в защиту Державы и ее избиваемой армии.

Часть IV. РАСПАД

Используя боксерскую терминологию, можно сказать, что если после драматического вывода войск из Восточной Европы армия оказалась в тяжелом нокауте, то распад союзного государства обернулся для нее чистым нокаутом. В результате расчленения СССР, каждому из новообразованных государств достался больший или меньший обломок советской военной машины. Но обломок, независимо от своих размеров, останется только обломком. Многие из жизненно важных частей военного механизма оказались оторванными одна от другой и перестали функционировать. Вот только несколько типичных примеров. После распада Союза большая часть воздушно-десантных войск оказалась на территории России, тогда как основные соединения военно-транспортной авиации, без которой десант и вовсе не десант, остались на Украине. В одночасье рассыпалась единая система раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении, и по сей день зияющая гигантскими дырами на всех направлениях. Россия лишилась большинства самых современных самолетов стратегической авиации, которые остались ржаветь на украинских аэродромах, будучи совершенно ненужными этой стране.

Похожая судьба постигла и некогда могучий военно-промышленный комплекс. Разрезанный вдоль и поперек линиями новых государственных границ, он оказался в состоянии полного паралича.

Без сомнения, со временем все встанет на свои места и мы получим возможность в истинном свете оценить последствия беспрецедентного дежа, состоявшегося на просторах некогда единой страны. Но уже сегодня достаточно ясно, что многие из принятых тогда в суверенном угаре решений, мягко говоря, не стыкуются с объективными интересами наших народов и должны быть пересмотрены. Становится, в частности, вполне очевидным и то, что тотальное размежевание в военной сфере является пагубным для всех без исключения государств СНГ.

Но распад единых вооруженных сил, помимо катастрофического падения обороноспособности стран Содружества, в том числе и России, имел и другие, не менее тяжелые, последствия.

Сегодня много говорят о темной истории, связанной с передачей огромного количества оружия бывшей Советской Армии в руки дудаевских бандформирований. Цена этого решения, принятого кем-то из тогдашних руководителей российского военного ведомства, оказалась поистине трагической. Современное вооружение, оказавшееся в руках сепаратистов, позволило им развязать настоящую войну против российских войск, войну, унесшую тысячи жизней и едва не приведшую к распаду самой России.

Но не стоит забывать и о том, что история с передачей оружия Чечне — лишь эпизод более крупномасштабной драмы, в которой российское военное руководство выступило в весьма странной роли спонсора практически всех военных конфликтов, разразившихся на территории бывшего СССР. Оружие передавалось отнюдь не только чеченцам. Огромные арсеналы Советской Армии стали неисчерпаемым источником снабжения для всех, кто после развала Союза желал решить те или иные проблемы военным путем. Кто конкретно отдавал приказы о передаче оружия и тем самым подливал масло в огонь братоубийственных войн, до сих пор неизвестно. И вряд ли можно считать смягчающим вину этих людей обстоятельством то, что оружие передавалось не бандформированиям, а армиям новых суверенных государств за пределами России. Ведь и тогда уже было предельно ясно, что получают его отнюдь не для парадов. Так большая часть вооружений Закавказского военного округа была передана азербайджанской, армянской и грузинской армиям, которые, благодаря этому, получили возможность вести многолетние войны, погубившие десятки тысяч наших вчерашних еще сограждан. Доподлинно известно и то, что российское военное командование распорядилось о передаче молдавской армии огромного количества оружия и боеприпасов уже в те дни, когда в Приднестровье бушевала война. Один только красноречивый пример — 40 суперсовременных истребителей «МиГ-29», принадлежавших Черноморскому флоту, были переданы Молдавии в апреле 92-го года, а уже в июне эти самолеты, с которых не успели стереть красные звезды, уже бомбили приднестровские города. Вот и спрашивается — не пришла ли пора держать ответ тем, кто в эти смутные годы, то ли по глупости, то ли по лихорадке, способствовал разжиганию очагов военных пожаров вблизи российских границ? И не стоит ли ведущемуся сегодня следствию о передаче оружия Чечне несколько расширить свои рамки?

Часть V. КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ

Но даже откровенное издевательство над армией, в которое вылился так называемый вывод войск из Восточной Европы, меркнет, пожалуй, на фоне того беспредела, который учинили политики по отношению к ней в собственной стране. Взяв за правило втягивать военных в регулярно затеваемые ими внутренние авантюры, наши недавние лидеры столь же регулярно сваливали на них и всю ответ-

ственность в случае неудачи. Начало этой поистине чудовищной традиции положил все тот же Михаил Горбачев, умудрившийся подставить армию и свалить на нее вину за вооруженные акции в Тбилиси, Баку и Вильнюсе. Можно ли представить себе ситуацию более абсурдную, чем та, когда президент страны и верховный главнокомандующий делает вид, что абсолютно не в курсе того, чем занимается армия? Интересно, сколько минут после подобных откровений продержался бы на своем посту, скажем, президент США. Между тем у нас это столь вызывающее безобразие длилось годами и стало чуть ли не нормой. Впрочем, Горбачев в конце концов доигрался — когда армию в августе 91-го вывели из казарм в тиетной попытке спасти СССР, он по привычке ушел в кусты и тем самым подписал себе политический смертный приговор. Но армии от этого легче уже не стало. Эпоха беспринципного политиканства и тотальной безответственности нанесла ей моральную травму, пожалуй, еще большую, чем позорное изгнание из Европы и жуткая неустроенность на родине. Именно тогда приказ начальника перестал быть законом для подчиненного. Никто не был гарантирован от того, что, сегодня честно выполняя свой воинский долг, завтра не будешь записан в государственные преступники. В итоге произошло то, что и должно было произойти — рухнула основа основ любой армии — железная воинская дисциплина.

И когда сегодня мы узнаем, что во время чеченской операции некоторые командиры российских войск отказывались выполнять устные боевые приказы, требуя их письменного подтверждения, — это уже совершенно не удивляет. Быть столько раз обманутым собственным руководством и продолжать верить ему — это ли не абсурд!

Но все-таки времена, похоже, стали меняться. Президент России твердо и во всеуслышание заявил, что именно по его указу российские войска были направлены в Чечню. Впервые за последние годы высшее должностное лицо государства сделало то, что оно обязано делать всегда — взяло на себя ответственность за действия собственной армии. И она, армия, это почувствовала и, оценив мужество президента, ответила на него так, как ей подобает — самоотверженным исполнением своего долга!

Казалось бы, все, наконец, пошло в нашей державе на лад... Но — если бы так! К величайшему сожалению, слишком многое свидетельствует о том, что российскую армию в случае с Чечней в очередной раз подставили.

Часть VI. ЧЕЧЕНСКИЙ ИЗЛОМ

Российским военным к хуле в свой адрес не привыкать. Уж как только не костерили нашу армию в последние годы. Но, пожалуй, впервые в период чеченских событий ее стали ругать за утрату боеспособности. Причем главными критиками оказались как раз те, кто в недавнем еще времени больше всего потрудился на ниве развала вооруженных сил. Все те, кто годами в парламентах и на митингах предавал армию анафеме, призывая не давать ей ни денег, ни солдат, ни оружия, стали теперь наперебой укорять ее за низкую боеготовность. Не знаю, право, возможен ли еще где-нибудь на земле столь беспредельный цинизм?! Впрочем, истинная цель этих новоявленных радетелей армии осталась все той же — не мытьем, так катаньем довершить ее разгром, лишить армию веры в собственные силы, а Россию — последней ее защитницы.

Итак, армия, как утверждают ее критики, большинство из которых, кстати, ни одного дня в ней не служили, проявила в Чечне худшие свои качества — бездарность командного состава и полное неумение воевать. Но так ли это на самом деле? Попробуем взглянуть на вещи не с точки зрения ангажированных простогофилов, которых сегодня пруд пруди, а более или менее профессионально.

Прежде всего заметим, что армия, сколь угодно боеспособная, просто не предназначена для ведения полицейских операций вообще, и в частности, в собственной стра-

не. У нее совершенно иные задачи, свой способ действий, иное вооружение. Даже американская армия, в боееспособности которой у нас, кажется, никто не сомневается, потерпела недавно позорную неудачу в куда менее масштабной операции ООН по усмирению бандформирований в Сомали и вынуждена была уйти оттуда не солоно хлебавши. А на Гаити, где предполагалось столкновение американских войск с вооруженным населением этой страны, Билл Клинтон и вовсе не решился послать своих солдат. И правильно сделал! Любая армия, образно говоря, — своего рода топор, и применять его в ходе хирургической операции вместо скальпеля — дело заведомо безнадежное. Именно этот фундаментальный факт не был учтен российским руководством при планировании боевых действий в Чечне. Именно поэтому можно утверждать, что армию в очередной раз подставили.

Да и в ходе самой чеченской операции российская политическая верхушка, заняв в ряде случаев половинчатую позицию, фактически ставила палки в колеса собственной армии. Нарушалась очевидная логика: очевидно ведь — раз принято решение использовать армию, так не мешайте ей, по крайней мере, делать свое дело! Вместо этого войска уже в ходе боев постоянно сотрясали окрики сверху — то стрелять, то не стрелять, то бомбить, то не бомбить! А тут еще господа защитники прав человека Дудаева подоспели, знай себе твердят — прекратить огонь, начать переговоры, вывести войска. Не мудрено, что дудаевские абреки, ободренные таким разладом в стане врага, столь долго продолжали сопротивление. Смеем утверждать, что, не будь этих якобы миротворческих инициатив, лишь помогавших дудаевцам продлить собственную агонию, война в Чечне закончилась бы намного быстрее и с гораздо меньшим числом жертв. Хорошо бы это учесть тем человеколюбивым господам из Нобелевского комитета, которые собираются увенчать одноименной премией г-на Сергея Ковалева.

Впрочем, была и еще одна причина, замедлившая весь ход чеченской операции. Армия, даже находясь под огнем врага, помнила, что ведет войну на родной земле и делала все возможное, чтобы свести к минимуму число жертв и разрушений. Именно этим, прежде всего, а не пресловутой бездарностью и неумением воевать объясняется затяжка боевых действий. Развернись армия в полную свою силу — от Чечни через два дня остался бы только пепел. Неужели такую эффективность желали видеть господа критики?

Но даже при том, что армия, в принципе, не предназначена для такого рода акций, нет сомнения, что чеченскую операцию можно и должно было подготовить значительно лучше. Почему этого не получилось?

Сегодня все шишки валяются на Минобороны и Генштаб, которые-де и то не подготовили, и это не обеспечили. Нельзя, однако, не снимая ответственности с военных инстанций, пройти мимо того факта, что сами генералы были поставлены в столь жесткие рамки, что просто не располагали временем для всесторонней подготовки боевых действий. На весь подготовительный период им было отпущено едва ли больше месяца. Отсюда — пожарные темпы сбора группировки сил, направление в бой молодых необученных солдат, слабая подготовка боевой техники. Между тем, вполне очевидно, что решение о сроках войсковой операции в Чечне было прежде всего политическим, а не военным. А значит, и ответственных за его принятие следует искать не в последнюю очередь в кругах политического руководства. Хотя это, конечно, вовсе не значит, что министр обороны Павел Грачев не должен был с куда большей настойчивостью требовать переноса сроков операции для лучшей подготовки войск.

Кстати — для сравнения. Планирование и подготовка операции против Ирака, знаменитой «Бури в пустыне», заняли у американцев ровно один год. И это при их-то материальных и финансовых возможностях! Так что стоит еще в ноги поклониться нашим военным, которые, опять оказавшись игрушкой в руках политиков, все же сумели

3. «Юность» № 5

сделать то, что они сделали. Конечно, беспредельно жаль погибших при взятии Грозного русских парней. Но если оценивать это событие, как это ни трудно сейчас, исключительно в понятиях жесткой военной науки, то нельзя не признать, что потеря только нескольких сотен бойцов при штурме превращенного в крепость города, обороняемого фанатичной и до зубов вооруженной армией, не такой уж плохой результат. Если бы наша армия действительно была, как кое-кто утверждает, вконец небоеспособна, потери исчислялись бы многими тысячами.

Часть VII. ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Несмотря на то, что сделанный нашей всезнающей оппозицией на основании чеченских событий вывод о фатальной небоеспособности российской армии представляется все же несколько преждевременным, оснований для тревоги за будущее наших вооруженных сил сегодня более чем достаточно.

Российская армия поставлена на грань катастрофы самой логикой ее деградации в последние годы. Продолжая претендовать на роль великой державы, Россия располагает ныне войском, с каждым годом все меньше отвечающим этому статусу. Наша армия с угрожающей скоростью отстает от уровня развития армий не только ведущих, но и среднеразвитых государств мира. Практически полностью лишенная финансирования, она не имеет возможности приобретать даже то небольшое количество вооружений, которые пока еще производит для нее военная промышленность. Уже сегодня удельный вес устаревшей и изношенной техники в войсках достигает 70 процентов, и если ничего не изменится, то к 2000 году у нашей армии на вооружении останется только металлолом. Да и потенциал самого военно-промышленного комплекса подорван так основательно, что уже очень скоро он не сможет производить даже те образцы оружия, которые сегодня еще производит. Нет и речи об участии российских вооруженных сил в новом этапе военно-технической революции, охватившей ведущие армии мира. В США уже сегодня созданы и внедряются в войска полностью компьютеризованные системы ведения боевых действий, против которых мы с нашими танками и ракетами, как дикий с дубиной против пулемета. И если сегодня разрыв в качестве вооруженных сил еще не так ощутим, то уже завтра он может стать непреодолимым. А это уже будет проблемой не столько армии, сколько всего нашего общества, чей уровень внешней безопасности окажется ниже опасной черты. Увлечшись полемикой по поводу собственной сверхдержавности, мы и не заметили как стремительно прошли путь от гипертрофированной системы обороны к ее дистрофическому варианту. По оценкам западных военных экспертов, уже сегодня, на данном этапе ослабления нашей военной мощи, Россия рискует столкнуться с прямым вызовом своим интересам со стороны ряда соседних государств, таких, как Китай, Турция, Иран. Могли ли мы еще вчера представить себе подобное?! А если эта тенденция сохранится и впредь, то вскоре обижать нас не будет только ленивый.

Современный мир, к сожалению, устроен так, что считаются в нем только с сильными. Время иллюзорных надежд на строительство нового, вегетарианского мирового порядка безвозвратно прошло. Повсюду в мире сильные нации демонстрируют мускулы, не стесняясь диктовать свою волю слабым. Россия, располагающая гигантской территорией и богатейшими природными ресурсами, просто не может себе позволить быть слабее других. Охотников до наших земель и богатств более чем достаточно. И они не премнут растащить их при первой возможности. Представится она им или нет — зависит только от нас. И если мы хотим, чтобы с нами считались, чтобы нашей Родине не помыкали все, кому не лень, мы должны иметь сильную армию. Сильную духом и оружием. А таковой она сможет стать лишь тогда, когда перестанет быть «армией, которую предали».

Геннадий ГОЛОВИН

Повесть

ЖИЗНЬ ИНАЧЕ



Рисунок Олега Кокина

— Да, — осторожно согласился собеседник ДэПроклова. — Народ там цепной. У нас — попроще.

— Как у вас там (то есть здесь), на Камчатке? — спросил ДэПроклов.

Тот пожал плечами:

— Так же, как и везде, наверное. Только не забудьте умножить на камчатский коэффициент.

— Значит, худо.

— Кому как. Кто как приспособится.

— Ага. Ну, это-то дело известное: «Кому — война, а кому — мать родна», — заметил ДэПроклов, а затем церемонную сложил фразу: — Не окажете ли любезность откусать вместе со мной немножко коньячку-с?

Старичок был с чувством юмора:

— Коньячку-с? Отчего же? Давненько не вкушал-с.

— Неужели так круто? — серьезно спросил ДэПроклов, добывая из кофра полуотпитую бутылку и закуску.

— Относительно «круто» судить не могу, а вот что до безобразия плохо, будьте уверены. Вы раньше бывали на Камчатке?

— Бывал.

— Значит, не могли не заметить, что и раньше легкой жизни здесь не было — все привозное — а уж сейчас-то: то, что у вас в Москве возводится в квадрат, у нас нужно возводить в куб.

— Ваше здоровье!

ДэПроклов опрокинул пластмассовый стаканчик махом, его сотрапезник принялся пить по-староре-

Окончание. Начало в № 4.

жимному, мелкими глоточками, вкушая — мука мученическая была глядеть на это.

— Зря вы смакуете, — морщась и сострада, заметил ДэПроклов. — Это, увы, не «курвуазье» — чеченский, судя по всему, продукт.

— Ну, почему же? Коньяком пахнет... — добро-склонно отозвался старичок, заметно удерживаясь от гримасы.

Он, судя по всему, очень любил сыр. И, судя по всему, давненько не едал его вволю. У ДэПроклова даже сердце сжималось от жалостного сочувствия, когда он видел, как старичок берет ломтики сыра, как, стараясь, чтобы это выглядело пообыденнее, будто бы в рассеянности пожевывает, а тощее петушиное его горло аж ходуном ходит в алчной плотоядной судороге, а рука — помимо воли! усилие требуется, чтобы сдержать ее! — уже тянется к следующему куску...

Сволочи! — неизвестно к кому обращаясь, вознегодовал ДэПроклов. — Интеллигентный старый человек, всю жизнь *отдававший*, по вашей сволочной воле должен на склоне лет вот так, сам перед собой, унижаться! Да за один вот этот нищенский жест, с каким он, будто между прочим, берет, как уворовывает, копеечный сыр — за один этот жест всех вас без суда и следствия надо вешать за яйца на всех фонарях Садового кольца! И тут опять — по странной логике этого дня — всплыл в его воображении лик Надиного мужа, Игорька, и вновь он преисполнился глгучей неприязни к нему, почему-то именно к нему, и сам несколько недоумевал, почему же именно к нему? Он попытался разобраться в этом своем ощущении. Плохо это получалось. Ничего, кроме: «Да вот именно потому! Потому что он, потому что такие, как он, крысиная эта порода!..» — ничего, кроме конסоязычно-зловонного этого захлеба, ничего внятного не выговаривалось.

Он нарубил еще сыру, еще плеснул коньяка — (старик отказался) — спросил:

— Ну, и что вы обо всем этом думаете?

Тот мигом стал очень серьезным.

— Слабых троечников (ну, вы знаете, бывают троечники крепенькие, а бывают и такие, на грани с двойкой) — так вот, слабых троечников, — продолжал, словно бы ошупывая, формулировать старичок, — бездарей, причем, самое грустное, бездарей, в большинстве своем не чуждых преступных наклонностей, привели к власти. Кто привел? Те, кому это выгодно. Ответы ищите в экономике, в мировой конкуренции, в геополитике, в мировом кризисе сырьевых и энергетических запасов и так далее. «Пакс американа» — вам этот термин знаком?

— «Мир по-американски»?

— Ну, примерно так... Основное препятствие на путях реализации этой идеи — кто? — мы, Китай, Индия. Первыми в этом ряду оказались мы. Такое, в общих чертах, мое мнение.

— Мда, — сказал ДэПроклов. — «Пакс американа», «пакс израэлитана». А жизнь-то у людей одна. Ну, и чем кончится?

— Я очень надеюсь, что — сломают зубы. Хотя пока не похоже. Пока мы с вами — свидетели спешного и успешного, с их точки зрения, всего и вся разрушения. К сожалению.

— О-о! — без всякой связи с предыдущим вспомнил вдруг ДэПроклов. — Вы Крохинусов знаете? Как они там?

— Вы знали Крохинусов? — не скрывая удивления, спросил старичок.

— «Знали»? Значит, и они *тоже*. Давно?

— Году в восемьдесят пятом, если я не ошибаюсь.

— Отчего? Как? — ДэПроклов вдруг, к собственному удивлению, разволновался и опечалился.

— «Как», «отчего» — сказать трудно. Вы с ними где познакомились?

— У них там — на озере... Дальнем, кажется.

— Именно так. Озеро Дальнее. Там они... там их и нашли. Неделью не выходили на радиосвязь. Послали туда людей — думали, что, возможно, передатчик не в порядке... Судя по всему, они умерли один вслед за другим. Может быть, даже в один и тот же день.

— Красиво... — с восхищением сказал ДэПроклов. — «Они жили долго и счастливо и умерли в один день».

— Можно и так сказать, — согласился старик. — «Красиво». Его я знал — еще с довоенных времен. Ее — тоже немало, лет сорок.

— Странно, я часто вспоминал о них.

— Чего ж странного? — отозвался старичок. — Это были хорошие люди, достойные люди.

ДэПроклов налил, не спросив, в оба стаканчика и предложил:

— Давайте, помянем!

Не возражая, старичок взял коньяк и немного отпил.

— Я думаю, им приятно, что мы с вами вспоминаем о них.

ДэПроклов, действительно, частенько вспоминал то неправдоподобно сине, прямо-таки аквамариновое озерко, очень уютно и тихонечко возлежащее среди круто возносящихся в синие небеса сопков, сплошь, словно бы зеленым рытым бархатом, поросших совершенно непроходимой тайгой.

Вспоминал древнюю, полувросшую в землю избушку — в ней по полгода каждый год проводили в полнейшем одиночестве Крохинусы. «Крохинус» — это не было фамилией. Это был как бы коллективный их псевдоним. Он — Крохин, она — Крогиус. При слиянии — получалось Крохинус.

Почти полвека провели они на берегах этого тишайшего озера, занимаясь делом кропотливым, несуетным и, на тогдашний взгляд ДэПроклова, нудным: подсчетом лососевых, которые каждый год приходили на нерест в озеро Дальнее, чтобы, отнерестившись и погибнув, воспроизвести новое поколение лососей, которое на следующий год придет непременно в Дальнее, чтобы, отнерестившись и погибнув... и так далее. Сейчас ДэПроклову трудно было вспомнить, в чем была суть открытий, сделанных Крохинусами — они оба были доктора наук, известные, без всякого преувеличения, всемирно, ни одна более или менее значительная конференция не могла считать себя достаточно значительной, если на ней отсутствовали эти удивительные старики.

Когда ДэПроклов думал о Камчатке, думал о том, что значит понятие «достойная жизнь», он всегда вспоминал Крохинусов.

Дед внешностью обладал Шкловского — толстый, подвижный, лысый, веселый. Она — типичная еврейка, сплошь седая, грузноватая уже, юмористически-ворчливая. В обоих, несмотря на титулы и воз-

раст, живо жило, неубиваемо жило, как бы поточнее сказать, студенчество. Необыкновенно отрадно было рядом с ними. Они были абсолютно естественны. Они жили без малейшего насилия над собой — так точно выбрано было ими дело жизни, так точно они выбрали друг друга, так естественно чувствовали себя в этом мире — и в шикарных каких-нибудь конференц-залах заграничья, и в убогой темной избушке на берегу Дальнего, и в институтской аудитории — абсолютно свободные, вольные, с удовольствием и со вкусом живущие люди...

— Грех сказать, — произнес ДэПроклов, — но мне кажется, что это хорошо. Они вовремя ушли. Я не представляю их среди этого, — он неопределенно повел рукой вокруг.

— Может быть.

— А кто сейчас на Дальнем?

— Никого. Недостаточность, как теперь любят говорить, финансирования. Пост на озере Дальнем упразднен.

ДэПроклову стало вдруг тоскливо.

— Я плохо помню, но по-моему там смысл был в постоянности, в долговременности наблюдений. Теперь, стало быть, все — псу под хвост?!

— Я бы так не говорил. Пятьдесят лет они все же пронаблюдали. Нигде в мире ничего подобного не было сделано. Они, конечно, рассчитывали... Впрочем, сейчас об этом говорить смысла уже нет.

— Да, — повторил ДэПроклов. — Говорить смысла уже нет.

Вспыхнуло табло под потолком: «Пристегнуть ремни...» — и он услышал в себе знакомое, полузабытое, бодрое чувство: все, словно бы быстро и споро, стало в нем перестраиваться, настраиваться на новый лад, на новый город, на новые знакомства, на новую работу. Дорога кончилась. Из точки А в точку Б он, как сотни раз до этого, прибыл. Дальше — по накатанной дорожке: гостиница, телефон, встреча, разговоры.

«Новая работа, — хмыкнул он про себя. — Вот именно, что «новая», такой работы у тебя еще не было».

Очень осторожно, с некоторой даже надеждой он глянул внутрь себя: как он там, *тот* ДэПроклов? Тот пребывал в состоянии прежнем — заледеневший в ненависти, в злобной судороге скорченный, безжалостный и опасный. В очередной раз он подивился этому соседу.

Что именно он будет делать, какие шаги принимать в первую, вторую, третью очередь — он не знал. Одно только знал точно: нечего загадывать даже на два хода вперед. Он оказался в обстоятельствах, абсолютно новых, незнакомых, и действовать следовало соответственно: шаг, оглядеться, еще шаг, опять оглядеться...

Мир, в котором он ненароком оказался, был опасный мир. И игра, в которую он согласился играть, была опасная игра. Несмотря на заверения серенького мафиози. Об этом надо было помнить. Об этом он принуждал себя помнить.

«Тихохонько, милый, тихохонько... — убеждал он сам себя. — Шаг, оглядись, еще шаг, опять оглядись...»

Все было иначе.

Серое, грязноватое низкое небо. Свирепый ледовитый ветер, неприязненно пронизывающий, заставляющий дробно, болезненно плясать скрюченное от холода нутро.

Хмурые озябшие лица.

Мертвый аптекарский свет фонарей в сумерках — хотя был еще день-денской.

Неуют. Потемки. Тоска.

Все было иначе. И иначе быть не могло. Потому что это была, да, Камчатка, но Камчатка, на которой уже не было Нади.

...Левак заломил цену, от которой ДэПроклова аж пошатнуло, но он не стал рядиться.

Велел подъехать к автобусу «Аэропорт — город».

Старичок уже сидел там, угнездившись возле окошка, терпеливо замерзал в тощеньком своем, много лет ношенном пальто.

— У меня машина. Давайте я вас подвезу. Когда еще этот автобус отправится...

— Нет-нет-нет! — всполошился старик. — Я прекрасно и на автобусе доеду! Спасибо.

— Не «нет-нет-нет», а «да-да-да!» — грубо, слегка даже разозлившись, сказал ДэПроклов и выхватил из-под руки старичка стоявший на коленях баульчик. — Это все ваши вещи? Пойдемте, пойдемте, не то увезу.

— Ко мне же ехать — не ближний свет! — запримечтал старик, послушно однако последовав за ДэПрокловым.

— Ничего-ничего, — отвечивал тот. — За те деньги, которые этот кровопийца заломил, довезет как миленький.

Старичок, наконец, влез в машину, и ДэПроклов с отрадой услышал, как блаженно вздохнулось тому в сухом, хорошей кожей пахнущем тепле кабины.

Назвали адрес. Шофер весело откликнулся: «Будеделано!» — поехали.

Надо было о чем-то говорить, и ДэПроклов спросил:

— А вы в Москву на предмет чего летали? Если не секрет.

— Какой же секрет? Только я не в Москву, а во Владивосток ездил. На предмет, как вы сказали, передислокации.

— Ну и как?

— Передислокации не будет.

— Вы сколько лет на Камчатке?

— Пятьдесят. Чуть даже побольше.

— Тогда вы абсолютно правы.

— Разумеется, прав. Только кто бы убедил в этом мою внуку.

— Как-нибудь я к вам заеду — убедю!

— Буду премного вам благодарен.

Необязательный был разговор, никого ни к чему не обязывающий. ДэПроклов знал, что наверняка больше никогда не увидит этого симпатичного старичка, однако по застарелой привычке разговорил его и узнал, что живет он вдвоем с внучкой, которую он называл «внука», «внуке» — двадцать три года, она работает там же, где и дед — в местном отделении ТИНРО — и, хотя безумно любит Камчатку, изо всех сил рвется на материк, ей кажется, что там и легче и проще жить сейчас, чем здесь, где жить, особенно молодым, почти невмочь и из-за дороговизны, и из-за смехотворно низкой зарплаты, которую, к тому же, вот уже четыре месяца не выдают — все из-за той же пресловутой «недостаточности финан-

сирования» — но главное, из-за того, что большинство сверстников и сверстниц ее, у кого была возможность, уже сбежали или мечтают сбежать в Россию.

— О-о! — изумился вдруг старичок. — Мы, оказывается, уже приехали! Как быстро!

— А мы, кстати, так и не познакомились, — спохватился ДэПроклов и протянул старичку руку. — Дмитрий. Проклов. Журналист. Бывший.

— Да-да! — воскликнул старичок. — Действительно! Как же мы это? Леонтий Иванович. Извольский. Очень рад. Найдете время, заходите. Я вон в том доме живу, квартира, легко запомнить, тринадцать. Действительно, очень рад был нашему знакомству. Все-го вам наилучшего!

— Теперь — в «Авачу»! — сказал ДэПроклов, оставшись один, и вдруг как-то очень внятно почувствовал, что он — на Камчатке — один.

Все было иначе.

Гостиница, с улицы глядя, казалась нежилой. Светилось лишь несколько окон.

В вестибюле, полуосвещенном и гулком, стоял тихо-отчаянный запах запустения.

Женщина, вышедшая к нему из комнатки администратора, была заспанна и, похоже, несказанно обрадовалась живому человеку, потревожившему ее.

— А куда вы девали мою любимую табличку «Мест нет»? — спросил вместо «здрасьте» ДэПроклов.

Она негромко и коротко рассмеялась, мигом превратившись из лица официального в милую, пожирую, радушную по-камчатски женщину.

— А кто ж ее знает? Я уж и забыла, когда в последний раз выставляла. Вам коечку?

— Номер. Хорошо бы — одноместный.

— Ой, — очень сочувственно и даже чуть-чуть виновато воскликнула женщина. — А вы цены знаете?

— Не-а, — беззаботно ответил ДэПроклов. — Я у вас уже прорву лет не был.

Она назвала цену.

— Однако! — только и сумел произнести ДэПроклов.

— Мы теперь АО, — грустно усмехнулась администратор.

— Мда. Жить, однако, надо. Давайте! Слава те Господи, деньги казенные.

Она дала анкету. ДэПроклов, как в прежние времена, заполнил ее молниеносно, за пятнадцать секунд, по памяти. (В той его, прежней, разъездной жизни частенько случались ситуации, когда именно от скорости заполнения анкеты, кто первым сунет ее администратору, зависело, будешь ты ночевать по-человечески или будешь коротать ночь в вестибюле, в лучшем случае скрючившись в кресле...)

Он поднялся на этаж, отыскал нужный номер и вдруг слегка обомлел: она его поселила в тот же самый номер! Он не мог ошибиться — напротив была дверь в буфет.

Непонятно отчего, он разволновался. Разволновался неприятно, у него даже слегка помрачилось перед глазами.

«Ну-ка! — грубо прикрикнул он сам на себя. — Хватит! Ты здесь по другому делу».

Он вошел в номер, как входят в комнату, где совсем недавно пребывал покойник. Как ни убеждал он себя, что за эти годы сотни постояльцев прошли

через эти апартаменты, ему явственно чудилось присутствие — тень присутствия — Нади.

...Его привезли из Усть-Кореня труп трупом, изблеванного, с острыми резами в желудке, настолько обессиленного и исчахшего, что, помнится, летчику-вертолетчику пришлось чуть ли не на себе тащить его до койки.

«Пищевое отравление» — такой был диагноз.

Отравился он, без сомнения, копченой рыбкой, которую презентовал ему — как же его звали? — усть-кореньский бичок, который как-то очень ловко, очень естественно приклеился к нему сразу после прилета, едва-едва вылез ДэПроклов из кабины. Чересчур уж как-то ловко, чересчур уж как-то естественно приклеился... Можно было бы предположить, что он его поджидал.

Этот бичок таскался с ним по поселку целый день. ДэПроклов угощал его сигаретами, бутылочку водки они с ним распили. Валера — точно! его Валера звали — водил его по нужным людям, всех знал, все его знали, но отношение к Валере было, как бы сказать, опасливо-пренебрежительное, и ДэПроклов не один раз ловил на лицах людей неодобрительное удивление, когда его видели в компании этого самого Валеры. Никто, впрочем, ни слова ему не сказал.

А ДэПроклову было наплевать, главное, что Валера все обо всех знал, рассказывал жутко интересные вещи, и кто же еще мог рассказать лучше про убогую жизнь убогого этого поселения, как не убогий этот Валера?

Невысокий, сухой, с быстрыми повадками боксера-легковеса, весь черный, как жук, с диковинным тут тщательным пробором в заметно изреженных черных же волосах, с жуковатыми черными глазами — все в нем изобличало жулика, не вора, не бандита, а именно жулика. Он был расконвоирован и работал, кажется, в местной котельной.

Когда вечером ДэПроклов собрался уже улетать, тот вдруг так трогательно засуетился: «У нас не полагается, чтоб без подарка...» — куда-то бегал, к кому-то заходил, в результате притащил грязный кожаный какой-то кисет, что-то вроде ладанки из оленьего меха и связку сухой копченой рыбы — «Пивка выпьешь в Питере! Такой рыбки ты там не найдешь, точно». На прощание они обнялись.

В ожидании, когда вертолетчики заправятся, он одну рыбешку скушал — тут-то и начался кошмар.

Потом — после неотложки, после промываний, после ужинов — он двое суток пролежал в номере, не вставая.

А потом позвонила Надя:

— О Господи! — облегченно и счастливо вздохнула она. — Наконец-то я тебя отыскала! Улетел и — ни слуху, ни духу. Чего я только не передумала?! — радостные слезы слышались в ее голосе.

Он ничего не мог есть. Надя привезла литровую банку рисового отвара и с ложечки кормила его, а он блаженствовал.

Она спросила:

— А где эта рыба? Ну, которую тебе подарили?

— В сортире, где же еще? Меня от одного только запаха выворачивало. Даже и до сих пор запах чудится.

— Плохо, — огорчилась Надя, став необычайно серьезной, — я бы могла на анализ ее отдать. — И вот тут-то она и произнесла: — *Они могли тебя отравить.*

Он засмеялся.

— «Они»? Кто такие «они»?

— Я не знаю, — растерянно ответила Надя.

— Меня?! Отравить?! — Он очень развеселился.

— Я, Надя, думаешь, почему так держусь за свою контору? Потому что жизнь там для журналиера — безмятежная. Материалы — только положительные. Когда приезжаешь — все тебя со страшной силой любят, готовы на руках носить, поскольку знают, что никакой баяны про них не напишу. Моя журналистика теперь — журналистика витринная.

— И тебе это нравится? — с осторожным осуждением спросила она.

— Нравится — не нравится... Это — другой совсем разговор. Я это — к тому, что ни у кого нет никаких резонансов травить меня.

— Я не знаю, — растерянно повторила Надя. — Мне что-то показалось. Мне так беспокойно за тебя!

— Лапонька моя... — растрогался ДзПроклов и погладил ее по щеке. — Иди ко мне, а?

— Не надо, Дима.

— Иди, а?

Она заметно колебалась. Лицо ее стало отчаянно грустным, и вновь сквозь печаль явственно засквозило старой какой-то тоской.

— Просто лежи, а?

Он лежал с закрытыми глазами, слышал, как шелестит ткань снимаемого платья, щелчки каких-то кнопок, звуки чего-то расстегиваемого и ничего, кроме грустной досады — на себя! — не ощущал. «Ах, — думал он, внутренне морщась, — зачем это? Не нужно бы это!..»

Немая и настороженная, она скользнула к нему под одеяло и замерла с краску.

Не открывая глаз, он повернулся к ней, крепко обнял ее горячее обнаженное тело и тесно-тесно прильнул к ней.

Она была, как каменная, каждая мышца отчужденно напряжена. Потом, он услышал, ее стало помаленьку отпускать, она задышала освобожденной, а потом вдруг вздохнула с несказанным счастьем и облегчением в голосе:

— Господи! Как хорошо... — и тихо заплакала. — Ничего больше не надо. Ладно? Как хорошо! Как хорошо, Господи!..

А его и не надо было просить. Ничего, кроме горячей нежности, кроме истового желания оберегать ее, укрыть в своих объятиях от железных, грубых напастей мира, он в те минуты в себе не слышал — слегка, надо признаться, тревожась от этого, но и что-то вроде гордости в себе ощущая. Он — как и она — знал, что ни в коем случае сейчас нельзя, что будет совершенно убийственным сейчас для того немислимо хрупкого, неимоверно нежного, ослепительно чистого и доброго, что выстраивалось между ними.

Потому-то и лежал, просто, крепко и бережно обнимая ее горячее, послушно прильнувшее к нему тело, и боялся даже шевельнуться, боялся своего желания приласкать ее, чтобы, не дай Бог, не случилось того обыкновенного, что уже сотни раз случилось и что сейчас оказалось бы смертельным для их опешеломляюще гармоничного двуединства в мире.

Он не заметил, как заснул.

Проснулся он от тихих, почти неосязаемых поцелуев, которыми она покрывала руки его.

— Мне надо идти, — сказала она с сожалением.

Глаза ее, обращенные к нему, восхищенно сияли. — Спасибо тебе. — Она прикрыла свои глаза его ладонью и произнесла странно-свищим голосом: — Я не знаю... как я смогу жить... когда ты уедешь. Спасибо, Дима-мой-Дима! Сегодня я была счастлива. Не смотри, пожалуйста!

Он послушно прикрыл глаза. Она поднялась и стала быстро и бесшумно одеваться.

Наконец, с усилием он преборол оцепенение воспоминаний, слез со стола, включил торшер. В комнате была уже, оказывается, темень.

Хватит психоанализов, сказал он себе, звони!

Однако он все медлил и медлил на этом пороге. Там, дальше, поджидала его совершенно новая жизнь, в которой все будет иначе. И его эта «жизнь иначе» вовсе не манила, напротив — обещала уйму душепротивной суеты, общения с кем-то, с кем общаться никакого желания не будет, постоянного какого-то насилия над собой и своими предпочтениями. Его ждала там, за этим порогом, жизнь не свободная, он предчувствовал это, и потому-то, быть может, так истово и с суеверной готовностью оборачивался воспоминаниями к Наде, ко всему, что было связано с Надей, — он словно бы хотел надышаться впрок, прежде чем шагнет в мир, где дышать будет тяжело.

Судя по времени, был еще рабочий день. И, тягостно вздохнув, он взялся листать записную книжку.

Сразу же обнаружилось, что телефона Ирины — той самой Надиной подруги, у которой они были на дне рождения — в книжке нет.

Ему не понравилось такое начало.

Он позвонил в газету, где работала Надя.

— Вас слушают... — очень доброжелательный, очень приветливый голос — тот же самый голос, что и много лет назад — послышался ему.

— Здравствуйте, — произнес он замедленно, подбирая слова. — Я давний-давний знакомый Нади Шестаковой. Из Москвы. Лет пять-шесть назад я, кажется, с вами говорил.

— А вы знаете, я помню, — сказала вдруг женщина.

ДзПроклов изумился.

— Я помню. Я помню Надю после того, как вы позвонили. Вы знаете — про Надю?

— Да.

— Это так ужасно. Мы до сих пор...

— У нее была такая подруга — Ирина, — торопливо и бесцеремонно прервал ее ДзПроклов. — Как бы мне ее найти? Крупная такая, блондинка...

— Я знаю, знаю, о ком вы говорите. Она где-то в Елизаветово, кажется, живет. Сейчас я попробую у кого-нибудь узнать. Вам не трудно будет перезвонить? Минут через двадцать?

— Я буду вам очень признателен, — церемонно произнес ДзПроклов и положил трубку.

От этого голоса ему стало легче. Странное и отрадное появилось чувство: он не один.

Он не торопясь выкурил сигарету, с полминуты походил по номеру, потом не вытерпел ждать и снова набрал номер.

Женщина, должно быть, только-только вернулась к телефону — голос ее был азартно запыхавшимся, и она не могла, если и хотела, удержать радостные нотки:

— Да-да! Записывайте. — Она продиктовала ра-

бочий телефон Ирины (домашнего не было), добавила: — Ее фамилия Томилина. — А потом, через крохотную паузу — очень сердечно и серьезно: — Удачи вам!

Эти простые слова его неожиданно потрясли. «Удачи»?! Она произнесла это так, будто догадывалась о цели его приезда сюда. Она произнесла эти слова так, будто он — последняя — не только ее, но и чья-то еще — надежда.

Ирина охнула в голос, услышав его, — запричитала и радостно, и изумленно, и горестно, и весело — тотчас же зазвала в гости. Мяса пожарим, пообещала.

Он отправился в буфет напротив. Наугад тыкая в витрину пальцем, накупил мяса какого-то печеночного, колбас, банок с паштетами, плавлеными сырами, несколько коробок конфет, две бутылки шампанского. На всем были иноземные этикетки.

Ради интереса он поинтересовался:

— А что-нибудь русское-то осталось?

Буфетчица на секунду задумалась.

— А как же? вот — котлетки с нашей кухни.

— ...из новозеландского, небось, мяса... — заметил ДзПроклов.

— Не знаю... Вот — винегретик, если хотите.

— Винегретик — как-нибудь потом, — сказал он уходя.

— Сыр! — крикнула она ему вслед. — Сыр вроде бы наш — латвийский!

Он чувствовал себя раздраженным, все бесило его — и дурацкие игральные автоматы в пустом вестибюле гостиницы, и ларьки с лакокрасочными этикетками бутылок, банок и шоколадок, торчащие на каждом углу, и смуглокожие рожи, торчащие из окошек ларьков, тоже выводили его из себя. Это была другая Камчатка — поруганная, подавленная, изгаженная завоевателями — Камчатка после нашествия.

«Э-э, брат! — поймал он вдруг себя на мимолетном, но внятном ощущении. — А ведь ты ненавидишь его!..» — И действительно, глянув внутрь себя, он обнаружил, что постоянным образом и раздражение его, и бессильная злость, и брезгливость, граничащая с отчаянием, постоянной же образом как бы персонифицируются в облике именно Голобородьки. Он — именно он — был у него всему виной: и тому, что Нади уже нет, и что Камчатка — вот такая, внезапно как бы обнищавшая, растерянная, униженная, пасмурная и неприглядная, и что он, ДзПроклов, должен будет, вопреки всему своему существу, все-таки сделать свое тошное, страшненькое дело.

В стеклянном павильончике с собачьим названием «Веста» хмуро показал на розы:

— Вот эти. Белые.

Девочка сияюще заулыбалась, засуетилась со старательными повадками образцовой, из американского кино («Мэй ай хелп ю?») продавщицы супермаркета:

— Одну, три? — больше здесь, видимо, не брали.

Хорошая была девочка — чистенькая, ясноликая, вчерашняя десятиклассница — только вот смотрела на него так, что у него корчило все внутри, — с жалковатым неумелым подобострастьем, с тихонькой кротостью слабого, глядящего на сильного, толстосумного.

— Семь, — сказал он.

Девочка заулыбалась и того шире. Стала бережно извлекать из вазона цветы, аккуратно складывать

букет. Глядя на нее, нетрудно было догадаться, что она — очень любит цветы, ей истинное удовольствие доставляет возиться с букетом, и она в эту вот минуту искренно со-радуется вместе с той, кому преподнесен будет букет.

— Из Сингапура цветочки? — предположил ДзПроклов.

— Из Австралии.

— А вам какие больше всего нравятся?

Девочка вмиг смутилась и как-то украдкой, после заметного колебания, показала: «Вот эти» — на бледно-бледно-розовые, почти неуловимо розовые, нежнейше розовые цветы, очень чем-то схожие с ней самой.

— Действительно... — одобрил он. — Хороши. Еще три штучки сделайте, будьте любезны.

Она глянула на него с восхищением и легким ужасом.

Она завязала на каждом из букетов кучерявые какие-то бантики из атласной ленты, щелкнула ножницами и с сожалением рассталась с цветами:

— Вот...

Потом потыкала по калькулятору изящным перстом, назвала сумму — ДеПроклова от здешних цен уже почти не шарахало. Он отсчитал деньги, а потом один из букетов — тот, что поменьше, — протянул девочке:

— Это — вам.

Ошеломление написалось на ее лице, она воскликнула почти мгновенно:

— Нет-нет-нет!

— Да-да-да. Берите. — Он сунул цветы так, что она вынуждена была взять их в руки. — Мне будет приятно вообразить. Как вы поедете сегодня домой — на автобусе — как все будут смотреть на цветы, на вас, на цветы. Будут маленько завидовать вам, думать, ах, какая, наверное, хорошая девочка, если ей дарят такие красивые цветы! А потом посмотрят на вас повнимательнее и скажут сами себе: а ведь и в самом деле какая хорошая девочка, а мы-то и не замечали... — Он засмеялся, и она тоже с веселием и легкостью заулыбалась его словам.

— Но как же это?? — все-таки растерянно повторила еще раз, глянув при этом на цветы — уже как на свои цветы.

— А вот так, — наставительно и непонятно сказал ДзПроклов. — До свиданья! — И вышел из павильончика в промозглые тоскливые потемки.

Вот и хорошо, думал он о ней, чувствуя, что его уже отпустило и больше не слышна эта муторная, бессильная, тоскливая злость, изгрызавшая его совсем недавно. Вот и славно. Девочке будет о чем подумать, помечтать, вот и славно.

...Убог, прекрасен, грустно-прекрасен был рынок в тот час торжествующе-рыжего, нехотя клонящегося к закату солнца.

Длинные тени от дощатых навесов, под которыми не было уже ни души, отчетливые и печальные тени лежали на пепельной, сотнями ног в прах истолченной земле.

Тишина, смирение, запустение, солнечная дрема вяло царствовали тут.

Проклов глянул и удивился — он был единственный покупатель.

Торговцев было вчетверо больше: два корейца с арбузами, нарезанными долями, пожилая интелли-

гентная женщина с гладиолусами в цинковом ведре и потешный миниатюрный мужичок в армейском кителе.

Перед мужичком на куске брезента красовался развал разнообразнейшего барахла: кучки гнутых гвоздей, крючки, шурупы, штепсели, связки ключей, позеленелые водопроводные краны, газовые конфорки, дверные ржавые пружины, электропатроны... — тьмущая тьма, чертова прорва роскошнейшего калеченного хлама, от восхищенного созерцания которого трудно было оторваться: ...дырявый чайник, галоши, старые радиолампы, ошейник для собаки, самоварные краники, монтерские когти, портсигар с тремя богатырями, открытки с видами Крыма...

— Поддержи коммерцию, командир! — обрадовавшись новому лицу, весело воскликнул китель.

— Рупь! — согласно засмеялся и ДзПроклов.

— На рупь я могу предложить... — тут мужичок серьезно задумался, — вот этот вот замечательный шпингалет!

— Годится! — сказал ДзПроклов. — При одном условии, отец. Ты мне объяснишь: на хрена командировочному человеку шпингалет?

Мужичок в кителе даже огорчился такому вопиющему непониманию:

— Ну, неужели же не понятно? Приделаешь на окно, будешь запираешь — никто к тебе не проберется — покушения избежишь.

— Да? Ну, тогда это резко меняет дело, — с серьезным видом согласился ДзПроклов. — Беру!

— Предлагаю новую сделку! — воскликнул в предпринимательском восторге китель. — Ты платишь еще рупь, но все вот это богатство забираешь с собой!

ДзПроклов опять рассмеялся.

— Ну, а как же твоя коммерция завтра?

— Завтра будет лучше, чем вчера, — доверительно сообщил мужичок. — Так сказано в писании последнего пленума.

— Нет, отец. Сделаем по-другому. Я вступаю еще одним рублем в твое дело. А дней через тридцать, к концу командировки, ты мне платишь чертову уйму дивидендов. Согласен?

— А как же! — с удовольствием развеселился мужичок. — Гони свой рупь.

ДзПроклов с готовностью полез за деньгами, не переставая испытывать искреннюю и странную радость — от этой возможности и от этой способности этак вот, весело, быстро и легко переболтнуть языком с совершенно незнакомым человеком, при этом понимая друг друга тоже — быстро, весело и легко — а главное, как бы держа в подтексте необременительного того разговора Главное: «Мы, оба — свои люди в своей стране, и отчего бы нам не почесать языками, просто так? Мы ж — свои люди...»

— Вы бы, молодой человек, цветочков лучше купили, — услышал он, с готовностью повернулся на голос женщины и сказал, опять улыбнувшись —

мгновенно испытав при этом еще одну радость, тоже странноватую радость — от своего такого счастливого умения ясно, искренно, весело улыбаться человеку, тотчас же получая в ответ такую же ясную, искреннюю и веселую улыбку; ни о чем особенном эти улыбки друг другу не говорили, кроме одного-единственного: «Мы — два человека, один помоложе, другой постарше, и мы просто-напросто улыбнулись друг другу, потому что мы — два человека с

одной земли и нам выпало какой-то отрезок времени жить на этой земле, под одними небесами, и вот наши пути-дороги на разных возрастах пересеклись, и почему бы нам не улыбнуться друг другу, спасибо вам, молодому, за ваше умение улыбаться другому человеку, и спасибо вам, пожилой, что не разучились и не устали еще улыбаться другим людям, удовольствие от этого получая...» —

он с готовностью повернулся и сказал улыбавшись:

— А я, матушка, как раз за цветочками и пришел. Один только момент... Бери, отец, мой капитал! Через месяц дивиденды... — И не договорив, неудержимо вдруг зевнул.

— Сегодня прилетел, что ли? — догадался мужичок.

— Ага. И до сих пор не могу понять: то ли спать пора, то ли утреннюю зарядку делать.

— Это да. Денька два покувыркаешься.

В цинковом ведре у женщины оставалось восемь гладиолусов. Он купил все восемь, один вернул: «Нужно, чтоб нечетное было число».

— Девушке? — спросила она.

— Жене, матушка. Чужой, но чувствует мое больное сердце... — он не стал договаривать. Потому что и сам не мог определить тогда, что вещает ему «больное сердце».

Корейцев тоже не хотелось обижать. Они сидели на корточках, рядышком, плечом к плечу. Они были похожи на родных братьев и сдержанно улыбались, глядя на ДзПроклова.

Он купил у них три арбузных ломтя — рубль штука — протянул два женщине и один мужичонке в кителе.

Женщина взяла не чинясь, сказала:

— Спасибо. Внуку отнесу.

Мужичок пристроил кусок арбуза среди ржавого своего товара и объявил:

— ...а я — продам! И создам им (он кивнул на корейцев) бешеную конкуренцию.

ДзПроклов всем по отдельности сказал «до свиданья», изображая при этом церемонные (как боксер на ринге) полупоклоны и пошел к Наде. От недосыпа, от временного сдвига, да еще и от джина, выпитого в гостинице, его то и дело блаженно вело, мир время от времени как бы коротенько дергался перед глазами, и он отчетливо осознавал, что под ногами у него не земная твердь, а нечто, вроде пружинного, весело расхлябанного матраца. И он долго еще, неизвестно чему, улыбался.

...А в конце печального и тихого своего рассказа Ирина, заметно поколебавшись, произнесла, предвзвешенно бросив быстрый взгляд на ДзПроклова:

— И все равно никто из нас не верит. Надя не могла сделать этого над собой!

ДзПроклов сидел, все еще ошеломленный рассказом, и почти не слышал этих слов.

Он никак не мог избавиться от страшной в своей убогости и жути картины: захлавленная кухонька, грязноватый свет сумерек, падающий из окна, а на полу, возле черно зияющей пасти духовки — скромненькой грудой тряпья — Надя...

— Прости, — спохватился он. — Ты что-то сказала?

— Я сказала, что *никто* из тех, кто знал Надю, не верит, что она могла это сделать над собой, — повторила Ирина.

— Они как жили в последнее время?

— Плохо жили. Она, может быть, только одной мне рассказывала — насколько плохо они жили. Ты уехал — перестал писать, исчез.

— Я писал...

— Да. Четыре письма. Из Владивостока. Где ты с этой, с краснодарской, проводил время. Она носила эти письма с собой. Она их знала, наверное, наизусть. Но ты-то не виноват, не бери на себя! Главное, что у них с Голобородькой все окончательно разлезлось. Когда все это началось... когда эта клятая горбо-стройка началась, Голобородько самым натуральным образом свихнулся. Спроси у кого хочешь, он был как сумасшедший. Его буквально трясло. Он бегал по городу, по знакомым, по незнакомым — искал денег, чтобы открыть какой-нибудь кооператив, АО какое-нибудь, ТОО какое-нибудь, черт их разберет! Журналистикой он и так через пень колоду занимался, а тогда и вовсе забросил. То у него была идея — мех котиков выделывать, не взрослых, а тех «котят», которых на Командорах прибоем о берег бьет. Потом еще что-то — утиль-сырье, что ли, собирать. Потом — вообще что-то браконьерское: икру закапывать и на материке сбывать — тоже не получилось. Там уже своя, надо полагать, мафия была. Ему просто набили морду и сказали: «Брысь!»... Видел бы ты его! Ничего более жалкого я не видела. Он деградировал за месяц-два, клянусь! У него ручки дрожали, он сам весь постоянно дрожал, суеился. А Надя — на все это смотрела... Он потом-то все-таки открыл свое «дело» — нанял какую-то старуху, которая пирожки пекла, а он их продавал (еще и водку в разлив) возле судоремонтного. Недели две он бизнесменствовал. Пока санэпидстанция его не прихлопнула. Он, оказывается, начинку для пирожков, знаешь, откуда брал? Ездил по школам, собирал недо-еденные, недожеванные котлеты от школьных завтраков, бабка ему их проворачивала, — ф-фу! — Ирину и сейчас даже бросило в дрожь.

— Об этом даже фельетон был в «Камчатской правде», без фамилии, правда, но все Голобородьку узнали, ну и, соответственное к нему стало отношение: даже и не презрение, даже и не безгливость, хотя и презрение и безгливость... не могу сформулировать! В гости они уже ни к кому не ходили — их не то чтобы не звали, но это как-то само собой получилось. Надя только ко мне иногда приходила, одна, сидела вот здесь, на диванчике, как замороженная. Я ничего не могла поделать! Такое в ней было одиночество — не приведи Господь! И тебя не было — перестал писать, исчез, провалился сквозь землю... Что с тобой случилось?

ДэПроклов постарался оборвать этот разговор.

— Ну, а почему же, скажи, она не затеяла развод с ним? Неужели не ясно было — да ей давно уже ясно было! — что это за типок, Голобородько этот?

— Э-э, Димочка... Ты же ведь знаешь Надю: во-первых, — «Ах, Егорка, переломный возраст, ах, как же ему, бедненькому, оставаться без отца?» — во-вторых, Игорь был категорически против, хотя и изменял ей, подонок, почти в открытую, а в-третьих, — ты об этом не знаешь, да и она сама только намекала об этом рассказывала, он над ней имел какую-то непонятную власть! Она рассказывала: когда он рядом, она непонятно почему слабеет, совершенно теряет волю, будто во сне живет. Я пыталась понять ее — только недавно где-то в журнале вычитала: он, наверняка, был (ты только не смейся!) энергетичес-

кий вампир! Поэтому-то она и не могла никак с ним развязаться, хотя уже давно ни о какой любви и речи не могло быть.

— Я верю, — серьезно сказал ДэПроклов.

— У нее на одного тебя была надежда! — безжалостно сказала Ирина. — Я же помню, какая она была, когда ты сюда приехал, — она светила! Даже когда ты уезжал куда-нибудь, но здесь еще был, на Камчатке, она совсем другая была, даром что Голобородько рядом толкся. Она и письма-то твои носила с собой поэтому. Я знаю. Девочка из отдела писем в газете рассказывала на поминках: когда почту приносили, Надя всегда к ним приходила в комнату и ее буквально трясло!

— Слушай, — хрипло и почти враждебно сказал ДэПроклов, — ты что, хочешь, чтобы и я... полез в петлю?!

— Упаси Бог, Димочка! Прости. Я просто рассказываю, как все было. Ей все эти годы плохо было. И все равно никто из нас не верит. Надя не могла сделать этого над собой!!

— Но ты такую картину нарисовала...

— Я тебе еще не все рассказала. Через два года, как ты уехал и пропал, у нее умерла мама — последний родной у нее человек. Она осталась совершенно одна. Она два раза летала туда к вам, в Россию. Сначала — похороны, потом — какие-то наследственные дела. Оба раза через Москву. По-моему, она разыскивала тебя. Прости, что я об этом опять говорю, но это действительно так. Она, знаешь, что сказала однажды, после Москвы? Ей постоянно казалось, что пока она там, ищет тебя, ты — прилетел на Камчатку и ищешь ее здесь, а ее нет. Она уверена была, что, рано или поздно, ты вернешься на Камчатку. Уж как только не уламывал ее Голобородько! «Продадим квартиру, продадим дом родителей, переберемся на материк, может быть, даже в Москву!» — она не соглашалась ни за что! Несмотря на всю свою, как бы это сказать, подчиненность ему, рабью, тфу, подчиненность... Она почему-то уверена была в этом: Дима-Дима когда-нибудь вернется на Камчатку, бросит Москву и будет жить здесь. У нее это прямо идея фикс какая-то была. Она права? Ты в самом деле вернулся сюда... надолго?

— Пожалуй, хотел. Хотя и не уверен. Только вот после всего этого... Я ведь узнал о Наде только по дороге в аэропорт. Я, если честно сказать, к ней ехал, мне кажется.

— Долго ты собирался, — без всякой приязни заметила Ирина.

— Долго, — согласился ДэПроклов.

Он налил полный бокал шампанского и выпил, совершенно не чувствуя вкуса.

— А как она сама все это объяснила? Какая-то записка была ведь?

— Не было! В том-то и дело, что не было! Вот что, Димочка, тебе надо с Витюшей поговорить! Обязательно. Он и по милициям ходил, и в прокуратуру обращался. Его вся эта история прямо взбесила. Я вот просто не знаю, что и думать. А он — на сто процентов уверен, что тут дело нечисто.

— Нечисто?! — ДэПроклов словно проснулся.

— Ты с ним поговори, поговори обязательно!

— А где он, кстати?

— На дежурстве. Он теперь еще и сторожем у нас трудится. Днем старший научный сотрудник, ночью — сторож. Смешно?

— Да не очень. Скорее — грустно.

— Я вот тоже. Днем — завлаб, а вечерами — вон...

— она враждебно кивнула в угол, где стояла пишущая машинка с заправленным в нее недопечатанным листом. — Крутимся, Димочка. Такое ощущение, что попали мы в какую-то жутко подлую ловушку: и жить — невозможно, и уехать — невозможно. Некуда, не на что, да и незачем, судя по всему.

— Там, по-моему, ничем не лучше, — подтвердил ДэПроклов.

— Цены хоть более-менее божеские! Зарплату хоть вовремя дают! — в сердцах воскликнула Ирина.

— Там тоже у всех хребты трещат, не очень-то обольщайся.

— А ты, я вижу.... — Она посмотрела на розы, стоящие в вазе, и лицо ее сразу же помягло.... — Ты-то хоть в порядке?

— Можно и так сказать. Ну, а этот — наш славный «бизнесмен Голобородько» — чем он промышляет?

Ответ Ирины его ошарашил:

— Не знаю.

— Как так не знаешь?

— Он же уехал! Я разве не говорила? Сразу же, нет, через полгода после Нади. Продал квартиру, Егорку он к родителям еще раньше сплавил, так что...

— Ну и где он сейчас?

— Откуда ж мне знать? — искренно удивилась Ирина.

«Бац!» — ДэПроклова будто бы шелкнули по носу, поучающе и с издевкой. Он ко всякому был готов повороту, но только не к такому. Ищи теперь, свищи Голобородьку!

Чтобы скрыть растерянность, он привычно взял за бутылку.

— А мы ведь не помянули. Давай, Ириша!

— Давай, Димочка. Пусть земля ей будет пухом. Они выпили.

— Она *здесь* похоронена?

— Да. На «новом» кладбище. Ты хочешь сходить?

— Не знаю. Наверное, схожу. Попозже. — ДэПроклов все еще никак не мог прийти в себя. Мысли шли вразброд, путанные, случайные и лишь одна стучала, как метроном: «Ищи теперь, свищи Голобородьку!»

— Так я к тебе Витюшу пришлю? Ты в каком номере?

— Да-да! Пришли, — он назвал номер. — И вот что еще... сможешь найти адрес Игоревых родителей?

Ирина удивилась:

— Зачем тебе? Тебе, что, неужто Голобородько нужен? — чуть ли не враждебность прозвучала в ее вопросе.

— Нужен — не нужен... — туманно ответил ДэПроклов. — Мне адрес его родителей нужен. Егорка, ты сказала, у них живет?

Ей, должно быть, невесть что подумалось. Она глянула на него с испуганным восхищением:

— Ой, Димочка!.. Только ты знаешь, Егорка... он совсем не в Надию вырос. Увы, вылитый папочка! В подростковом, конечно, варианте. Надя и из-за него тоже так мучилась: то поймали, у малышни деньги отнимал, то классные деньги на подарок учительнице будто бы потерял (Наде пришлось свои вкладывать), уже и курил, и чего-то нюхал. Адрес-то у меня есть, но...

— Ну, так и давай! Я в тех краях скоро буду, заеду, погляжу.

— Что мне еще надо? — рассеянно спросил он сам себя, записав адрес Голобородьков. — Когда, точная дата, Надя... то есть когда с ней это случилось?

Ирина принялась подсчитывать: «Сороковой день, точно помню, был на октябрьские...» — наконец, назвала дату. ДэПроклов и это записал, хотя и очень-очень смутно мог предположить, зачем ему это надо. Он вообще не знал, что ему сейчас надо — все рассыпалось в прах после известия, что Игоря на Камчатке уже два года как нет.

— Пойду я, — сказал он, вставая и чувствуя, насколько непросто вставать: только сейчас начала сказываться разница во времени, усталость навалилась на плечи чугунной тяжелой ношей. — Шибко уж много ты мне всего порассказала, — заметил он, криво усмехаясь, — вишь ты, ноги даже не держат. Дня два-три я здесь пробуду. Еще увидимся, дай Бог.

— До свидания, Дима. — Она смотрела на него с ласковой, воспоминательной грустью. — Спасибо, что заехал. Теперь редко кто заезжает просто так. Наверное, и вправду: «Каждый умирает в одиночку»? До свидания и... — она чуть помедлила, — ...и — удачи тебе!

Опять ДэПроклова ударило в легкую дрожь от этих простых слов — от значительности, которую Ирина, казалось, вложила в эти простые слова. У него было внятное ощущение, что все догадываются о цели его приезда сюда. Но — видит Бог! — он и намек никому не давал для каких-нибудь догадок.

Все, что поведала ему Ирина, было как медленно действующий яд.

Он слышал (пожалуй, даже видел), как зловеще, неспешно расплзается, разрастается у него внутри угрюмое траурное облако тоски, сострадания, вины, утраты, и снова вины, вины...

«Как ужасно! — повторял он, прямо-таки корчась от стыда и отвращения. — Как ужасно! Надя, оказывается, знала, что я во Владивостоке — с этой... с Лизаветой. Каким же подонком я выглядел в ее глазах! — пишу ей полуприпадочные пыльные письма, с объяснениями в любви и одновременно же возюкаюсь с краснодарской той станичницей. Нет. Нет, нет! Она все понимала. Она не стала бы носить с собой, читать-перечитывать те письма, если бы не поняла все правильно. Милая! Она понимала, что для меня — она — что-то другое — не только женщина...» —

он сидел у себя в номере — не сидел, валялся в кресле — и старался поскорее напиться.

От коньяка голова его уже глухо одеревенела, но мысли о Наде, знание того, что ее больше нет и никогда нигде не будет, Надино отчаянное, вопленное одиночество в мире, которое сейчас было его одиночеством... — от этого некуда было бежать, негде спрятаться, это изжигало его изнутри!

Потом он решил вот что: непременно надо бежать куда-то, надо сей же минут отыскать Голобородьку и расправиться с ним, прикончить его, только так можно будет оборвать эту нескончаемую мученическую муку!

Он тотчас воодушевленно рванул из кресла. Ноги однако уже не держали. В мгновение ока оказался

почему-то на полу — в беспомощной и потешной позе жука, перевернутого на спину.

Попытался хотя бы голову приподнять, не получилось, и тогда, во всеуслышание провозгласив, торжественно и окончательно: «Все!» — побросал в разные стороны руки-ноги и затворил глаза, сдаваясь безоговорочно.

Его тотчас стремительно и безжалостно завертело — как космонавта на тренажере, сразу в трех плоскостях — и черный сон ахнул на него!

Стремительно засыпая, он успел лишь одно подумать: «Какая же ты скотина, братец!» — удивленно и удрученно, в самый последний миг пропадания: — «Какая же ты скотина!» —

потому что не Надя милая, не скорбное воспоминание о ней явилось ему, а — пьяненькая неумытая Лиза-Лиза-Лизавета, которая, стесненно и зябко подхихикивая, стягивала через голову жалкое дражное платишко.

— Эй! Как тебя там!..

Он оглянулся. Дело было в гостиничном буфете.

В углу за столиком стояла и смотрела на него глазами потерявшейся собачонки Лизавета — соседка по самолету.

Кроме бутылки мутно-желтого лимонада, в котором плавали какие-то белесые хлопья, перед ней на столе ничего не было.

Он подошел к ней.

— Привет! Как жизнь молодая?

— Лучше всех! — Она искренно, наверное, хотела, чтобы это сказалось и бесшабашно и весело-независимо, а получилось совсем не так: чуть ли не с горестным всхлипом, жалобно и беспомощно.

— Оно и видно, что «лучше всех», — усмехнулся ДэПроклов, внутренне морщась от брезгливого сочувствия и едкой жалости к этому беспризорному пуделю.

Кучеряшки на давно не мытой и нечесаной голове сваялись, напоминали замызганную пыльную каракульчу. Платье, разорванное на плече-грудь, было заколото булавкой. Под глазом голубел фингал — впрочем, вполне возможно, это была просто грязь от поплывшей ресничной краски.

— Не пей ты эту гадость, — посоветовал ДэПроклов и болтнул лимонадом. Студенистые блеклые амебы оживленно заплывали в бутылке.

Она смотрела на него ожидающе — тихо, с покорством, нищенской надеждой — но, как ни странно, и с выражением жалкой дерзости, которое она изо всех сил пыталась обозначить на лице.

Неохотно преодолевая что-то в себе, он сказал:

— Эх ты... матрена тимофеевна! Пойдем! — кивнул головой на выход из буфета и пошел не оглядываясь.

Не очень-то ему хотелось связываться с ней и, возясь с ключом в замке, он, пожалуй, надеялся, что она не пошла следом за ним, гордо осталась наедине со своим прекрасным лимонадом. Но когда он распахнул дверь номера и оглянулся — она стояла за спиной, тихонькая и виноватая. Бутылку с лимонадом она все же забрала с собой.

— Есть хочешь?

Она столб столбом стояла посреди номера, со слабоумной улыбочкой озиралась.

— Садись!

Он разложил на газете припасы: колбасу, бутерброды с рыбой, откупорил боржом.

Она молча присела, стала кушать осторожно, стараясь не торопиться. Было, однако, видно, что она очень голодна.

— Как ты тут оказалась?

Она поглядела на него, но ничего не сказала. Продолжала сосредоточенно жевать, запивая из горлышка бутылки.

Вдруг отворила уста:

— Тут у вас. Живут. То ли на четвертом, то ли на пятом. «На минуточку» — сказали. — Она рассмеялась, внезапно вдруг осипшим, вполне проститучьим смешочком. — А у тебя выпить нету? Ты не думай, немножко...

— Эх ты — дура-дура! — сказал ДэПроклов и налил ей немного бренди.

— Дура, — просто согласилась она и, корчась лицом, выпила стакан.

— Горячую воду дали, — сказал ДэПроклов. — На, полотенце, на, шампунь! Мыло — в ванной. Вымойся. А то похоже... черт знает на кого!

— Ой, спасибо! — она заулыбалась совсем вдруг по-девчоночьи. — Я боялась попросить. Думала...

— А ты не думай. Просто иди и просто включай душ.

— А меня тут, знаешь, обокрали! — почти с веселием сообщила она, остановившись возле дверей ванны, и вдруг, стесненно, зябко подхихикнув, стала стаскивать через голову платье, тотчас застряв головой в ворота. На ней были только трусики. Полновесные крутые груди стояли курносым торчком. — Чемодан оставила дядечке посторожить в комендатуре. Вернулась... — Она, наконец, выпросталась из платья, прикрыла им голую грудь. — Ни дядечки, ни чемодана! — сказала бойко, а лицо ее сморщилось от готовности заплакать.

— Иди, иди! Ладно, — торопливо оборвал ее ДэПроклов, — потом поговорим.

Он уже с трудом владел собой. Только брезгливость еще останавливала его.

Зашумела вода в ванной.

Он лег на кровать, закрыл глаза. Он знал, что не удержится.

Он попытался позвать Надю — она возникла, но, странное дело, возникла в сторонке, никак не вмешиваясь, ни осуждая, ни одобряя. Надя была сама по себе.

— Эй! Как тебя? — она высунула мокро-всклоченную голову в приоткрытую дверь. Он подошел. — Ой! — хихикнула она. — Не смотри, пожалуйста!

— Ах-ах! — хмыкнул он с издевкой. — Какая скромность!

— Я все с себя выстирала. Дай какую-нибудь рубашечку!

— Ну вот... — сказал он удовлетворенно и довольно, — совсем другое дело! — когда она возникла наконец, разругавшаяся, чистенькая, причесанная, в голубенькой рубаше, высоко открывавшей ее стройненькие ножки.

— Ф-фу! — вздохнула она, облегченно и счастливо улыбаясь, подходя к нему совсем близко. — Спасибо тебе! Ты хочешь? — спросила просто.

Он не ответил. Стал медленно расстегивать пуговики на ее груди.

...Через какое-то время он сел на краю кровати, стал закуривать.

— А тебя как звать-то? — спросил.

— Лизавета, — она живо повернула к нему лицо.

— А тебя?

— Дмитрий. Дима.

— Я тебя буду Митей звать.

— А чего же ты, Лизавета, так ореншь? — спросил он, не зная, о чем с ней говорить.

— Ой! Я орала, да? Я не нарочно, честное слово!

— Еще бы не хватало, чтобы нарочно... Ну, и что же ты, Лизавета, собираешься делать?

Она опять сделала лицо, готовое к плачу.

— Не знаю я...

— Муженек твой, насколько я понимаю...

— Он куда-то в командировку сбежал — специально, я знаю!

— Паспорт тоже сперли?

— А вот и нет! — радостно засмеялась она. — Он у администраторши, в Доме рыбака. Только у меня там не уплочено... Я потому оттуда и сделала ноги — хотела к Люське вещи перенести, ну, а паспорт, ду-маю, как-нибудь потом.

— Люська тебя по номерам и таскала?

— Зря ты так. Она хорошая женщина.

— Не сомневаюсь. Значит, все будет так (если не согласна, можешь хоть сейчас уходить): я здесь еще — неделю. Эту неделю ты живешь здесь, но носу никуда не высовываешь! Если узнаю, что ты даже за дверь вышла — выгоню! Ясно?

Она смотрела на него зачарованным взглядом.

— Потом я тебе беру билет и отправляю домой. Нечего тебе тут болтаться. Скурвишься, не успеешь и глазом моргнуть.

— Ой, Митя... — Она перевернулась лицом в подушку. — Можно, я буду вас Митей звать? Мне так плохо тут, стыдно!

— Ладно, ладно... — Он погладил ее по голове, как маленького ребенка. — Бывает. Считай, что тебе все приснилось.

— Да-а... А чемодан украли — тоже приснилось? Мне даже переодеться не во что! А этот гад еще и платки порвал!

— Вот и хорошо, что порвал — меньше соблазну будет в коридор высовываться.

— Вы... ты что ж, думаешь, что я совсем уж... такая? — Она вскинулась с видом оскорбленной невинности.

Он опять погладил ее по голове и засмеялся:

— Не такая, не такая. Успокойся. Эх ты, балда иванна! — У него было ощущение, что он ужасно взрослый, а это — дите малое. Но тут дите малое живо перевернулось под простыней, рука проворно шмыгнула по голой ноге его, отыскивая:

— Ты еще хочешь... — произнесло с удовлетворением и с превосходительностью в голосе.

— Только если пообещаешь, что орать не будешь.

— Обещаю, обещаю...

Опять, мельком, он подумал о Наде. А потом быстренько и косноязычно вот что придумал в оправдание свое: «Это то, что стоит между нами, между мной и Надей. Я это то уничтожаю...» — и на сей счет временно успокоился.

Утром, чуть свет, в номер постучали. Хмурый и злой, ДзПроклов открыл, с недоумением уставился

на лысоватого, худенького гражданина, который улыбаясь зрил на него.

— Не узнал?! Точно, не узнал! — заулыбался тот и того шире. — Я — Виктор, ну... муж Ирины!

— А-а! Ну, конечно! — ДзПроклову стало неловко. — Темно тут, а я к тому же и спросонья и с похмелья... Заходи!

Тот прошел, сел возле стола. Чувствовал себя явно стесненно.

— А я — только сменился, домой пришел, Ира рассказала — я сразу сюда! Извини, что в такую рань.

ДзПроклов глянул на часы — не было еще и восьми.

— Не бери в голову! — великодушно отозвался он. — Вот только утреннюю гимнастику сделаю... Тебе налить?

Тот засмутился: «Самую малость...»

— Будь здоров. Я рад видеть тебя, — сказал ДзПроклов.

— Я тоже рад. Мы все рады, — серьезно отозвался Витюша. — И я, и Ирина, и все. Хорошо, что ты приехал.

Витюша за прошедшие годы очень изменился — как бы подсох, заметно похмельел и, как у многих тут, неприятная егозливость обозначилась в нем, неуверенность некая, что-то приказчице: «Я здесь уже не хозяин...» А раньше именно хозяйская веская уверенность в них, в камчадалах, пленяла: они были свои люди на своей земле.

— Ты давай закусывай, — ДзПроклов повел рукой по столу, — небось, и позавтракать не успел?

— Не успел. Я, честно, так обрадовался, что ты приехал, — будет хоть кому рассказать, — что даже не раздевался. Сразу сюда побег. — Он рассмеялся дробеньким смешком. — Экие, однако, у тебя тут разносолы!

— Так и давай, рубай — не стесняйся! Ты сказал: «будет кому рассказать»? Что это значит?

— То и значит, — хмуро и почти враждебно ответил Витюша. — Наши меня уже не слушают. Они, по-моему, думают, что я маленькую крышей двинулся — со времен Надиной смерти. Главное, что ведь и сами не верят, но — молча! — Он взял ножик и стал увлеченно, выражение лица имея хищно-плотоядное, отрезать тончайший ломтик с головки сыра.

— Я так понимаю, что у тебя есть доводы серьезные?

Тот кивнул, не в состоянии оторваться от хирургической своей операции.

— Тогда давай выпьем-закусим, не отвлекаясь, а потом ты все мне расскажешь.

Витюша, вкушая сыр, лишь молча кивнул.

— У-ух! — сказала ДзПроклов. — Довели, я смотрю, Камчатку до кондиции. Слез не хватает смотреть.

— Ет-то точно! — бодро отозвался Витюша, храня на лице счастливое послевкусие. — «Были мы люди, а стали люде», как сказал Осип Эмильич. Между прочим, хорошего сыру я не едал уже года три.

— А это — хороший сыр?

— Очень! На удивление! Хорошо созревший, молоко — летнее, с хорошего разнотравья, а сыворотка какая-то — потрясающая, я такой ни разу не встречал!

ДзПроклов поглядел на Витюшу уважительно.

— Тебя надо с одним старичком тут свести. Тоже

— очень и очень уважает сырок! Организуете здесь секту сырофилов, симпозиумы будете проводить, международные конгрессы...

— Секту организовать не фокус. Фокус — сыр приобрести.

Вспомнив своего соседа по самолету («Как его? Извольский... — точно! какое хорошее имя! — Леонтий, Иванович...»), ДзПроклов подумал: надо будет к старику заглянуть, сыру купить, цветочков — «внуке», которая, зараза, так и норовит утечь на материк, даже и не познакомившись с ДзПрокловым... просто посидеть в тишине, поразговаривать о жизни...

И тотчас поймал себя на ощущении: он как бы и так и сяк старается отодвинуть момент, когда Витюша начнет выкладывать свои доводы о Надиной непонятной смерти. И, заметив это, плеснул по стаканам коньяк и сказал отважно:

— Выпьем! За Надю!

— Выпьем. За Надю, — сказал, мигом посерьезневший, Витюша. — За невинно убиенную Надю!

ДзПроклов взял сигарету, закурил, перешел сидеть в кресло.

— Давай. Излагай.

— Ты веришь, Дима, что Надя могла покончить самоубийством?

— Нет, — ответил ДзПроклов.

— Могла ли она сделать что-либо подобное над собой, не попытавшись объяснить это каким-то образом, не оставив хотя бы записку?

— Нет. Конечно, нет. Только давай — попроще! Что ты, как адвокат какой-нибудь, прости Господи! Надя (какой мы ее знали) не могла покончить с собой. Да. Записки не оставила. Это странно? Да. Что еще?

— Много чего... Ну, например, на запястьях у нее были синяки. Кто-то держал ее за руки.

— «Семейная сцена». Почему бы и нет?

— Хе! Голобородько что-то похожее изложил.

— Что еще?

— Замок. Замок никак не был поврежден. Только вот на другой день после похорон Голобородько замок сменил.

— Ну и что?

— За месяц — за полтора до этого из всех сил намекал, что собирает материал на нашенскую мафию, что ему по телефону звонят, угрожают расправой. Писал даже письма в гбэз. Егорку на материк отправил. Надю уговаривал тоже уехать — квартиру продать, дом на Кавказе продать...

— За месяц — за полтора, говоришь?

Они с Витюшей понимали друг друга, считай, без слов. Но до поры до времени считали себя как бы не вправе говорить в открытую.

— Игорец — и вдруг собирает материал на какую-то там мафию?

— А я тебе что говорю?

— Намакал, что это — возможно, не самоубийство, а?

— Очень глухо, очень глухо!

— Ишь ты... Ну, предположим, что он — такой умный и что это — вторая линия его обороны.

— А он ведь не дурак был, — неожиданно заметил Витюша.

— Выходит, да. Хотя я был о нем другого мнения. Двадцать восьмого сентября он, ясное дело, был у всех на виду?

Витюша рассмеялся. Ему явно удовольствие до-

ставлял разговор с ДзПрокловым. Они об одном говорили.

— Был всекамчатский съезд барыг и ворюг — съезд, пардон, предпринимателей, я хочу сказать, и деньгоотнимателей, — он с самого утра и до вечера — до того момента, как ему позвонили, был в нашем «кремлевском дворце съездов». Алиби, то есть, двести процентов.

— Как это все выглядело?

— В четыре часа соседка сверху пришла с работы. Услышала запах газа. Около пяти позвонила. В полшестого приехал «газ». Квартиру вскрыли. Увидели.

— Почему она была дома? День был будний?

— Будний. Она накануне дежурила по номеру. Должна была выйти после обеда.

— Что-то чересчур уж хитроумно! — ДзПроклов сморщился, как от горького. — Не верю я, хоть убей, что этот... лакей ведь! — мог такое замыслить! Ну ладно, замыслить мог, но — сделать?!

— Я же тебе говорю, и ты, и мы все ой как недооценивали этого товарища!

— Ладно. Ты прав. Давай глядеть на него серьезно. Ну, замыслил. Ну, решил. Ну, все просчитал. А кто все это продумать должен был? Он ведь в это время, как ты хорошо сказал, возле «деньгоотнимателей» крутился? Нанял кого-то? Но для этого он связи какие-то должен иметь, не знаю... ходы... Не было у него таких ходов! — он ведь привык по начальственным приемным тереться, его мир был возле сильных мира сего, я эту породу знаю!

— Может быть, Дима, уже и не знаешь. То есть, ты знал ее, эту породу, но она — с тех времен — очень плавным образом видоизменилась! Я тоже над этим много размышлял, Дима. И знаешь, к чему пришел? — Очень хорошо, что с нами все вот это случилось. Почему хорошо? Да потому, что дерьмо из человека полезло воодушевленно! Не понимаешь? Ну вот пример: жил рядом с тобой человек — одни песни пел, одни стихи читал, одним и тем же возмущался, одно и то же боготворил — но бабахнули по нам новыми этими реальностями, и — можно невооруженным глазом наблюдать, кто чего стоит, кто чего в себе скрывал, кто чего в себе подавлял... Хорошо это, хотя и печально. Пустынька вокруг. И все же хорошо: уже знаешь, кто, почем и почему. Голобородько, признайся, никогда ведь нашим не был?

— Вам-то лучше знать. Вы с ним рядышком обитали.

— Он — рядом с Надей обитал — только поэтому мы его принимали.

— Я заметил.

— Мы все заметили. Когда ты приехал, и Надя и Голобородько...

— Ой! Только не надо — солью на раны! Давай грубо и просто! Мы — я и ты — не сомневаемся, что Голобородько сотворил это. Так?

— Так.

— Если мы — я и ты — докажем это себе, мы его приговариваем?

— Да. Дай только выпить, я об этом тыщу раз думал, а это так, оказывается, нелегко.

— Ну, давай выпьем.

И они вдруг провально замолчали — каждый о своем.

После паузы Витюша сказал жестко:

— Ты еще главного не знаешь. Перед чем — честно признаюсь! — я в тупике. Почему наши мили-

цейские никакого дела не открыли? Они обнаружили алкоголь. В крови. Много алкоголя.

— Бред, — быстро сказал ДэПроклов. — Бред. У нее была аллергия на спирт.

— Но ты, Дима, думай-передумай все то, что я тебе рассказал. У тебя-то, в отличие от меня, взгляд не замыленный.

ДэПроклов вдруг изумился:

— Думали ли мы, гадали ли мы, что будем с тобой о *таком* говорить?

— Не думали, не гадали. Мы о другом думали. А в это время думали за нас: о чем и как мы должны думать.

— Слушай! Ну, а не могло ли с Надей такое все-таки случиться? Отчаяние, Голобородько этот рядом, некуда деться... Я еще, сволочь, пропал с концами! Женщины тоже иногда загибают — у них это со скоростью катастрофы... Ф-фу! До чего же дико такое о Наде предполагать!

— Дико... — согласился Витюша. — Но я и об этом думал. Здесь я целиком и полностью на Ирку полагаюсь — она бы мгновенно заметила. А она ничего не замечала.

— Ну-ка, Витя, давай-ка еще разок повторим. Ты не сомневаешься, что это — Голобородько?

— Нет.

— Ты сомневаешься, что это — убийство?

Витя проглотил что-то сухое в горле, даже головой дернул и с усилием выдавил:

— Нет, не сомневаюсь. Но как доказать?

— Кому?! — ДэПроклов рассмеялся устало и зло. — Вашей милиции доказывать? Прокуратуре доказывать? Ты покажи мне перстом на того человека, которому мы с тобой должны принести свои доказательства.

Витя сидел, слушающе поникнув головой.

— Разговор сейчас не о том, «как доказать», а о том, милый ты мой друг, а о том, «как наказать»!

— Мне это не нравится, — быстро, уверенно и сухо сказал Витюша.

— Зато я прямо-таки купаюсь в наслаждении.

— ...Мне не нравится, — повторил Витюша. — Пусть сейчас мы имеем то, что имеем. Пусть нет закона, но это не повод для порядочных людей тоже жить по законам беззакония. Если и мы с тобой... то тогда уже всему конец! Ты понимаешь, о чем я говорю? Я тебе завтра человека подошлю, который доказателем был на этом происшествии...

ДэПроклов кисло засмеялся:

— Хорошо сказал: «происшествие». Именно так: случилось с нами, Витя, именно происшествие. Но ты присылай, присылай! Нам ведь что, добродушным, надобно? Чтобы нам уже деваться некуда было от добродушия своего! Чтобы мы с тобой, Витюша, добродушные, наконец-то вынуждены стали обороняться — добродушными, мягкими своими ручонками! — Он в сердцах сплюнул.

— Ты здорово изменился, — заметил Витя. — Как ты жил все это время? Ты ведь не рассказывал...

ДэПроклов недобро усмехнулся:

— Очень хочется знать?

— Если не хочешь, не рассказывай.

— Хорошо жил. Дослужился до сторожа на личной даче одного, как ты выразился, деньгоотнимателя. Пятнадцать штурк в месяц. Пьянство. Бичевание. И само-бичевание. И бичевание в прямом смысле этого слова. Все.

— Сейчас-то ты, однако, на бича не очень похож.

— Временно.

Они замолчали.

Никогда в жизни еще не чувствовал ДэПроклов такого отчетливого и отчаянного отвращения. Ко всему: и к этому сумрачному номеру, и к этой сумрачной стране за окном, и к этой сумрачной безнадежной тоске, которая тихонько творилась в душе у него, сидящего в сумрачном номере сумеречной гулкой гостиницы посреди сумрачной страны Камчатки.

Он был полон отвращения к себе самому, в первую очередь. Владевший в этой жизни лишь одним-единственным — тем, что он называл словоощущением «сам по себе» — он сейчас покорно, устало и внятно слышал: его ведут. Он идет отнюдь не сам и уж тем более не «сам по себе», а его ведут: ведут обстоятельства, ведет яркая ненависть, ведет жажда мести, ведет ощущение неизбежной вины перед Надей, — и он уже слышит в себе холодную способность убивать, и в этом он уже мало чем отличается от того, кого собирается лишить жизни, и уж совсем неразличим среди тех, кто отвращение ему внушает и кто составляет сейчас (так ему казалось) содержание того вяло кипящего потока, который властно и просто вовлек, включил его, ДэПроклова, в свое неслепешно торжествующее человекопротивное существование.

С покорно унывной тоской, с ощущением поражения он уже знал о себе: он решил, он решился, он решил себя. И единственное по-настоящему утешающее было этому оправдание — если словами пересказать, то вот какое оправдание: мена! За Надю, за ее страдания при жизни, за ее (и по его вине!) так мимо прожитую жизнь, за страшную горечь изумления, когда эту жизнь насильственно и бесцеремонно, с хрустом выдирали из ее нежного, горячо живущего, такого еще живого существа, — за все это такой ли уж щедрой будет цена, которую заплатит он? — вот это отвращение, с каким он уже живет, и с каким наверняка он будет жить и все оставшиеся дни?

О Голобородько он не думал вовсе.

Человек разве думает о насекомом, когда жестоким перстом с лицом, брезгливостью искаженным, давит его, с пакостным мстительным наслаждением чужа слабенький гибельный треск хитинового покрова?

— Я знаю, как это было сделано, — сказал вдруг ДэПроклов. Сказал «вдруг» даже для себя самого. Догадка выпрыгнула, как чертик из табакерки. И все встало в ту же секунду на свои места. Грех сказать, но ему стало даже легко.

— Не была она мертвецки пьяная, — сказал он. — Не лезла она головой в духовку. Не собиралась она умирать.

— Да. Я тоже так считаю. Но они обнаружили...

— Мне рассказывал один очень знающий собутыльник, как делается смерть от алкогольной интоксикации: водка, шприц, вена. Находят в холодном подъезде, или на бульваре, на лавочке, или в собственном доме (в окружении, само собой, пустых бутылок) — кто в наше сучье время будет разбираться? В крови — чудовищный процент спиртаги — ура! Никакого, стало быть, убийства, никакого, стало быть, самоубийства. Всего лишь навсего, слава те Господи, бытовое пьянство.

— Неужели же ничего никогда нельзя доказать?!
— наивно воскликнул Витя.

— Если очень захотеть. Но с Надей, как я понимаю, все прошло именно так, как им и хотелось: простенькое, бытовое самоубийство, на почве всеми подтвержденной депрессии и так далее...

— Ты сказал: «им»?

— Конечно, «им». Голобородько сам, тем более один, это сделать не мог. Вообще один человек это сделать не мог — минимум было двое. Я не знаю, какой у него был круг знакомств в последнее время, но вполне может быть... Слушай, а какие у Голобородьки могли быть причины для этого? Какая-то другая женщина? Деньги? Что-то, например, она о нем узнала такое, что?..

— Деньги! — быстро и убежденно сказал Витюша. — Только деньги! Он на деньгах был сдвинутый. Когда весь этот бардак начался (тебе Ирка, может быть, рассказывала), мы Игорька наконец-то во всей красе увидели. Тыфу! — он не выдержал и сморщился в гримасе брезгливости.

— Ладно. Это я слышал. Но ведь у Нади, насколько я знаю, денег никаких особых не было, да и быть, по-моему, не могло!

Витюша посмотрел превосходительно.

— А вот тут ты, Дима, ошибаешься. Крупно ошибаешься. Во-первых, ее дом на Кавказе. После смерти родителей это был ее дом. Во-вторых, квартира здесь, в городе. Он ее, между прочим, нашим черненьким продал. И можно только догадываться, за какие миллионы продал. Он зубами клал, *так* ему нужны были деньги. Он, вишь ли, собственное дело собирался открыть... Теперь смотри: Надя исчезает, единственный наследник оказывается — кто? У Нади, заметь, ни братьев, ни сестер, ни дядек, ни теток не было. Так что были у Нади деньги, черт бы их подрал!

— А уехал он отсюда, готов поспорить, не раньше чем через полгода. Когда можно уже вступать в права наследования, так?

— Так.

— Вот, значит, как... — непонятно сказал ДзПроклов. Потом, после молчания, вздохнул: — Эх, Надя, Надя! Чем же ты так Бога огорчила?

— У меня знакомый врач есть, — сказал Витя. — Тебе он нужен? Он читал данные экспертизы, может что-нибудь расскажет?..

— Кто такой?

— Сергачев некто. Хороший парень.

ДзПроклов вдруг разудлился:

— Генка?!

— Вроде бы...

— Звони!

Все еще разнеженно улыбаясь, ДзПроклов налил по стаканам, немного выпил, стал успокоенно есть. Именно Генка Сергачев нужен был сейчас.

Одно из самых «камчатских» воспоминаний о Камчатке было у него связано именно с этим светлоголовым, вообще — очень каким-то светлым, спокойным, спокойно-веселым, уверенным в себе и в жизни, ясно глядящим на мир и на себя в этом мире, наверняка очень талантливым мужиком. Родом он был ленинградец, но породой — камчадал. Он и сам, похоже, мгновенно понял это, попав по распределению на Камчатку, — нигде, он даже говорил об этом, не будет ему так укладисто душой, он понял, как здесь — среди этой природы, среди этих простых, ясных, знающих свою цену людей, в этом воздухе —

как бы это сказать, воздухе все еще первооткрывательства, первопроходчества, которым все здесь дышало.

Он вписался в Камчатку в первую же секунду пребывания на ней. И ничуть ДзПроклов не удивился, когда Витюша сказал о Генке: «хороший парень» — просто, без нажима, как о качестве человека сказал: «хороший парень».

Тут и еще одно корыстное присутствовало ощущение: оскорбительно было ДзПроклову видеть Камчатку оскорбленной, униженной и поработанной, и ДзПроклов жаждал избавиться от этого оскорбляющего и унижающего, и поработавшего его чувства — и тут только Сергачев мог сказать свое слово.

На кромке острова Беринга, в сумерках, чуть выше верхней линии прибоя, который обозначил в этот час Великий Тихий Океан, они сидели тогда с Генкой Сергачевым, разувшись, бутылочка разведенного спирта присутствовала рядом, взрезанная банка каспийских килек, пара кусков черного хлеба, экспроприированных у больных местной больницы (Сергачев, кажется, инспектировал здешнюю обитель скорби и печалей), но не об том речь! Речь о том, как хорошо, как молча и глубоко мысленно они сидели, глядя на Великий Океан, перекидываясь время от времени пустяковыми какими-то словами, но ни на секунду не забывая при этом, что сидят они именно на берегу Великого Океана, и такая — Господи Боже! — такая свобода была в них, такой Покой, такая Воля, что не хотелось подниматься отсюда никогда, да и зачем?

— Шесть секунд! — бодро и обрадованно воскликнул Генка, едва услышав голос ДзПроклова. — Витюша сказал, что тебе нужны результаты вскрытия? Попробую добыть. Если, конечно, архив на месте. Готовь бутылку, а кильки (видишь, я помню) у меня всегда есть.

Он появился через полчаса, и ДзПроклов с удовольствием удостоверился, что Сергачев — такой же, как и прежде: ясное оживление, веселие и бодрость воцарились в номере, когда он вошел. Даже и дышать стало легче. И даже Витюша, сумрачно озабоченный да и, видимо, просто усталый после ночного дежурства, заулыбался, пожимая руку старому своему знакомому.

— Держи! Читай! — Сергачев кинул на стол уже довольно ветхую, тощую картонную папочку. — Беллетристика, правда, не для слабонервных. Я так и не понял, какого хрена тебе это нужно?

ДзПроклова вдруг жестоко закоробило: он представил себе это чтение (и все, что написано, он знал, будет написано о Наде!), и рука его, уже было готовая взять папку, сама собой отдернулась.

— Нет уж, брат Сергачев, для тебя это дело обычное, а я — человек слабый. Меня интересует единственное: вены на руках. Глянь, ваши потрошители не проглядели следы от шприца. Мне кажется, там должно быть про это. Если, конечно, не проглядели.

Сергачев посмотрел на него внимательно и недоуменно.

— Понимаешь, — сказал Виктор, — эта женщина и Димка... ну, в общем, ты понимаешь. И у нас очень сильные подозрения, что Надя не сама ушла.

— Ну, с вами не соскучишься! — не к месту рассмехался Сергачев и взял папку.

Очень привычным жестом перелистал странички

и вдруг с изумлением воззрился на ДзПроклова:

— Есть!

Затем опять перелистал странички, почитал в нескольких местах, недоуменно и пораженно хмыкнул:

— Ну, пинкертоны! (Я имею в виду — наши пинкертоны...) Не заметить таких вещей! Диагноз: алкогольная интоксикация, а алкоголь — только в крови, в желудке — ни грамма! Это что же, Дима, выходит?.. Ей, ты думаешь, выпрыснули спирт?

— Думаю.

— Чисто технически это ведь только с добровольного согласия можно проделать, или...

— Вот именно, что «или», — сказал Виктор. — Ты не обратил внимание, кстати, на гематомы на запястьях.

И они замолчали надолго.

— Что ж ты собираешься теперь делать? — осторожно спросил Виктор.

— Что делать? Искать. И мы-то с тобой, кажется, наверняка знаем, кого искать. Все-таки я попробую перепроверить. Чтобы лишнего греха на душу не взять... А теперь, не пора ли нам, Геннадий батькович, выпить за встречу? Доставай свои знаменитые каспийские кильки! (Где ты их только добываешь? В России я что-то давненько не видел такой экзотики.)

Он сознательно, хотя и не без усилия, сменил и тональность, и тему. Он не хотел ушлыпать вопрос о том, как именно он будет «перепроверять». Ему уже и сейчас тошнохонько было от ответа на этот вопрос...

К удивлению ДзПроклова, телефон в Москве откликнулся.

— Валериана Валериановича, будьте любезны... — с необычайной вежливостью попросил он. Слышимость была великолепной.

— Одну секундочку, — точно с такой же вежливостью отозвался милейший женский голосок. — Переключаю.

Что-то щелкнуло, однако затем послышался не занудный баритон серенького, а все тот же женский голосок, однако теперь записанный на автоответчик и с еще большей, чем только что, любезностью попросивший сообщить все, что ни пожелает абонент, именно ему, автоответчику, с неременной гарантией, что все сообщенное будет в течение получаса известно Валериану Валериановичу, спасибо, говорите.

— Добрый день, Валериан Валерианович, добрый-добрый! В эфире небезызвестный вам журналист, который находится в командировке на Камчатке по небезызвестному вам заданию государственной важности. Нашего общего знакомого я со стопроцентной гарантией определил. Проблема однако в том, что он отсюда слинял. Дабы определить, где он сейчас, ай вонт ту мит виз сериоз мен оф* Петропавловск-Камчатский, виз самые что ни на есть сериоз мен. Я задам им только один-единственный вопрос. Затем мне придется, наверняка, отправиться либо на Кавказ, либо на юг независимой Украины, в связи с чем, возможно, возникнут проблемы материального свойства, поскольку авиационный овес нынче невозможно дорог, так что уж будьте любезны, либо телеграфом, либо через местных, преданные вам кадры, решите этот вопрос. Мой телефон в гостинице

* Я хотел бы встретиться с серьезными людьми в... (англ.)

«Авача» (ДзПроклов поглядел на аппарат и продиктовал). За сим примите мои уверения в моем необыкновенном вами восхищении, а также и пожелания вам больших успехов как на производственной ниве, так и в личной жизни! Фэрвэл май дженерал! — и ДзПроклов с облегчением положил трубку.

И чего это я так изгилялся, с удивлением подумал он. И сам же ответил: «А затем, что надеюсь, наверное, что Валериан-серенький обидится и не станет отвечать на столь ерническое мое послание. Только не обидится он, не надейся. Он же сам сказал, что не привык никогда никому ничего прощать. Ему Игорек сейчас важнее всяческих пустяковых обид. После Игорька он, возможно, вспомнит и обо мне и об этом моем издевательстве. Ну и хрен с ним!»

А потом, через некоторое время подумал вслед: «А ведь я его боюсь!..»

Ему стало противно, тем более, что по зрелому размышлению и после пары доз коньяка он пришел к мысли, что ему и в самом деле есть чего бояться.

«Пожалее Валерианых своих денежек, сочтет, что ему одной только фамилии Игорька достаточно, выскажет здешним своим ребятишкам пожелание некое — и прощай, Дима Проклятиков! Вытрясут из тебя душу заодно с фамилией Голобородько, и почиешь ты в камчатской земле или, скорее всего, на дне прекрасной Авачинской бухты, или попросту бросят на пустыре, обольют бензинчиком, чиркнут спичкой — и в прах превратятся все твои мечтания о нежной встрече с Игорьком!»

Опять он был уже зело пьян.

Заметно, к собственному удивлению, пошатываясь, он отправился в буфет и возобновил коньячные запасы, затем, смутно вспомнив старичка самолетного, купил сыру — и нашего, и заморского — шампанского, колбас («Наверняка, как и все камчадалы порядочные, голодует...») и твердо решил: «Схожу-ка я в гости к нему! Очищусь, так сказать, интеллигентной беседой. Заодно и на внуку его взгляну. Однако, уже в коридоре, его так пьяно шарахнуло, что, едва не брякнувшись, он резонно подумал: «Куды тебе, брат Проклятиков, ходить по гостям да по бабам! Тебе бы до кресла добраться... Завтра схожу. Эти завтра, наверняка, еще не позвонят».

Он добил себя еще одним полустаканом зелья, рухнул на кровать и сказал себе, что хорошо бы опять сейчас думать о Лизе-Лизавете, а не о Наде и не о том гнусном, что над ней сотворили, хотя, как полагается бывшему влюбленному, тебе, Проклятиков, о ней полагается думать вседневно и всечасно, но все же лучше бы о Лизе-Лизавете, ах ты, Проклятиков-Проклятиков, вот именно, что уже никакой не ДзПроклов, а самый что ни на есть ничтожный Проклятиков, и все же о Лизе-Лизавете, о том, например, как бедовали в бедненьком номерке крайкомовского общежития во Владивостоке, питались исключительно красной икрой, которой был полон чемодан, а хлеб приносила иногда, кусочек-другой, уборщица баба Лида...

Она действительно прожила тогда целую неделю взаперти, как послушный, нашедший, наконец, призор котенок, и ничуть не возражала, когда, уходя в город по делам, он запирал номер на ключ (коридорные были в курсе дела и, уже привыкшие за месяц к ДзПроклову и явно симпатизировавшие ему, в номер не ломились). Ему даже удалось на пару дней

слетать в Долину Гейзеров и еще на один — на ближайшую погранзаставу.

Несколько раз встречался с Надей — и в газете, и у нее дома, в отсутствие Голобородьки.

Что-то изменилось в отношениях между ним и Надей — они стали почему-то безмерно печальными, эти отношения, и еще более нежными, и уже прощальными.

Провожать его в аэропорт она не поехала. Самолет улетел на рассвете, и как бы она, в самом деле, объяснила муженьку своему ненаглядному, куда она уходит в такую рань?.. ДзПроклов, впрочем, и не настаивал. Что, в свою очередь, мог бы он ей сказать, когда она увидела бы рядом с ним Лизу-Лизавету?

Она, Надя, чувствовала, кажется, что эта самая, разнесчастная Лизавета присутствует. Однажды, грустно усмехнувшись, погладила его по шее, сказала: «Ах, Дима-Дима...» — без всякой укоризны, без особой печали, немного даже по-матерински. Вернувшись домой, он увидел в зеркале, что на шее, в том самом месте, где она погладила, багровел поцелуйный след.

Денег на два билета до Москвы не хватало. Они долетели лишь до Владивостока. Там и стали куковать в ожидании телеграфного перевода из Москвы, устроившись в паршивеньком общежитии крайкома партии. Партийцев, впрочем, там и не видать было. Жила всякая случайная публика, в основном командировочные.

Соседом по комнатенке у них (Лизавета, ясное дело, проживала тайком) был некий Серега из Брянска, бедовавший во Владике вот уже месяца два.

История с ним приключилась занятная: его командировали сюда для налажки конвейера по разливке чернил, он справился со своей задачей недели за две, телеграфно отрапортовал своему начальству о производственном успехе, попросил ускорить выплату зарплат, дабы вернуться домой, и стал ждать. Ждал неделю, другую — Брянск не подавал признаков жизни. Он на предпоследние деньги позвонил — телефон его родного предприятия молчал. На последние деньги послал телеграмму СОС — в ответ ему была все та же тишина. Чернильный завод его города будто провалился сквозь землю. Он занял денег и позвонил еще — телефоны молчали. Послал еще несколько отчаянных телеграмм — и на завод, и домой. Без ответа. Должно быть, не только чернильный завод, но и сам город Брянск провалился сквозь землю. Короче, когда ДзПроклов с Лизой-Лизаветой подселились к нему, он пребывал в состоянии и духа и тела катастрофическом. Немудрено, что новым своим соседям он обрадовался несказанно — на икру и на прочие морепродукты, которыми камчадалы снабдили ДзПроклова в изобилии, набросился страстно и молча, лишь иногда поднимая на своих кормильцев ясный и грустно-благодарный взгляд голубеньких глаз.

Замечательно, что каждое утро он исправно уходил на работу и исправнейшим образом проводил возле своего конвейера предназначенные КЗоТом восемь часов. На вопрос ДзПроклова: «Серега! Ну, какого ты хрена туда ходишь?!» — отвечал загадочно и твердо: «Ну а как же?..»

Каждый раз, возвращаясь со своей «работы», неизменно приносил (должно быть, в качестве платы за икру) пару-тройку пузырьков с чернилами. Вско-

ре уже весь подоконник был заставлен фиолетовыми склянками. На все возражения ДзПроклова отвечал однообразно: «Ну как же, Дима? Ты ж ведь журналист — тебе нужно...»

У ДзПроклова с переводом тоже почему-то закондилось, остатки денег, как ни крохоборничали, через три дня закончились, так что еще с неделю они голодали коллективно — если, конечно, можно голодным рационом назвать красную в изобилии икру, чаще всего без хлеба, и медицинский, мелкими дозами, спирт, литровую бутылку которого сунул на прощание Генка Сергачев.

В те дни в городе хозяйничал ветер. Это был какой-то дурной ветер — упорный, упрямый, ни на секунду не пресекающийся, надоедливый ветер с океана. Сначала ДзПроклову даже нравился этот постоянный гул за окном, очень скоро однако он стал наводить муторную тихо-свирепую тоску.

«Владик» был очень красив — весь на сопках, с белыми зданиями, вознесенными над бухтой, где хищно-изящные стояли на якорях серо-зеленые военные корабли.

В первый же день, впрочем, ДзПроклов понял, что жить-то среди этой красоты, наверняка, не сахар: с горки на горку побродив по городу часика два под занудным ветром, он уже умотался насмерть и после этого предпочел валяться в своей комнатенке, лишь раз в день совершая бесплодные набег на главный почтамт, благо он находился не слишком далеко от их жилища.

Лежал на кособокой кровати, зрил в шелудивую побелку потолка, внимательно разглядывал блеклые обои с отчетливыми следами когда-то убиенных здесь то ли клопов, то ли комаров, и в нем, чем дальше, тем отчетливее, ни на секунду, казалось, не прекращаясь, ныло сладкое, горестное ощущение какой-то безвозвратной потери.

Вечерами, когда, измученный своей кипучей трудовой деятельностью, Серега засыпал, когда и Лиза-Лизавета, наконец, утомлялась, он садился к столу, плескал в треснутую чашку разведенного спирта и под душу изымающий гуд ветра за окном писал бесконечные полупьяные, полулитературные письма-разговоры Наде.

«...Где-то я слышал про фён (а может, про мистраль) — про тот ветер, который дует вечерами то ли с гор, то ли с моря и мучает людей непонятными ощущениями, странной тоской — для меня-то теперь понятными ощущениями. Потому понятными, что в этом городе, в который я приехал от тебя, уехал от тебя, убежал от тебя — и днем, и вечером, и всю ночь напролет дует этот самый литературный ветер, от которого, ты знаешь, мне уже почти не хочется ни писать, ни снимать, ни жить. Ты уж прости, Надя, что я одеваю тебя своей тоской — была бы радость, я бы с радостью радостью поделился...

...Трудновато мне стало жить, очень, и я в очень большой степени убеждаю себя в необходимости жить, используя эту вот возможность: писать тебе, говорить с тобой, обретенной во время этой моей поездки на Камчатку. У меня ведь все-таки останется шанс, где-то впереди, видеть тебя, говорить с тобой, касаться тебя — еще, может быть, целую жизнь. И, зная это, зачем же я отдам свою разединственную, распоследнюю жизнь в угоду настроению, рожденному ветром этим проклятым?.. А он все дует, гудит безостановочно, несется куда-то за окном, этот

ветер, и ночью опять, я знаю, будут печальные, нежные, душу надрывающие сны о тебе, с тобой и — без тебя. «Без тебя» — вот в чем все дело.

...Не отправлю я тебе этого письма. (Да и не письмо это вовсе — что-то другое.) Начнешь ведь сострадать, беспокоиться — зачем тебе все это? И за что? За то, что не совсем и не навсегда забыла меня? Так тебе за это — одно только благодарение мое... Господи! Что же я наделал с собой, Надя, приехав к тебе!..» —

вот такие письма писал ДзПроклов, сидя в тесной и убогой комнатенке крайкомовского общежития под равномерный, упорный, нудный и надоедливый ветер за окном, при плохом свете покаянной, с прожженным пластмассовым абажуром лампы. И вот примерно такие письма носила, оказывается, с собой, читала-перечитывала Надя, и вот ведь какая ты сволочь, Проклятиков! — подумал он сквозь сон, — этими письмами ты ведь почти сознательно старался разбередить ей душу, уязвить поглубже ее душу, чуть не рану ли нанести — для чего? ради какой такой выгоды?.. А ради того, что — *впрок!* Вот оно, это слово: «впрок!» — чтобы потом когда-нибудь, когда вернешься на Камчатку, тебя поджидала бы Надя, как бы сказать, уже готовенькая, твоими письменными нежностями вконец отравленная, измученная и сладко-покорная, но ты ведь не хотел этого, ДзПроклов? — ты ведь любил ее, она одну только нежность и нежный печальный тон вызывала в твоей душе! — а вот Проклятиков, как оказалось, хотел, и сидел в полутемной комнатенке общежития и сочинял, полупьяненький, искренние письма, самые искренние из тех, какие он когда-либо в жизни писал.

Он ожидал, что все будет выглядеть как-то поинтому — таинственной, что ли, конспиративнее, *детективнее*. А все произошло куда как просто. Он, смешно сказать, даже некое разочарование испытал.

Утром, зайдя в буфет, лишь мельком внимание обратил на молоденького, крепенького, довольно приглядного паренька в неброской, но явно иностранного пошива куртке, хорошо стриженного, очень спокойного и очень спокойно вкушающего сметану из полупустого уже стакана.

Проклятиков взял баночку йогурта, вышел и, вставляя ключ в замочную скважину, вдруг услышал за спиной:

— Это вы — из Москвы?

— Я.

С неприятным удивлением он услышал, как сердце у него внезапно и гулко бухнуло.

Сзади стоял тот самый паренек из буфета и вытирал рот платочком.

— А фамилия?..

— Проклов. А что?

— Вы ж звонили?

— Звонил. Но — в Москву.

— Я и говорю: звонили.

— Ну и что из этого?

— Вы — звонили. Меня — к вам послали.

— Ну, тогда заходите, — сказал Проклятиков, открывая дверь.

— Я вас лучше в машине подожду, ладно?

— Ладно. Я сейчас — только вот это поставлю, — он показал на йогурт. Зашел в номер, намеренно оставив дверь открытой, чтоб тот видел, что номер

пуст и что он никуда не звонит, никого не предупреждает, снял с вешалки куртку, кепку и тут же вышел.

Паренек со скучающим видом ждал.

Коридор был пуст и полутемен. Ни души не было в этом коридоре, и Проклятиков подумал, что паренек — молодец, этак-то выбрав и место и время для встречи.

Они спустились по пустой лестнице, прошли пустой вестибюль, вышли на улицу.

Среди трех-четырех машин, скучающих у подъезда, стоял бежевый «жигуленок».

Паренек открыл машину, сел, гостеприимно распахнул дверцу и Проклятикову.

— Куда поедет? — спросил он, полувытряхнув из пачки «Мальборо» сигареты и знаком угощая своего пассажира.

— Вам виднее, — отвечал Проклятиков, закуривая.

— Хе, — чуть заметно усмехнулся этот совершенно невозмутимый, совершенно естественный, великолепно спокойный паренек, — это зависит от того, что именно вам нужно.

Проклятиков набрал в грудь воздуха, подержал его там и стал с осторожностью формулировать:

— Значит, так... Три года назад — в конце сентября — на Профсоюзной, дом семь, квартира двенадцать — самоубийство — отравление газом. Меня интересует одно-единственное: *кто заказывал*, если, конечно, заказывал. Все.

Проклятиков выговорил все это, слепо уставившись перед собой.

Потом — не без беспокойства — глянул на паренька.

Тот сидел все так же невозмутимо, но теперь-то некая сосредоточенность появилась в выражении его лица.

Он походил сейчас на таксиста, которому сказали адрес и который обдумывает маршрут, каким повезет пассажира.

Потом повернулся к Проклятикову и с неподдельным интересом посмотрел:

— А зачем вам это?

— Это была *моя* (почему-то он хотел сказать «баба», но удержался) женщина, — прозвучало это подобающе: глухо, с едва уловимой жадной мненья.

— Ну, поехали! — воскликнул вдруг оживленно и освобожденно парень и врубил передачу.

От гостиницы они свернули сразу налево, потом по шоссе направо.

— Я еще об одном договаривался... — начал Проклятиков.

Паренек, не дав договорить, сунулся в карман и простейшим жестом, продолжая следить дорогу, протянул Проклятикову конверт.

Тот взял его, стараясь взять тоже как можно пренебрежительнее, и сунул в карман.

«Ну-у, Валерьяныч!» — сказал он себе уважительно, с легким даже оттенком ужаса. — Это ж целая империя, подумать только! Не зря, значит, целый автобус охранников возле тебя. А ведь тля был, хоть и немало, по тем временам, вознесенная... инструкторишка ничтожный, возле марксизма с ленинизмом кормящийся... пшик-человечишко, если всерьез глядеть... А вот, поди ж ты, *кто* в тебе, в пружину свернувшись, жи! Хотя чего удивляться, порода-то одна: жажда властвовать над себе подобными, пове-

левать, карать, миловать. Теперь-то понятно, почему при таком-то могуществе вспомнил (да ведь наверняка никогда и не забывал!) о каком-то там авторе анонимок. Ох, видно, здорово ушибло тебя тогда! Какой, наверное, ужас падения испытал, какой сокрушительный крах, какой мрак, какое ощущение тупика, какое озлобленное, какое, наверное, бессильное чувство унижения!.. — мудрено ли, что и через много лет живехонька осталась в душе жажда крови? Теперь я уже не удивляюсь, почему самолично снизошел до гадюшника моего (Господи! как давно это было! да и было ли?), беседы какой-никакой удостоил, до Домодедова прокатил...»

— Приехали, — сказал паренек, тормознув машину, едва свернув с шоссе на улицу, ведущую в новостройки. — Вы пока посидите здесь (сказалось это у него твердо, с командными нотками) никуда не выезжайте.

— Яволь! — откликнулся Проклятиков.

Стал ждать.

Это был район пятиэтажек — такой же унылый, как и в любой другой части страны.

Дрянно построенные, обшарпанные ветрами и дождями, блеклого цвета дома, с балконами, густо завешанными тряпьем. Голые дворы, где ни деревца не росло, ни кустика. Какие-то покосившиеся детские грибочки. Ломаные скамейки. Ржавые стенки гаражей, исписанные слабоумной матерщиной и безграмотной латиницей иностранных каких-то рок-ансамблей. Грязь. Горы мусора. Запустение и тоска.

Он сидел в кабине «жигуленка», курил и ощущение тихо текущего кошмара не покидало его: подумать только! это ведь он — ДзПроклов — сидит среди Камчатки, а вокруг — убогие эти дома, а ждет он, когда шестерка сбегает в неведомое какое-то место, где обитают неведомые какие-то здешние злодеи, чтобы принести ему окончательную весть о том, что именно Голобородько лишил жизни Надю, и тогда он — ДзПроклов обязан будет...

«Никакой ты уже не ДзПроклов, — поправил он себя. — Мы ж договорились. Кончился ДзПроклов, остался один только Проклятиков и — ох как скучно, тошнехонько, муторно и маятно с ним!»

Он, действительно, чувствовал себя странно — так же странно, как странно ощущать, например, свою собственную ногу, когда отсидишь: вроде бы и своя, да и не совсем своя... Он был весь будто слегка заморозен. И, смешное сравнение, ему казалось, что по сосудам его не горячая живая кровь бежит, а некое светленькое мутноватое хладное вещество струится...

Паренек показался наконец в глубине пятиэтажек, не торопясь пошел к машине.

Проклятиков разглядывал его и пытался по старой памяти представить, что это за человек, о чем может думать, чем жить, думал что-то смутное о матери его, о девушке его... — и, ну никак! не мог пробиться внутрь этой довольно приглядной для взгляда человеческой оболочки, а потом вдруг понял, почему. Это был мутант, вот в чем дело. Это была уже совершенно новая, по новым законам функционирующая порода.

Он глянул внутрь себя, обнаружил там себя нынешнего, и ему ведомы, пожалуй, сделались пути, по которым работает, захватывая все больше и больше людей его родины эта страшенькая и бесшумно, как радиация, работающая беда, вкрадчиво калечащая человеческое в человеке.

— Вы не выходили? — спросил парень, усаживаясь за руль.

— Даже по...ть не ходил, не сумлевайтесь, — и вылез из машины в доказательство своих слов.

Когда он вернулся и они двинулись назад в город, молчание воцарилось в кабине.

Паренек словно бы испытывал его на любопытство.

Проклятиков невозмутимо курил.

«Не хватало еще, чтобы я мельтешил перед вами, — подумал он. — У Валерьяна вы, судя по всему, в кулаке, дочерняя, так сказать, фирма, а я, как ни крути, представитель центра, и хрен-два вы дожде-тесь от меня, чтобы я унижался до расспросов. Я вашу провинциальную повадку знаю...»

Машина подвезла его к самому подъезду гостиницы.

Паренек повернулся от руля к Проклятикову — Проклятиков впервые увидел близко его пусто-затуманенные, словно бы внутрь себя глядящие глаза — и невыразительным голосом произнес:

— Это был ее муж. Проверяли. Что-нибудь еще?

— Больше ничего, я же сказал, — ответил Проклятиков, чувствуя, как что-то бесшумное, темные какие-то обломки начали сыпаться на него. Он даже слегка пригнул голову. — Передайте мое спасибо. — И, не прощаясь, полез из машины.

«Ну вот и все... ну вот и все...» — повторял он, сидя уже в номере, в кресле, тупо созерцая заставленный пустыми бутылками подоконник. «Раз... два... три... шесть...»

Непонятная неприятная дрожь пусто колотила его изнутри.

Он был растерян.

Что-то бестолково суеилось внутри него.

Он не знал, за что взяться.

Одно, оказывается, дело — решиться на это вообще, и совершенно иное состояние, когда приходит пора делать первый, уже совершенно определенный, конкретный шаг по дороге, которая ведет к этому (до сих пор он почему-то остерегался от того, чтобы назвать вещи своими именами, что-то бурно и обреченно вскидывалось в нем, начинало отчаянно сопротивляться, когда он все же ненароком промахивался мыслью и яснее ясного становилось, что именно он замыслил: Голобородько жить не будет.)

Он, конечно, чувствовал, что он сделает то, что задумал, — он слышал в себе как бы робота, уже запрограммированного на именно эти действия, — и все же он медлил и медлил, прощально медлил на этом, самом последнем рубеже.

Взгляд его нечаянно упал на вчерашние покупки, он увидел бок сырной головки и обрадовался — вот был повод еще маленько задержаться в этой, нормальной, жизни!

И он тут же поднялся из кресел и стал преувеличенно-деловито собираться к старику в гости: укладывал в сумку продукты, бутылки. Сыр уважительно-отдельно завернул в целлофан: «Кто их знает, гурманов? Может, соседство сыра с колбасой считается у них оскорблением...»

Девочка в цветочном магазине заулыбалась ему навстречу, как старому и очень доброму знакомому.

Ему ужасно понравилось, что у нее сейчас совер-

шенно не такая, как в прошлый раз, улыбка — никакого подобострастия, одна лишь приветливость и радость.

— Ну-с. Где те, ваши самые любимые цветочки? Сегодня я их желаю приобрести.

— Вот они, — она почему-то засмеялась.

Неуловимо розовые жили по-прежнему неуловимо розово и тихо в своем грубом огромном вазоне, и пакостная, скверненькая жизнь, которая творилась вокруг, вовсе для них не существовала.

— Нынче будет так... — начал он и вдруг спросил: — Тот букет вам принес удачу?

— Не знаю, — она сделала озадаченное движение нежнейшей своей губкой. — Я их поставила в вазу. Мама была очень рада.

— Значит, в прошлый раз их было маловато — для удачи. Нынче сделаем так: пять и пять. Не возвращаете?

— Вы же покупатель... — опустив глаза, ответила девочка. Стала медленно извлекать розы и раскладывать их на станиоле.

— Я вам, как знающий человек, вот что рекомендую. Я вам подарю букет (а я вам его подарю, несмотря на все ваше отчаянное сопротивление), а вы с этим букетом непременно как-нибудь покажитесь вашему парню. Но тут главное дело, чтобы ненароком, ненароком! Вы поняли? — Она уже смотрела на него во все свои синенькие, тихонько восхищенные глаза. — И — ни слова, даже под пыткой, о том, кто, зачем, откуда. — Андерстэнд ми?

— Андерстэнд, — она засмеялась совершенно школьным смехом. — Только я ведь все равно проговорюсь. И он побежит вас искать. Не боитесь?

— Страшно, конечно. Но совесть моя чиста, видит Бог! И я вам дарю этот букет с единственной целью и единственным пожеланием: «Будьте счастливы!»

Она смотрела на него, как на инопланетянина — даже чуть испуганно.

Он взял в руки два букета. Один церемоннейшим жестом преподнес девочке и сказал:

— А за это вы пожелаете мне удачи! Во всех моих предприятиях и начинаниях. Ну!..

— Конечно, — сказала она очень искренно и почему-то грустно. — Конечно. Удачи. И еще — счастья.

Было видно, как она разволнована, произнося вслух эти такие небудничные, такие странные слова.

«Я словно откупиться от кого-то, от чего-то хочу добродетелью своими — перед тем, как начать...» — смутно подумал он, уже сидя в машине, и вдруг быстро, на краткий миг, в нем телетайпно простучало: «Первым делом, Кавказ. Там может быть след. Если не удастся — тот южный город, где — сын Голобородьки. Каким-то образом влезть в семью, добыть адрес. Не может быть, хоть Голобородько и сволочь распоследняя, чтоб он своим родителям даже адреса не сообщил!»

Они долго плутали среди улиц довольно еще не старого микрорайона, начался дождь. Дворники мерно щелкали, судорожно дергаясь перед глазами. Временами, то за одним домом, то за другим, всегда неожиданно открывалось вдруг затянутое серым туманом дождя неимоверное пространство океана с зыбкими силуэтами судов, и каждый раз у Проклятикова захватывало дух, и краткое он испытывал в себе ощущение *лёт*а.

Наконец, он нашел дом, возле которого высаживал старика, нашел квартиру тринадцать, позвонил. Почему-то он волновался.

Старик открыл. В руках он держал пенсне. На нем был свитер, роскошной грубой вязки, который балахоном висел на остреньких его плечах.

— Леонтий Иванович? Вы меня — неужели же? — не узнали. Мы вместе ехали из аэропорта. («Черт! До чего глупо...»)

— А-а! — старичок радушнойшим образом заулыбался. — Заходите-заходите! Рад видеть. Какими судьбами?

— А никакими! — легко и просто объяснил Проклятиков. — Сiju в гостинице один. Все знакомые куда-то подевались. Стал язык забывать — настолько уж поговорить не с кем.

Краем глаза он увидел, что кто-то вышел из кухни и стоит там, тихо прислонившись к косяку.

—...но я не с пустыми руками! Ей-богу! Я повод очень хороший придумал. Ко мне приятель приходил, сыром угощался. И уж так уж он его нахваливал, что я подумал о вас. Вы ведь, насколько я заметил, в этом деле толк понимаете?

Старик рассмеялся.

—...а это, — он извлек из-за спины букет, — радуюсь, вам! — и наконец он повернулся к ней и взглянул на нее.

— О-о! — не сказала, а словно бы выдохнула, увидев цветы, женщина, в него коротко и горячо ударило светом ярких темных глаз, и она приняла букет, как стеклянный.

— Что ж вы стоите? Проходите! — заговорил старичок, касаясь его рукава. — Садитесь. Рассказывайте. А это... — он вдруг спохватился, — это моя внука. Я вам, кажется, рассказывал о ней.

— Интересно бы знать, что ты, дед, обо мне рассказываешь? Саша! — она протягивала ему руку.

— О-о, одно только хорошее, не сомневайтесь, — заговорил он, беря ее руку. — Дмитрий. Это меня так зовут, Дмитрий... одно только хорошее, поверьте. Я поэтому, может, и пришел, ей-богу!

Странное дело, Проклятиков чувствовал себя не то чтобы стесненно, а как-то внутренне-толкливо, непонятно отчего почти волновался, словами вот какими-то сыпал, вовсе ему не свойственными...

— Вот как? — засмеялась Саша, оглянувшись от полки, с которой снимала вазу.

— Святой истинный крест!

— А как же сыр?

— Сыр, честно говоря, только повод. Только повод... — он повернулся вновь к Леонтию Ивановичу, — ...прийти к вам в гости. Очень уж грустно мне стало, Леонтий Иванович, при виде нынешней Камчатки. Прямо хоть плачь!

Саша появилась из кухни с вазой, наполненной водой, услышала его слова:

— Не плачьте, Дмитрий. Петропавловск — это еще не вся Камчатка.

Взяла букет в руки.

— Господи! Даже жалко такую красоту! — воскликнула она, держа букет на отлете.

— Да. Там девочка одна, в цветочном, очень симпатичная. Это она такие красивые веники вяжет.

Ее покорило.

— Извините. Я неловко выразился, — совершенно неожиданно для себя признался Проклятиков. Впервые в жизни он чувствовал себя с женщиной в положении такого подчинения.

Она посмотрела на него с нескрываемым интересом и теплом.

Где-то рядом пребывал Леонтий Иванович, и наоборот, надо было с ним вести какую-то беседу, но он не мог, он весь был обращен к ней, к тому, что творилось между ними, а между ними уже торопливо творилось что-то, что-то очень нешуточное, и она — тоже — не была так уж спокойна и независима, как могло показаться, что-то и в ней уже упрямо работало вопреки сопротивлению ее воли, помимо воли, навстречу ему.

Он смотрел, как она разворачивает, шумно трещащий станиоль обертки, как перебирает цветы, как опускает их в воду, каждому цветку отводя только ей ведомое место, смотрел на ее тонкие длинные пальцы без всяких следов маникюра, смотрел украдкой на лицо...

Несильный румянец вдруг ударил ей в скулы, она коротко раздула ноздри и глянула на него — быстро, с серьезностью и легким удивлением.

— Сыр, — Проклятиков заставил себя оторваться, — определите-ка, Леонтий Иванович, он и в самом деле, что ли, такой уж необыкновенный.

Саша ушла в кухню.

Старичок сидел в кресле, всеми забытый, задумавшись.

— Я только отнесу... — торопливо объяснил Проклятиков, взял сумку и пошел вслед за Сашей.

Она ставила чайник.

— Вот он, этот знаменитый сыр! — объявил он, вытаскивая голову сыра, и начал извлекать остальное: палки колбасы, шампанское, апельсины, коробку конфет...

— А это зачем? — с сухостью произнесла она.

Он даже застонал в отчаянии:

— Так я и знал! Будете отказываться... «зачем это?» — так я и знал!!! — Он, действительно, испытывал досаду, чуть ли не слезную.

— Ну, успокойтесь. — Она подошла близко и мельком коснулась его руки. — Что с вами такое?

Он посмотрел в ее лицо, спокойно и тепло обращенное к нему, и сказал неожиданное:

— Я не ожидал, что здесь вас встречу.

Она не ответила. Только вздохнула глубоко.

— Идите к деду, — сказала она, как больному. — Я сейчас все приготовлю.

А потом они сидели вокруг стола, разговаривали разговоры, пили шампанское и дегустировали сыры, а между ними (между ним и Сашей) — не прерываясь звучала словно бы струна напряженной приятности.

Если она и была красива, то тяжеловатой, темной красотой. Что-то иконописное проглядывало в ее лице: где-то возле переносья, ромбиком, где-то возле глаз, очень крупных и темно глядящих, и чуть-чуть шире, чем принято, расставленных, где-то в линии скулы.

Она была очень просто и необыкновенно как-то по-домашнему причесана — темные волосы были стянуты сзади в подобие хвоста — и матово-смуглый умненький лобик ее, сколько бы он ни взглядывал, вызывал ощущение необыкновенной прелести.

— Мне Крохинусы не дают покоя, — сказал он уже где-то к концу вечера. — Нет-нет да и вспомню. Какая-то оскорбительная несправедливость здесь, не знаю, как выразиться. И не только к Крохинусам, но и почему-то ко мне тоже.

— Мне это чувство вполне знакомо, молодой человек, — отозвался Леонтий Иванович.

— А там всего-то надо... — вступила Саша, обращаясь к деду, и они непонятно заговорили о каких-то приборах, о ставках, о передатчике, о метеослужбе, о том, что ловушки на Дальнем практически в полном порядке...

— Когда я вернусь на Камчатку, — довольно бесцеремонно встрял Проклятиков, чувствуя при этом внезапно задрожавшее в себе волнение, — когда я вернусь... — повторил он, с удивлением, слыша, что бледнеет, — определите меня, Леонтий Иванович, на должность какого-нибудь там лаборантика, Саша меня поднатаскает маленько, и поеду-ка я на Дальнее! Черта я не видел в этой Москве!

Он отчетливо ощущал, что Саша смотрит на него.

— А вы предполагаете вернуться на Камчатку? — не скрывая интереса, спросил старик. — Похвально, если учесть, что сейчас больше с Камчатки едут, чем на Камчатку.

— Я не предполагаю. Я вернусь.

И с этими словами он испытал вдруг несказанное облегчение. Этим все чудесно разрешилось: и то, где скрываться от Валерьяныча, и то, как жить дальше, — все разрешилось.

...Пришла пора уходить. Не хотелось уходить. Ему хорошо и тепло существовалось в этой квартирке, где было светло, просто и *чисто*, и где постоянно почему-то ощущалось, что квартирка эта — высоко вознесена над городом и, если глянуть в окно, можно увидеть океан.

— Я вас провожу — вы заблудитесь, — она сказала это решительно и сняла вслед за ним плащ с вешалки.

— Не бойтесь?

Она ответила с пренебрежительным презрением, восхитившим Проклятикова:

— Теперь — что же — из-за *этих* — уже и не жить?!

До остановки автобуса, к которой должна была проводить его Саша, ходу было десять минут. Они расстались через три часа.

Из Петропавловска он улетел лишь на четвертый день — он вновь, как шесть лет назад, чувствовал, что ему прямо-таки физически трудно оторваться от города, который снова становился в его глазах прежним.

Она приехала в аэропорт проводить его.

Было отчаянно грустно и было отчаянно весело, звонко в душе от этой забытой грусти.

Она была в черном длинном узком пальто с капюшоном. Чем-то походила на монахиню.

Здесь он впервые поцеловал ее.

Она слегка отстранилась в его объятиях, стала, будто в первый раз увидела, оглядывать его — серьезно, нежно, с легким удивлением. Потом провела по его щеке рукой и сказала:

— Только не говори, пожалуйста: «Я вернусь, я вернусь!» Просто — вернись...

...Поезд пришел в тот южный город, где Надя жила на каникулах, под утро.

В зале ожидания было душно, вонливо, плакали дети.

Черные люди во множестве спали на скамейках, на полу, на подоконниках, на грудах мешков, фрук-

товых ящиков, чемоданов. Негде было не то что пристать — ногу поставить.

Он кинул за плечи рюкзак — неким жестом бывалого в походах человека — и пошел на улицу.

Вплотную к вокзальной площади слепой, грозной белесой стеной стоял туман.

Похоже было на осажденную крепость.

Люди мыкались бестолково и бессонно, держась поближе к тускло освещенным окнам вокзала, и лишь очень немногие, только что сошедшие с поезда, торопливо, словно спасаясь, бежали наискось пустого пространства площади и — мгновенно пропадали в тумане том, как погибали.

Шел январь, самый конец января. В Москве, когда он уезжал, стояла пасмурная, грязноватая, слякотная зима, а здесь, похоже, была уже весна.

Легко, голодно, совсем не по-зимнему дышалось. Воздух был сладок, ясен и, должно быть, очень чист. От этого воздуха немного кружило голову, и он временами слышал, как сильно, с удовольствием, с наслаждением бьется внутри него его собственное сердце.

Хотя рюкзак, как сказано, он и закинул за плечи жестом бывалого человека, но надо сказать, что это было едва ли не первое — по крайней мере, первое в одиночку — столь дальнее путешествие его и поэтому возбужденно-бодрая смесь боязливости и любопытства, восхищенной тоски и неприютности, первооткрывательского восторга и сожаления о покинутом покое, предвкушений счастья, что ли, любви что ли... — эта дивная, молодостью сброшенная смесь этих и еще многих других, неназываемых словами чувств переполняла его.

Он стоял возле стен вокзала, глядел на стену тумана, а когда поймал себя на том, что ему почему-то страшно уходить от освещенных окон в эту бесприветную гущу — он тотчас же, азартно и легко переломив это боязливое внутри себя, безрассудно пошел через площадь к стене тумана, потихоньку, отчетливо ликуя от детской этой победы над детским этим страхом.

Ни один фонарь не горел. Темно однако не было. Все было видно, но требовалось усилие, чтобы видеть.

Однообразно одноэтажные шли вдоль улицы дома. В крохотных двориках, сплошь и дружно застроенных какими-то времянками, густо оплетенными задеревеневшей мертвой лозой винограда, было и тихо, и сонно, и скучно прибранно.

Такая вот, оказывается, была у них зима: без снега, с сухими тротуарами, со все еще, казалось, цветущими возле домов кустами, лишь слегка обожженными чернью заморозков.

Впрочем, он не ошибался насчет весны, она здесь уже, похоже, начиналась: под водостоками жирно посвечивали нехотя схваченные ночным морозцем слабые ледяные напыльы, из-под которых уже и сейчас тихо точила черная вода.

Ставни в домах были закрыты, там было тепло, там было тихо, там люди спали.

Он представил, как в одном из таких же домов спит сейчас и Надя — совсем не ведая о его приезде — спит себе, тихие смотрит сны, а утром он постучится в ее дверь... Ему сразу же сделалось и весело, и нежно.

Вот когда оно начиналось — то, что случилось между ним и Надей.

...Он шел по городу бережным ожидающим шагом — будто боялся взболтнуть в себе то ласковое, веселое, тихое и светлое, что радостно принялось молчать в нем, едва он подумал о ней.

Летом это был, наверное, очень зеленый город. Его улочкой он шел, как просекой, и голые ветки неведомых ему южных деревьев мелким решетом переплетались над его головой, на фоне уже явственно светящегося неба.

У него было отчетливое ощущение, что кто-то очень пристально, очень оценивающе и сосредоточенно следит за тем, как он идет.

Взгляд был сильно устремлен на него откуда-то слева, и он даже несколько раз приостанавливался, внимательно оглядывая все в той стороне, но там ничего, кроме все тех же сплюснутых заборов, кроме домишек с глухо затворенными ставнями, голых деревьев, не было.

И только когда просторный, весь понизу в густом молоке сумрачного тумана бульвар пересекался вдруг с улочкой, по которой он шествовал, и только тогда он, встав на перекрестье, еще раз глянул налево, — только тогда он понял, что это было.

Это были горы.

Это была Гора, которая взгромождалась совсем, казалось, вплотную к городу и над ним.

Странное дело, она, Гора эта, совсем не угнетала город чрезмерной своей огромностью, напротив — она словно бы покровительствовала ему, словно бы заслоняла, оберегала от каких-то напастей.

ДеПроков впервые увидел горы и, мгновенно поразившись, выпав на какое-то время из времени, встал как пригвожденный и стал настороженно, ожидая глядеть на все это — в немыслимую вышину вознесенное, грозное и победительное, одушевленное (без сомнения), хотя к человеку и пренебрежительно, слегка насмешливо, равнодушное, само себя величающее, надо всей землей с угрюмой надменностью торжествующее, мощно, страшно, просто и грубо сработанное из чего-то мрачного, опасно иззубренного, остроугольно рваного, острыми сколами торчащего, змеисто истресканного, зло-складчатого, каменно мертвленного, каменно тяжкого, каменно, гордецки невозмутимого...

Гора, казалось, тоже смотрит на него.

Странно, но его почти совсем не уязвляло, что Гора совершенно равнодушна к нему, Человеку, а он, Человек, со всем своим пылким самомнительным тщеславием у подножия ее — не более, чем тля, не значительнее, чем тень тли.

Впервые в жизни он увидел горы, и очень наивное, очень мальчишеское вопрошающе напрягалось в нем: «Для чего это?» — настолько сверх всякой разумности, настолько уж вопреки всякой целесообразности, настолько дико, безудержно, безумно создано было кем-то это *Величество*.

...но уже и некое подобие восхищения — еще не уверенного, еще настороженного — он слышал в себе.

Быстро светлело. Где-то вставало солнце.

Мельком оглянувшись, он увидел, что небо за его спиной, действительно, уже накаливается наивной младенческой голубизной. Однако здесь, в этой стороне, и Гора, и небосвод вокруг Горы были еще в полумрачной неприветливой поволоке, здесь были потемки, еще зимние.

Он смотрел на Гору, отчетливо ощущая, что он бессилен не смотреть на нее, что он обезволен этой Горой, что его словно бы вынуждают ждать от нее чего-то...

И опять же, повторим, странное дело, его самолюбие несколько не досадно было от этой почти физически осязаемой зависимости.

И наконец — не зря он дождался! — он дождался!

Солнце, несмело и упрямо торкавшееся где-то там, за спиной, в стену гор, кольцом замкнувших город, — солнце нашло наконец где-то пробойну, и великолепно-сиятельный луч его — как бы даже с восторженным посвистом — ворвавшись в угрюмый мрак долины, блистательно вдруг вдарил в грани Горы!!

У него мигом перехватило дух.

Ему даже показался звук, с каким луч вдарил, — победный, слепящий звон радостно сомкнувшихся поверх оркестра празднично надраенных, златом сияющих тарелок.

И тогда — вся в единый миг озарившись — Гора мгновенно и, даже показалось, облегченно сбросила с себя личину угрюмой неприступности, и вся волшебным вдруг преобразилась в совершенно добродушного, нескладно громадного, милейшего как бы монстра, который тотчас же принялся на все лады наивно форсировать перед взором ДзПроклова пылким разнообразием розовых своих, черно-графитных, алых, бирюзовых, серых, желтоватых гранитов, из которых грановито сложено было его пирамидальное тело, с шиком изукрашенное сверх всего еще и рафинированными изысканностями серебра на образовавшихся за ночь наледях.

Этот переход — точнее бы сказать, *перескок* — от тягостной ночи к ликующему, уже, несомненно, весеннему, утру был так ошарашивающе неожидан, такая щедрая широкая сила была во всем этом мгновенном действе, что ДзПроклов аж в голос ахнул от восхищения...

...и вдруг душа его — рассмеялась! — с наслаждением облегчения.

Он почувствовал, что его отпускает. Он услышал: быстро-быстро слабеют какие-то скрепы, опадают тенета, какими он, оказывается, был весь тайно и тягостно попутан, оцепенен, цепко повязан.

Он ощутил: размыкается насильственная (только сейчас вот горько отмеченная им) угнетенность, в которой, оказывается, душно-привычно пребывала до этого мига душа его.

Сладкое чувство глубокого *вздоха* — долго и мучительно сдерживаемого вздоха — ощутил он вдруг.

Довольно убогое зрелище представлял он, должно быть, в тот год своей жизни.

Студентик второго, кажется, курса — уже не юноша, но вряд ли уже мужчина, беспомощно, бестолково, суетливыми мелкими жестами живущий, вечно как бы бегом, в угрюмоватом угарчике смутных, горделиво-тщеславных помыслов о каком-то себе, будущем, о какой-то несомненно блестящей своей будущности, — весь еще по молодости лет под вседневным гнетом порогающей живущей похоти и потому еще живущий весь как бы в репьях неопытных помыслов, нечистых поступков, копеечных коварств, мелких неправд... — унижительно утесненно живущий в раздражающей тесноте скверно и скучно выстроенного города, в насильственной тесноте пе-

ренаселенной двухкомнатной квартирке (где он жил вместе с родителями и женатым братом), в сумрачной тесноте всегда полутемных катакомбных факультетских коридорчиков, — всегда в унижительной толчее, всегда как бы в толпе, всегда как бы *подталкиваем* на какие-то всеми ожидаемые жесты, слова, поступки, никогда наедине с самим собой, — вот так он жил...

...с непреходящей, однако, приглушенно подымающей досадой — от нечистоты и неправильности жизни, которой он живет, с темным тягостным ощущением, что вряд ли ему возможно жить как-то иначе, и при этом — вот что странно — изо всех сил оберегая в себе смутное, полуфантастическое, никакими словами, никакими образами не формулируемое представление о *жизни иначе*.

Это представление в самых непросветных уголках его души упрямо и тупо *было*...

иначе, как объяснить, что в это утро он так громкопоражен стал разящей схожестью того, как он глядел, видел, чувял, ощущал — с тем, что потаенно и угнетенно жило, тихо томясь, в его душе и что было словно бы воспоминанием о нем самом, воспоминанием о себе несбыточном и желаемом.

Слабовольный и несвободный, скомканно живущий, он в то утро впервые ощутил в себе *Волю*. И сладчайшее чувство глубокого, все длящегося и длящегося спасительного вздоха все длилось и длилось в нем.

Вот когда оно начиналось — то, что стряслось между ним и Надей.

...Все неправдоподобно складно — словно по волшебству, словно во сне — сопрягалось сейчас в нем во что-то одно-единое, изумительно простое, обычно радостное, истинное.

И эта ошеломляющая чистота предгорного воздуха, и этот забавный, легкий словно бы хмель в голове от бессонной ночи; и то, что туманчик вокруг и ему несказанно сладко от бродяжбей своей бесприютности в туманчике том; и то, что вокруг одушевленно громоздятся горы и эта сиятельная, как драгоценный подарок ему, высится Гора; и сельская голубизна небес, и то, что пахнет уже весной, и уже повесенному то и дело поторапливается сердце от веселой бестолочи каких-то предвкушений: радости, счастья, удач, свершений, как бы уже и содеянных; и то, что по-рассветному чисто, и опрятно, и чуть торжественно все вокруг, а он — один, вокруг — ни души, и впервые в жизни для него одного деется этот праздник сотворения утра... — все, абсолютно все, чудесно и ладно сопрягалось в тот час в его душе, душа работала оживленно, спорно, бодро, и он уже — с теплой приязнью, с веским чувством обладания — внимал себе, наконец-то, мнилось, настоящему, наконец-то не придуманному, наконец-то свершившемуся, наконец-то отворенному для мира и вот для красоты его, наконец-то легко дышащему, с простотой и ясностью глядящему, наконец-то — о чудо! — *свободному*.

Все вокруг, чего бы он только ни коснулся взглядом, мыслью, ощущением — все, казалось, так прямо-таки и поспешает посочаствовать в этой быстро-праздничной работе сотворения крепкого, покойного лада в его душе. Все, казалось, счастливо — поучаствовать в этом оживленном, радостном, неостановимом движении этой Богу угодной работы, а затем...

А затем — точно по чьей-то точной воле — вся разнородность вразнобой счастливого этого чувства в какое-то одно-единое мгновение, как бы резко сфокусировавшись, вдруг согласно и рьяно устремилась к Ней, к Надежде! —

к той простой и милой юной женщине, что спала в этот час в темноватой, уютно захлавленной комнате маленького родительского дома, спокойные зрела сны, и ведать, конечно, не ведала о приезде того, кто в эту минуту, весь как бы обратившись в горячо взволнованное вместилище тяжко, мучительно, сладко терзающих его чувств, весь аж дрожи дрожал от непонятной, благодарной нежности, от благоговейной жалости, от панического, невесты откуда взявшегося страха за нее, от восторга и восторженного упоения скорбной и торжественной своей покорностью перед нею.

Вот когда оно начиналось — то, что случилось между ним и Надей.

Возле дверей ее дома стоял БТР, в коричнево-серо-зеленое щедро размазанный, с боковой дверцей распахнутой настежь.

Строчка пулевых отверстий пересекала боковину машины наискось.

Проклятиков потрогал дыры от пуль и смутно ужаснулся страшной убийственной силе, которая произошла насквозь сталь в палец толщиной.

Мотор машины тихонько работал.

— Скажи, красиво, да? — раздался за спиной азартно-веселый голос.

Молодой парень, так же, как и его машина, разукрашенный в цвета камуфляжа, мешки, которые держал на плечах, плюхнулся на землю, заулыбался широко и счастливо.

— Это от чего же такие дыры? — спросил Проклятиков, разглядывая следы очереди.

— А! Это! Крупный калиберный... — парень с трудом выговорил слово. — Едем. Тихо-мирно, никому не мешаем, барашка возем, песни поем. Тут: да-да-да-да-да! Один я живой остался.

— Повезло, — согласился Проклятиков. — С кем хоть воюете-то?

— А!..Эти... — парень пренебрежительно отмахнулся. — Шакалы. Наши земли забрали. На наших женщинах женятся. Шакалы... — Парень уже забрался внутрь БТРа и белозубо улыбался оттуда. — Мешки дай! Ребятам кушать нечего, скоро друг друга кушать будут! — Он весело рассмеялся собственным словам.

Был он совсем еще Юн — лет семнадцати, не более — весел, азартен и, несомненно, счастлив той жизнью, которая выпала вдруг. Еще бы: «Да-да-да-да-да!» А я жив остался!»

Проклятиков, подавая мешки внутрь машины, спросил, кивнув за спину:

— Давно тут живешь?

— Год, два года, недавно. Отец-мать в Цхинвал жили, грузины — у-у, шакал! — дом сожгли, сюда переехали, брат жениться хотел, все деньги отдал, невеста теперь плачет! — И он опять расхохотался, с удовольствием вкусно живущего человека.

— У кого покупали, не помнишь?

— Брат покупал. Русский — как ты — продавал. Брат покупал, он знает.

— А где мне твоего брата увидеть?

— А! Садись мешки! Я к нему еду. Сейчас вино возьму, держать будешь!

Он сбежал еще раз в дом, вынес оттуда огромную плетеную бутылку, с трудом просунул ее в дверцу.

— ...и давно воюешь? — спросил Проклятиков, когда они уже ехали по городу.

— Два года! Пора медаль давать!

По всему было видно, что ему необыкновенно в пору этакая жизнь. Ничего ему больше в жизни не надо: знай бегай, знай стреляй в этих проклятых неведомых «шакал», ни работать не надо, ни думать...

Короткоствольный черный «калашников» очень привычно лежал у парня на коленях.

Проклятиков, честно признаваясь, думал, что поедут они куда-то в горы, на передовую, так сказать, войны с шакалами, и уже заранее испытывал муторную брезгливую дурноту в душе.

Но проехали они всего ничего и остановились на городском базаре — возле фанерного, в голубенькое крашенного павильончика с вывеской: «Шашлик».

Еще две бронированные машины стояли тут, пятток «жигулей» и совершенно нелепый здесь, огромный, гробоподобный «кадиллак» с ветровым стеклом, морозно растрескавшимся от пулевого, видя, падающего.

Парень о чем-то быстро переговорил с охранного вида амбалом, стоящим у входа. Тот посторонился, и они вошли в грязную, темную шашлыкную, где за тонконогими пластмассовыми столиками гомонили, по-южному чересчур жестикулируя, азартно-оживленные чем-то люди.

Плыл табачный дым. Звенели стаканы. Если бы не оружие, которое каждый держал вблизи себя — на коленях, у ноги, на краю стола — шашлыкная была бы как шашлыкная.

— Кушать будешь? — спросил у Проклятикова грязно-небритый, однако тоже совсем молоденький, с сонными девичьими глазами парень, пододвигая стул. До этого они быстро переговорили о чем-то с братом — сначала о нем, о Проклятикове, потом о чем-то постороннем, о домашнем, кажется...

Проклятиков сел.

Рядом с ним сидел, молчаливый, чем-то очень угнетенный пожилой мужик, почти старик — руками, связанными в запястьях, брал из тарелки куски мяса, жадно ел.

— В плен попал, — коротко объяснил старший брат, заметив удивленный взгляд Проклятикова.

— Кушай! — сказал он, когда перед Проклятиковым поставили миску какого-то густо-мясного хлеба. — Мы тоже — с гор спустились — кушаем немножко, пьем немножко, — и он повел рукой по шашлыкной.

— Сменились?

— Сменились. Что знать хочешь?

— Кто продавал дом и где его сейчас найти.

Тот вдруг разволновался.

— Все по закону было! Ты что, сомневаешься?! Законный владлец, все бумажки на месте, нотариус сам проверял!

— Да я не сомневаюсь, что ты?! Мне просто разыскать его надо. Ты не знаешь, где его искать?

Тот с явным облегчением вздохнул.

— А! Где искать? Откуда мне знать? Деньги отдал, руку пожал, зачем мне знать, куда он уехал? Может, Москва. Может, Тбилиси поехал. Зачем мне знать?

Краем глаза Проклятиков увидел, что кто-то встал возле стола и смотрит на него.

Он поднял голову и увидел неуверенно, но радостно улыбающегося человека. Что-то знакомое было в его лице. Проклятиков напрягся:

— Валера?..

Тот заулыбался и того шире.

— Неужели узнал?!

— Здравствуй, дорогой! — с фальшивой радостью воскликнул Проклятиков. Тот полез обниматься. И только во время этого церемониала, похлопывая Валеру по спине, он вспомнил, кто это такой, Валера.

Одноклассник, кажется, Нади. Имел на нее виды, ревновал — по крайней мере, в тот, первый и единственный, приезд был какой-то не шибко приятный разговор у Проклятикова с Валерой, но кончилось хорошо и мирно: распитием коньяка чуть ли не вот в этой же шашлычной.

— Пойдем к нам, дорогой! — И он, обращаясь к владельцу надиного дома, объяснил: — Это мой гость. Пятнадцать лет не видел. Одну женщину любили. Так, Георгий?

Проклятиков поправил:

— Забыл. Меня Дмитрий звать.

— Ой, прости, дорогой! Ой, совсем старый стал, голова дырявый стал! — Валера запричитал полушутейно. Как и все в этой шашлычной, он был радостно взбудоражен, хмелен, весело выбит из колеи. — Пойдем, Дмитрий! С моими орлами познакомлю! Праздник сегодня: *ситрадигическую* деревню отбили, пленных пять штук взяли, телевизор «Панасоник» взяли, «бетеэр» взяли!

Он подцепил Проклятикова под руку и повел в глубь шашлычной, где было особенно дымно и гамно.

— Ты же по-русски отлично говорил... — заметил Проклятиков.

— А! Сапсем забыл, дорогой! — с еще большим акцентом отвечивал Валера. — С кем говорить? О чем говорить? Воюем! — И он быстро и весело прокричал какие-то военные, судя по всему, команды: «Вперед!», «Обходи с фланга!», «Огонь!».

— Мда, — скупое отозвался Проклятиков. — Мне бы с тобой поговорить надо. Хорошо бы наедине.

— Какой «наедине», Дмитрий? — сказал тот, уже подводя его к столу, за которым сидели человек пять. — От них секретов — нет! В одной канаве сидим, одну тушенку едим.

Он познакомил Проклятикова со своими орлами — имена почти у всех были русские — они церемонно выпили за знакомство, за гостя, за военную удачу, за смерть шакалам, за матерей, за любимых женщин. После этого, последнего, тоста Валера наконец вспомнил:

— О чем говорить хотел, Дмитрий?

Проклятиков допил вино, закурил. Валера ждал. Ждали и орлы его, взгляды устремив на гостя. Странно, но все они, казалось, ждали чего-то очень серьезного от Проклятикова. Чувствовали, что ли?

— Нада умерла, ты знаешь...

— Умерла, — подтвердил Валера, на мгновение став грустным, и быстро сочувственно тронул Проклятикова за рукав.

— Она не умерла, Валера. Ее убили.

— Что говоришь?! Знаешь?!

— Знаю. Это так же точно, как ты — Валера, а я — Дмитрий.

Орлы о чем-то заговорили между собой. Кажется, втолковывали одному из них, хуже всех знавшему русский, смысл сказанного.

— А убил ее — Игорь, муж Нади. Не сам, не сам! Купил людей. Они вкатили ей в вену... — Проклятиков показал жестом, — включили газ, засунули Надю головой в духовку. «Самоубийство».

Валера, коротко застонав, заскрежетал зубами. Проклятиков впервые в жизни собственными ушами услышал, что это такое — скрежет зубовный.

Посерев лицом, низко клонясь над столом и упреков взгляд в тарелку с остатками еды, тот стал что-то гортанное и проклятенное очень отчетливо, очень театрально и выразительно произносить, выражение лица имея при этом совершенно зверское.

— Из-за денег, Валера, — сказал Проклятиков. — Из-за дома здешнего. Из-за квартиры камчатской. Из-за денег он ее убил, Валера! Мне надо его найти.

Орлы уже всюю гомонили между собой. «Игорь», «Игорь» — раздавалось то и дело.

— Они говорят, — перевел Валера, — что Игорь раза два приезжал, после того, как дом продал. У него тут с одним — какие-то дела.

Быстро и напористо переспросил что-то, продолжил:

— Сюда — вот эти привозил (он потрепал рукав камуфляжной куртки), ботинки армейские. Отсюда — чачей загрузился... — продолжал переводить Валера. Акцент в его речи пропал почему-то вовсе. — ...Номера на машине — русские. Не помнит. То ли Ярославль. То ли Владимир. Можно узнать. Накладную Тимур (ну, тут один...) выписывал. Можно узнать.

Что-то сказал тому, который рассказывал об Игоре, тот было возразил, Валера настаивал, тот попытался еще раз возразить, Валера прикрикнул командующе. Только после этого, вполголоса ворча, тот поднялся и пошел на улицу.

Через окно Проклятиков увидел, как он сел в «жигуленок» и умчался куда-то.

— Сейчас все узнает, — успокоительно сказал Валера. — Что делать будешь, когда Игоря найдешь? Разговаривать станешь, стыдить станешь?

— Нет. Не буду я ни разговаривать, ни стыдить.

— Убивать будешь? — спросил Валера, внимательно оглядел Проклятикова и тут же добавил: — Не сумеешь.

— Может быть, и сумею. Не знаю. Может быть, и сумею.

Валера поглядел на него с заметным сомнением. Потом — «Посиди минутку!» — поднялся и пошел в угол шашлычной, где сидели за одним столом самые пожилые и внушительные видом аскеры.

Проклятиков видел, как Валера что-то говорит одному из них, полковничьего вида, как потом стал горячиться, размахивать руками, потом повернулся и с убитым видом вернулся за свой стол.

Невидящими глазами глядя на Проклятикова, стал многосложно и страшно выразительно ругаться на своем языке, механически сгибая-разгибая вилку, оказавшуюся под рукой.

Вилка наконец переломилась, он с недоумением глянул, швырнул ее в угол.

— С тобой хотел ехать, — объяснил он Проклятикову. — Командир не пускает. Дезертир, говорит, будешь. А-а-а! — беззвучно вскричал он, ощерился и опять разразился бранью.

— «Алазань», понимаешь? — с отчаянием стал он выкладывать Проклятикову. — Ракеты такие, понимаешь? Никто не знает, какую кнопку нажимать, куда

полетит. Один я знаю. Учеников дали — все деревенские, три класса кончили — ничего не соображают!

— Не надоело тебе этой хренотенью заниматься? — спросил Проклятиков. — Ты же вроде в институте учился...

— Ка-акой институт, слушай! Закон гор! В институте — одни женщины, калеки сидят. Ты — русский, тебе не понять нашу войну.

— Не понять, — согласился Проклятиков.

— Ты — счастливый, — откровенно завистливо сказал вдруг Валера, — Надя тебя любила (меня, а-а! — совсем ничего любила!), Игора найдешь, мсть сделаешь, — вдохновенно и зверски оскалился: — А-ах! мне бы его на полчаса, нет, на час дали бы! — и сладко-медленно, вновь перейдя на свой язык, стал, видимо, перечислять, что именно он сделал бы с «Игором», если бы тот попался ему в руки.

Орлы, сидящие за столом, одобрительно вникали.

Распавшись от собственных мстительных фантазий, Валера вдруг сунулся под куртку и вытащил оттуда большой черный пистолет — «ТТ» — протянул его рукояткой к Проклятикову.

— Бери! — сказал торжественно, явно не забывая, что на него в эту минуту смотрят. — Наде скажи, первая пуля была от меня!

— Не провезти, — с сожалением сказал Проклятиков, побавив пистолет в ладони и протягивая его назад Валере. — Сюда ехал — два раза обыскивали. На самолет не сядешь...

— Почему не сядешь?? Багаж сдашь — кто тебя проверять будет.

Один из сидящих за столом стал что-то говорить, поминая то и дело какого-то неведомого Аслана.

Валера слушал, потом сказал:

— Хорошо говорит. Умный человек. Даже прятать не надо будет. Напиши на бумажке имя-фамилия. Один человек разрешение сделает.

— Прямо сейчас? — изумился Проклятиков.

Валера спросил о чем-то у говорившего про Аслана. Повернулся с превосходительным видом:

— Прямо сейчас. Сюда принесут. Напиши имя-фамилия, — Валера оторвал кусок засаленной оберточной бумаги, на которой лежала какая-то снедь, дал отгрызок карандаша.

— Виктор говорит: номер спиши.

Проклятиков прилежно написал «имя-фамилия», переписал номер. И бумажку и пистолет протянул Валере.

Тот бумажку взял, а пистолет отвел:

— Теперь твой... — Легкое сожаление послышалось в его голосе.

— Не жалко? — спросил Проклятиков.

— Не жалко, — заставил сказать себя тот, опять повторил непонятное: — Наде скажешь, что эта, первая, пуля — моя.

— Скажу, — отозвался Проклятиков, засовывая огромный этот пистоль за брючный ремень. Только сейчас он понял, насколько не хотелось ему с ним расставаться.

— Я смотрю, быстро у вас тут дела делаются, — заметил он.

Валера с удовольствием рассмеялся.

— Мы — хитрые. Мы всех своих бюрократов к вам, в Москву отправили!

— Похоже на то.

Двое из оставшихся за столом сидели в обнимку и вполголоса, напрочь отрешившись от окружающего, пели какую-то сложную, гортанную песню.

— О чем поют? — спросил Проклятиков.

— Парень на войну едет. Женщина плачет. Мать плачет. А он говорит: не плачьте, вернусь живой, богатый, хорошо жить будем.

— Замечательная песня.

Тот, кажется, уловил иронию в замечании Проклятикова. Вдруг сказал:

— Это только русский мог сделать, — сказал с вдруг прорвавшейся неприязнью. — У нас даже самый дикий никогда такого не делает. Убить женщину, убить жену — из-за, тьфу! бумажек!

— Он не русский. Он не чечен, не еврей, не алан, не грузин. Зверь. У зверя нет национальности.

Валера посмотрел уважительно:

— Хорошо говоришь. Извини, если обидел.

— Не обидел. Давай лучше выпьем за русскую женщину Надю. Пусть земля ей будет пухом!

В торжественном и печальном молчании они выпили.

Ночевать он поехал к Валере.

Маленькая грустная пожилая женщина обняла Валеру у порога, было видно: готова простоять так, истово и жадно обнимая, хоть целую вечность.

Потом все-таки оторвалась от сына, собрала что-то на стол. Валера от усталости, да и от выпитого, наверное, то и дело клонился головой к столешнице.

Они вдвоем уговорили его идти спать и остались сидеть за столом.

Она не говорила по-русски, Проклятиков ни слова не понимал по-местному, но они просидели полночи, и никакого не нужно было переводчика, чтобы понять, о чем покорно, печально, с обидой, с горьким недоумением говорит эта женщина, вконец изможденная страхами за жизнь сына.

Дважды их прерывали.

Первым постучал в двери тот из орлов Валеры, который ездил узнавать местонахождение Голобородьки.

На листке бумаги был написан номер грузовика, на котором приезжал Голобородько и адрес ТОО «Ротонда», которому отгружали чачу.

Проклятиков знал этот город. В этом городе он проходил когда-то первую свою журналистскую практику в местной молодежи. Там еще оставались друзья, и Проклятиков обрадовался этому, помогут...

Не успел уйти первый, ворвался другой. Нежно расцеловавшись с матушкой Валеры, долго и почтиительно разговаривал с ней, лишь на секунду оторвавшись, чтобы отдать Проклятикову бумаги.

Мать уговаривала пришедшего, чтобы тот пошел за Валерой, чтобы не пускал его в опасные места. Тот — убеждал ее, что война — это дело пустяковое, безопасное, ничем почти не отличается от тех игр, в которые они с Валерой играли в детстве.

Проклятиков читал врученные ему документы. Все было честь по чести. Удостоверение удостоверяло. Копия договора о найме Проклятикова Дмитрия Николаевича на должность охранника в АО «Кавказ» с правом ношения огнестрельного оружия — подтверждала удостоверяемое.

Проклятиков только головой помотал в изумлении: до чего же просто и до чего же быстро. А потом и новое изумление постигло: до чего же просто и до чего же складно все получается у него, ДзПроклова! Не иначе как с одной-единственной целью, чтобы он, именно он, взял на себя этот неведомый гнусный труд *прервать* Голобородьку. Все прямо-таки и подталкивало его к этому!

Ночью приснилась Надя.

За окном халупы шел серый нескончаемый дождь.

Она сидела у стола, спиной к окну — темный, печальный силуэт — и темные, печальные слова доносились до ДэПроклова словно бы из дальнего печального далека:

«Я все это время думала о тебе... и слышала, что ты тоже думаешь обо мне... Это было так хорошо, Дима-Дима. И твои четыре письма... Спасибо тебе. У меня здесь (она взяла его руку и приложила ладонью к низу живота) уже ничего нет. Все повыврезали... А когда я думала о тебе... а ты — думал обо мне... это не имело никакого значения, честное слово! Спасибо тебе, Дима-Дима, спасибо тебе, спасибо...»

А за окном шел серый нескончаемый дождь. И он — проснулся в слезах.

Никогда никого в жизни он так еще не жалел, как Надию из этого сна.

Он добыл из-под одежды, лежавшей на стуле, новоприобретенную игрушку свою, стал с опасливой уважительностью изучать. Пистолет по-прежнему радовал руку, рождал в душе ни с чем не сравнимое ощущение защищенности в этом мире, уверенности и вескости. Но — он представил, как нажимает спуск направленного на Голобородьку этого пистолета, как Голобородьку мгновенно превращается... во что превращается? в *ничто* превращается — и с унылым презрением к себе понял, что Валера, пожалуй, прав, не сумеет он этого.

Надо ведь будет, с еще горшим унынием и брезгливостью подумать он, как-то так все обставить, чтобы никто не показал пальцем на Проклятикова, и это ведь не кино, не книжка, не под силу тебе, бедный Проклятиков, выдумать что-то, такое хитро-мудрое и, главное, настолько простое, чтобы никто даже и не затеял поиски убийцы. А убийцей непременно должен быть он?

С презрением он поймал себя на том, что торопливо колит мыслью, стараясь как-нибудь увильнуть от задуманного, с усилием пересилил себя и заставил свою память, испытывая при этом напряжения почти физически ощутимые, вновь вернуться к Наде, к тому, что сделал Голобородьку с Надей, к тому, какой Надя явилась ему только что во сне.

Лютая ненависть к Голобородьке оставалась, оказывается, неизменной. Какой-то, самый темный и глухой угол его души был прямо-таки загроможден этой ненавистью.

И все же... И все же, и все же — он с отчаянием никак не мог отыскать в себе такого, который смог бы сделать это!

Впрочем, как он уже догадывался, от него уже мало что зависело. «Ду глаубст цу шибен унд ду вирст гешобен...» — усмехнулся он, одновременно же поразившись, сколько словесного случайного хлама осталось в его башке со времен высшего образования. «Тебе кажется, что ты идешь, а на самом деле *тебя ведут...*» — так подумал он, когда Валера, войдя в его комнату, объявил, что сейчас они позавтракают и в темпе рванут в аэропорт, он, Валера, уже звонил, договорился с русским транспортником, они возьмут Проклятикова без проблем, через два часа будешь под Москвой.

— Быстро у вас тут дела делаются, — опять похвалил Проклятиков.

— Транспортник на нас работает. Совместное предприятие. Туда фрукты-яблоки, оттуда (он засмеялся) тоже фрукты-яблоки, чтобы шакалы подавились!

Проклятиков стал одеваться. Показал на пистолет:

— Не передумал?

— Нет, — ответил Валера, отвердев лицом.

— Тогда... — обнагтел Проклятиков, что-то смутное быстро подумав о Камчатке, о Дальнем, о Са-ше, — тогда сыпани еще патрончиков! Про запас.

Валера принес запасную обойму и пригоршню патронов россыпью. Выйдя на улицу, к «жигулям», поджидавшим их, Проклятиков посмотрел на номер дома, на название улицы. Сказал:

— Сразу же напишу. Нет, телеграмму пришлю. Если в телеграмме будет: «приеду летом», — значит, все в порядке.

— Дай на минуту, — сказал Валера, уже сидя за рулем, и показал на пояс Проклятикова, где был пистолет.

Быстро вынул обойму, выщелкнул верхний патрон. Перочинным ножиком нацарапал на пуле некое подобие креста. Очень торжественно и театрально запечатлел на патроне поцелуй и снова снарядил обойму.

— Первая пуля — моя, — еще раз напомнил он, почему-то с некоторой даже угрозой. — Поехали!

Проклятикова эта сцена покорила — чересчур уж мелодрамой отдавало, мексиканским кино.

И опять он с раздраженным неудовольствием почувствовал, что он — не свободен, опять повязан какими-то тенетами, опять не он самолично идет, куда ему надо, а его *ведут*!

И опять он услышал, как словно бы ожесточенная возня началась в его духовном нутре: раздражившийся, в отчаяние впавший ДэПроклов вновь пытался высвободиться, порвать нечаянные путы, с извительным визгом вырваться вон из Проклятикова!

«Ты не мучайся, не жги понапрасну нервы, так уж случилось...» — говорил он себе, как больному. — Наступит завтра, послезавтра, и то, что должно произойти, станет уже вчерашним днем. Подумай-ка лучше о том, каким оно будет, твое послезавтра.

...Тихий день будет, солнечный, тихий.

— Ну, Робинзон Робинзоньч, дальше — сам! Нам до ночи надо домой добраться, — скажет Витюша, с улыбкой, одобрением и легкой завистью глянув в лицо ДэПроклова.

Лишних слов не будет.

«Газик», многотрудно завывая, развернется в три приема на узкой, уже зарастающей мелким кустарником дороге, Витюшино лицо еще раз мелькнет в окошке, приветственно поднятая ладонь, и — он останется один.

Посидит, покурит, слушая тишину, рассеянно оглядывая порядочную груды ящиков, мешков и укладок, которую сгрузили с «газика» и которую надо будет теперь переташить на берег, чтобы уже оттуда переправить все это богатство на противоположную сторону озера — к избушке Крохинусов, которая казалась отсюда совсем уже ветхой, совсем уже вросшей в землю.

Он не будет торопиться. Там не надо будет никому торопиться. Никогда больше никуда не будет он торопиться.

Когда он составит на землю последний ящик, солнце уже зацепится за вершину сопки, стеной стоящей над озером, и тень, как бы уже предвечерняя, падет на озеро.

И в этой сиреновой тишине, неспешно работая веслами, он поплывет к избушке на ту сторону озера, тихо волнуясь своей будущей встречей со своим будущим домом.

И все будет тихо, и все будет неспешно — как в хорошем, счастливом сне.

Голобородьку в городе знали.

— Ну и дружки у тебя... — только и сумел, что покачать головой, Деникин — ответственный нынче секретарь городской газеты, а в те, стародавние, времена — просто Юрка, шепутной и не очень удачливый, тем не менее всегда преисполненный оптимизма внештатник-рабкор.

— Ну-ка, ну-ка! — Проклятиков сделал стойку, — Расскажи-ка с подробностями!

— Противно, Дима... — поморщился тот. — Ну, возник года два назад. Ну, пролез без мыла во все местные задницы. Откупил четыре ларька. Кооператив спялал. «Ротонда» называется. Торгуешь... ну, чем они все торгуют? — дерьмом заморским: сликеры, памперсы, твиксы... Пытались, правда, его прихватить. Дважды. Первый раз — на балованной водке. Было даже подозрение (да оно и сейчас есть), что где-то у него заводик. Откуда-то технический спирт добывает, разбавляет, закупоривает. Но дело быстро замаяли. Объяснять почему?

— Нетрудно догадаться, — усмехнулся Проклятиков. — А во второй раз?

— Второй раз — чуть до суда не дошло. Пригнал четыре грузовика говядины. Сторговал по цене ниже рыночной. Нарасхват шла. Санэпидстанция, когда чухнулась, за голову схватилась: счетчики Гейгера в пяти шагах от ларька начинали шкалить. Один наш паренек устроил журналистское, как говорится, расследование, статью написал: мясо закуплено где-то на Гомельщине, в чернобыльской зоне.

— Ну и?..

— Ну и... Статья уже в полосе стояла, когда явился автор и без объяснений потребовал снять. Чуть ли не плакал. Так что опять твой Голобородько извернулся. Он — что, и в самом деле твой приятель?!

— Нет, конечно. Скорее, наоборот. Неприятель моих приятелей, — туманно объяснил Проклятиков. — Просто интересно. Лет пять назад я его знал.

— Эволюцией дерьма в природе интересуешься? Ну-ну.

Надел очки, пододвинул гранки.

— Устало выглядишь, — заметил Проклятиков.

— Наверное, — сухо согласился тот. — Одна настоящая мечта осталась: до пенсии дожить. Вот так-то, ДзПроклов.

Увидел он его неожиданно-негаданно — в двух шагах от редакции.

«Москвич»-пикап стоял, распахнув заднюю дверцу, и Голобородько на пару с водителем оживленно и торопливо таскали картонные какие-то коробки в ларек под вывеской «ТОО «Ротонда».

Голобородько ничуть не изменился — все такой же полноватенький, лысоватенький, бесцветненький господин. Разве что костюмирован был по-новому: кожаная куртка, белые штаны полушароварами, ботинки-кроссовки.

Азартен и весел был Голобородько, уверен в себе и премного доволен собой.

Проклятиков выпагнул из-за угла киоска и встал на виду.

Тот мазнул его беглым взглядом, раз. Выходя из ларька, глянул уже сосредоточеннее, два. На третий раз остановился взглядом, раздумывая.

— Э-э... — он сделал вид, что вспоминает. — Как тебя... Э-э...

— Вот именно, — сказал Проклятиков и подошел на шаг-другой.

— Проклов! — с необыкновенной радостью воскликнул наконец Голобородько. — Ей-богу, Проклов! Какими судьбами в нашем тихом городишке?!

— Проездом.

— Ну, заходи, заходи! Рад видеть!

— А уж как я рад, словами не описать.

— Да? — Голобородько посмотрел быстро и не-

приятно, затем повернулся к водителю, выходящему из ларька: — Сюда — хватит! Остальное свали на Добролюбова, и возвращайся.

— Ба! Знакомые все лица! — усмехнулся Проклятиков, глянув на напарника Голобородьки, чужая опасность, вдруг придвинувшуюся к нему.

— А и вправду, знакомые! — ясно заулыбавшись, воскликнул водитель. — Вот только где встречались, никак что-то не припомню.

— Припомнишь, — сказал Проклятиков. — Если очень захочешь. Я-то твою рыбку долго не забуду... Отличная была рыбка!

— Правда? — все так же нагло-весело обрадовался усть-кореньский знакомец. — Вам понравилось?

— Езжай! — раздраженно приказал Голобородько и, обращаясь к Проклятикову, необыкновенно радушно добавил: — А мы пока тут выпьем, закусим, разговоры поразговариваем. Сколько же мы не виделись?

Они затиснулись в тесное пространство ларька. Проклятиков сел у дальней от входа стенки. Голобородько — у дверей, будто караульщик.

— Что пить будешь?

— Не пью.

— Ну, это ты брось! Ни за что не поверю. — Добыл пластмассовые стаканчики, налил из какой-то пестрой бутылки, предварительно с хрюском свернув ей пробку. — Как живешь?

— Твоими молитвами.

— Надя что-то рассказывала, не помню... Какие-то неприятности у тебя, вроде бы, были?..

— Тебе ли не знать. А Надю, что же, ты тоже в ларек посадил торговать?

Голобородько быстро и оценивающе посмотрел прямо в глаза Проклятикову.

— Нет. Неужели ты не знаешь? Она умерла.

— Вот как? И — отчего же?

Голобородько аж дернул головой от спокойной иронии вопроса.

— Долго болела. Мучилась. Не выдержала, в конце концов.

— Ага, — все так же иронически заметил Проклятиков, — стало быть, самоубийство?

— Да... — скорбно ответил Голобородько, очень натурально судорожно вздохнув.

— Очень она вовремя это сделала, правда?

— Что ты говоришь, Дима?! — отчаянное горе горькое послышалось в возгласе Голобородьки. — Для меня это, поверь, было...

— Трудно, конечно, было. Верю, — с приятельскими интонациями посочувствовал Проклятиков. — Зато потом! А? И — начальный капиталец, и собственное дельце... А?

— Что ты говоришь, Дима? — Схватился за стаканчик: — Что ж ты не пьешь? Выпей!

Проклятиков поднялся и вытащил из ремня пистолет.

— Я с трупами не пью.

Увидев пистолет, Голобородько оцепенел. Даже в полусумраке тесной этой конуры стало видно, как он поблдевал, как задрожал лицом и всей головой, затравленно глядя на железяку в руке Прокляτικού.

Тот сделал шаг и прижал дуло ко лбу Голобородьки. Голобородько пытался что-то сказать, но уже не владел речью, только сипел.

«Нажать, мозги вылетят на прилавок, центральная улица...» Он слушал как бы свой собственный голос, но доносившийся из ужасного далека. «Предохранитель не снял. Курок не взвел. Ах, как приятно видеть эту рожу, обомлевшую от ужаса».

— Ты, гнида, жить не будешь, — сказал Проклятиков. — Я тебе это обещаю. — И с несказанным удовольствием впечатал рукоятку пистолета в ясный, с залысинами лоб Голобородьки.

— Уй! — совсем по-детски вскрикнул тот и с готовностью закрыл лицо руками.

— Ты, гнида, жить не будешь, — повторил Проклятиков, выбираясь из ларька.

Оглянувшись, увидев, что из-за растопыренных на лице пальцев с сияющей ненавистью смотрят на него глаза Голобородьки. По пальцам не обильно текла кровь.

«Убийца хренов! — с веселой издевкой сказал Проклятиков, ворвавшись в номер и мельком увидев себя в зеркале. — Киллер гребаный! — продолжал он пиявить себя словами, снимая трубку телефона. — Только ведь спугнул! Улепетнет Голобородько куда-нибудь в тьмутаракань, ищи-свищи его тогда!»

Он заказал Москву по самому срочному тарифу, запер двери и стал ждать.

«Не-ет! — подумал он через некоторое время. — Не будет улепетывать. Весь капитал его здесь. Никуда он от него не денется. Он скорее сдохнет, чем с «Ротондой» своей расстанется. А вот на тебя, Дэ-Проклов, жди! — он охоту объявит, если уже не объявил».

Мысль была страшноватенькая, но ему было на удивление легко и весело, и освобожденно. Он убедился, что не в состоянии убить человека, и ему было радостно от этого.

Он позвонил Деникину:

— Юра! Найди местечко, где перекантоваться денька два-три.

Тот стал кряхтеть, мямлить, с неохотой и сомнениями дал два телефона прежних знакомых. Знакомые, хоть и сделали вид, что рады звонку, но в приюты отказали.

Впервые за последнюю неделю у Проклятикова заколодило. Как все складно и просто получалось, когда его вели к смертоубийству! И настолько все осложнилось, когда ему потребовался угол, где отсидеться... Прямо-таки как в Библии, изумился про себя Проклятиков. Как там? «Широки врата и просторен путь, ведущий к погибели... тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь...»

Проклятиков растерялся. Одно, что он знал наверняка, так это то, что в гостинице ему оставаться нельзя. Если через час он отсюда не свалит, появится усть-кореньский бичок, а может, и кто-то другой, из местных. Сам Голобородько, конечно, не явится.

Чтобы не терять времени, собрал вещи, поставил сумку у дверей.

Его торопливо колотило. Он рвался бежать, но телефон, как на привязи, держал его. «Ну, звони же! Звони!»

Телефон молчал.

«Звони же! Звони!»

Телефон зазвонил.

Это был Деникин. Лениво и без охоты сообщил, что жена его, оказывается, собралась к матери в деревню, так что, ежели нужда еще не отпала...

Тут ворвался голос телефонистки: «Москву заказывали?»

Вялый, немощный баритончик Валерьяныча слышался в трубке:

— Вас слушают...

— Валерьян Валерьяныч! Это, надеюсь, не автоответчик?

— А-а! — тот, видимо, усмехнулся. — Это вы? Говорите. Я — не автоответчик.

— Значит, так. Задание Родины и правительства выполнил. Записывайте. Игорь Голобородько. Автор той самой — ну, вы помните, наверное... — заметки в газете, с которой все началось.

— Я так примерно и думал.

— Сейчас он в... (Проклятиков назвал город).

Держит ТОО «Ротонда». Я с ним беседовал. Между прочим, весьма злорадствовал, что в числе прочих пострадали и вы. Но это я так говорю, между прочим. Если вы желаете провести с ним воспитательную беседу, советую поторопиться. Не сегодня, так завтра может слинять. Очень уж он напугался моим визитом. Отыскать его просто. У него четыре ларька. На Третьего Интернационала, на Добролюбова, и два — на Центральном рынке. Машина для перевозок — «москвичок»-пикап — номер 32-23 ВЛА. Шофер — он же, насколько я понимаю, и охранник. Очень серьезная личность, имейте в виду. Пожалуй, все.

— Ну, что ж... — отозвался Валерьяныч после некоторого молчания. — Информация исчерпывающая. Можете возвращаться. Я подумаю над тем, что вы сообщили.

— Только думайте быстро. Он всерьез напугался.

— Не беспокойтесь. Вернетесь в Москву, позвоните.

У Проклятикова зудела спина — в ожидании пули, что ли? — когда он стоял возле стойки администратора и рассчитывался за номер.

Наконец, выскочил из гостиницы, перебежал площадь и сел в сквере перекусить, прежде чем идти в редакцию к Деникину.

Не зря он торопился. Едва успел зажечь сигарету, как недалеко от гостиницы тормознул «москвич»-пикап с номером 32-23 ВЛА.

Из соображений принципиальных Деникин собирал книги исключительно приключенческого жанра.

За два дня и три ночи, проведенные под кровом ответственного секретаря, ДэПроклов прочитал всего Жюль Верна, Стивенсона и взялся было за Александра Дюма-пэра, когда Деникин, вернувшись с работы, сообщил как бы мимоходом, но глянув при этом на Проклятикова весьма любопытствующим взглядом:

— А этот-то... приятель твоих неприятелей, неприятель твоих приятелей... Голобородько...

— Ну?

— Приказал долго жить.

— Ну да?!

— Жил грешно, а умер смешно. На складе. Штабель ящиков со стеклотарой повалился, ну и...

— Ай-яй-яй-яй! — сокрушенно покачал головой ДэПроклов. — Это ж надо же, как не повезло! Ай-яй-яй! — и стал собирать пожитки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Биоэпиляция

Обучение и продажа смолы.

109378, Москва, д/в Савельевой.

Тел. (095) 378-86-12.

Редакция журнала «Юность» приглашает к сотрудничеству

студентов и всех, нуждающихся в

дополнительном заработке.

Справки по телефону:

251-27-29



К нашей обложке

Виктор ЛИПатов

ПРЕСЛАВНЫЙ МУДРЕЦ

Гоним великого страха ехал иконописец Феофан на Русь. Он бежал от себя самого и выступал проповедником силы и гнева Божьего. Грешники будут покараны, кающихся справедливо взвесит длань Господа.

Его, Феофана, духовная обитель, византийская цивилизация, рушилась. Еще кичилась прежней пышностью, еще лукаво мудрствовала в речах и писаниях, еще надменно раздавала пинки соседям, но уже века былой славы тянулись за ней кровавым шлейфом и увлекали на дно истории.

Ее осколки были подобны лдянкам Снежной королевы — они проникали в душу и сердце. Феофан чувствовал, что у роскошного костра бурно кипящей византийской жизни он застывает. «Ты, отвратительное время», — писал Никифор Григор, и он был прав.

Патриарх одобрил его выбор. Патриарху пришлось по душе фрески, которыми Феофан украшал константинопольские церкви. Страх великого сосредоточения опалил душу созерцающего и приносящего молитву. Патриарх придал бегству Феофана видимость посольства и подвижничества. Великое северное пространство избежало пагубного влияния латинян, там восторжествовала вера в

истинного Христа. Но вера эта нуждалась в укреплении, а с востока на северные форпосты христианства накатывалась татаро-монгольская орда.

И патриарх, и Феофан недоговаривали. Первый еще надеялся на чудесный расцвет Византии, второй твердо стоял на земле, пропитанной хлюпающей влагой греха.

На корабле Феофан прибыл в крымскую Кафу и был очарован беспокойным портовым городом. Запах азарта и свободной торговли с утра до поздней ночи витал над опаленными солнцем улицами. Но Феофан искал служения. Ему нужны были храмы, огромные пространства церковных стен, на которых он мог бы сотворить великую идею поклонения Господу. С новгородскими купцами он отважно уехал в далекий северный город. Там, в Новгороде, и началась его жизнь на Руси, длилась она более тридцати лет, превратившись в огненно-путеводный след, которым пошли, порой противореча и противодействуя, многие русские иконописцы. Именно вслед за Феофаном поднималась звезда Рублева и возникало нежное сияние Дионисия.

Истинная фамилия Феофана неизвестна, возможно, он сам назвал себя Греком — как антитезу латинскому западному миру; возможно, Греком назвали его новгородцы, как выходца из Византии.

Иногда Феофан ощущал себя великим грешником. Богом творимое — неповторимое. Неповторимость жизни вступала в противоборство с исихией, бесстрастием, тишиной сосредоточения. Гордыня обуревала Феофана, и он долго отбивал поклоны, но, отмолившись, вставал с теми же мыслями. Жизнь магнитно притягивала. Впрочем, то была и особенность русского бытия. Здесь, на Руси, с первых же шагов столкнулся он со свидетельством удивительной жизнестойкости русского народа: Бог здесь не восседал только в храмах, но шел рядом с людьми по улицам, находился с ними в труде и в бою. Бог и жизнь были неразрывны для русских людей. Феофана попросили рас-

писать церковь Спаса на Ильине не только как дом Божий, но и как памятник ильинским уличанам, погибшим в сражении с тверским князем.

«Начало премудрости страх Господень».

Трудно преодолеаема земная суть. Великие столпники, сросшиеся со столбами, птицы в гнездах-чашах, опустив свои бороды, истончают плоть до ткани духа, а мысль избавляют от лукавства и суеты. Нам бы в молчаливости, а не в Молчалины, жизнью крутой мы все измочалены. Апостолы наполняются силой Христовой, но ноги их, ступая по земле, впитывают смятение земное. Учителя. Святители. Ангелы грозные. Непререкаемого величия, яростно-могучей силы исполнен Спас, его всезнающие-бесстрашные черные глаза провидят дали и не оставляют сомнения: вы должны отдать все или ничего. Он велит, ведет и открывает. Вы на ярком-ярком свету, где ничего не утаиваемо, а все ваши грехи, все ваши греховные помыслы — вот они, перед судией грозным и справедливым. Страх Господень. Невероятно огромным было расстояние от молящегося до Господа, невероятно труден был путь человека к Богу с каменно тяжелым грузом грехов. И тем не менее именно о милосердии свидетельствуют слова, начертанные Феофаном вокруг Христа Пантократора: «С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников». Страх наказания и милосердие оказались родственными.

Когда петухи раздирали морозную новгородскую ночь — думал Феофан Грек о том, что идет латинское нашествие с запада, татаро-монгольское — с востока, а здесь сердцевиной материка — Русь. Казалось ему — здесь, среди бурлящего, непокорного, восстающего из небытия народа — сердце мира. И когда новгородцы не пошли с Дмитрием Донским на Куликово поле, нарисовал он Богоматерь Умиления, прозванную впоследствии Донской, и послал московскому князю. Была Богоматерь исполнена силы могучей и надежды, по-византийски темна лицом. Бережно несла она в руках дитя свое — Иисуса. Икона эта освятила битву правых с неправыми. Кровью потекли Дон и Непрядва. И побитый уполз в свою нору «паганый Мамай». Затем налетел на Москву Тохтамыш. И освятила битву с ним другая византийская икона — Владимирской Богоматери. Казалось Феофану, тогда уже жившему в Москве, что великая Византия пришла сюда на Русь в ликах святых, пришла ее вера и стала стражем на границах. А он, иконописец, был ее послом, ее провозвестником, видевшим на измученной татарами, чумой, неурожаями земле отблески «нетварного света».

В Москве Феофан Грек расписал церковь Рождества Богоматери, Архангельский собор и Благовещенский собор (вместе с Прохором с Городца и Андреем Рублевым). А всего сорок церквей расписал Грек. Сжигающей лавой, нечеловеческим напряжением, сомнением, гневом и страхом дышали его иконы и фрески. Кисть-молния освещала их всполохами пронзительной феофановой мысли и темперамента. И выходили к людям нетерпеливо-подвижные пророки Грека — неулыбающиеся, уносимые вихрем неумолимого рока. И всюду — суд, и всюду — приговор страстей великих. Белыми выскерками пронесся по его фрескам огонь душевный. Две энергии встречались: воля человека и высшая искрометность — возникла вспышка, блики на фигурах — света внешнего и света внутреннего. Среди буйства внимательно-смиренны глаза. Так писал тогда только он.

Индивидуально неповторимы лица его святых. В своей грозной живописи хотел Грек воссоединить античность и христианство. Ему претили формалисты церковники, упивавшиеся своей победой над античностью и каленым железом выжигавшие эллинскую вольность, изящество и неожиданность. А размахистый, напоенный динамикой мазок Феофана нес именно свободу эллинского духа, дик-

товавшую выбор только своего пути. Живопись Феофана — это протест против канонизированной безликости, против стандарта серости-ржавчины.

Однажды Феофан Грек почувствовал, что истаяли в нем льдинки-осколки прежней византийской настороженности. Ему не захотелось более пугаться самому могучей силы Всевышнего и пугать ею прихожан. Разительно изменилась его живопись. Мед-золото в лице Христа — царя справедливости. «Бог есть бла». Вся наша доброта, вся ласка надежд в этом лице — лике Господа, приближающегося к человеку. Феофан Грек понял, что жизнь его удалась. Что пришел он к цели своей, к себе самому, к Богу, не только справедливо карающему, но согревающему вечным теплом своим, но восходящему над Вселенной во имя расцвета и рассыпающему вокруг божественные искры. Одну искорку ощутил Феофан в своем утасующем теле. И был счастлив оттого. Русь взяла его под свое крыло. И он стал перышком в этом крыле. И был счастлив оттого. Его всегда волновало колышание человеческого духа-культуры: то болезненная вспышка, то угасание, то вновь нарастающий ритм возрождения. Феофан знал: Христос не допустит падения человеческого рода в трясины корыстолюбия и разврата. Здесь, среди гиперборейцев, северных людей, овеванных свежестью мороза и наполненных дикой природной силой, он почувствовал себя родственно. Они были не лучше и не хуже многих других племен, но они были устроителями, их вера в Бога была искренна, а белая простота их храмов очищала их души от скверны.

Феофан знал, в чьи руки передаст факел из рук своих. Высокий, легкий, задумывающийся Андрей Рублев. Учился он у Грека писать прямо по свежей штукатурке. Даже в рублевской «Троице» замечали впоследствии манеру стенописца, успевающего положить точный мазок на быстро сохнущую штукатурку. Грек был щедр — не таил ни мастерства, ни сокровенных раздумий. Вокруг него всегда собирались люди, их поражала умелая быстрота и возбудимость кисти великого мастера. А Грек расхаживал, пристально взглядывая на каждого «острыми» глазами, и озадачивал слушавших притчами. Современники знали художника и как философа, «преславного мудреца». У Грека — философия разума бунтующего! Торжество праздника и мелодии тишины душевного отдохновения в иконах Рублева.

Безгневен и милосерден.

Феофан был импульсивен, всю жизнь он гнался за парадоксами мысли, ему крайне любопытно было искать прорывы к неведомым прежде решениям. Он стал соплеменником русичам, стал первым среди русских иконописцев. Принял Русь, как вторую родину. И все-таки первично в нем было византийское грозное начало, а истинно русскую природу естества нес в себе Андрей Рублев.

Безгневен и милосерден.

Следовало прожить новую жизнь среди этих дремучих лесов и бескрайних степей, напиться с детства воздухом и песнями этого своенравного народа, чтобы сочинить думу о согласии, мечту о гармонии, тишину осознания. А Феофан Грек был учителем, наставником и немного пророком. «Преславный мудрец, философ зело хитрый Феофан, родом грек, книги изограф нарочитый и среди иконописцев отменный живописец...» Он стоял за кафедрой, он был на сцене, а Андрей Рублев был своим для народа. И Феофан понимал — переместись и он в людское месиво, все равно останется в отдалении, за кафедрой, на авансцене искусства. И он не грустил о несбыточном. «Дивный и знаменитый муж», он достиг возможных вершин и выполнил свою миссию. Открыл близким ему людям лицо Бога, явил остроту мысли и подарил преемника. И его гордыня, и его смирение воплотились.

Что мы за птицы? Мы — византийцы...

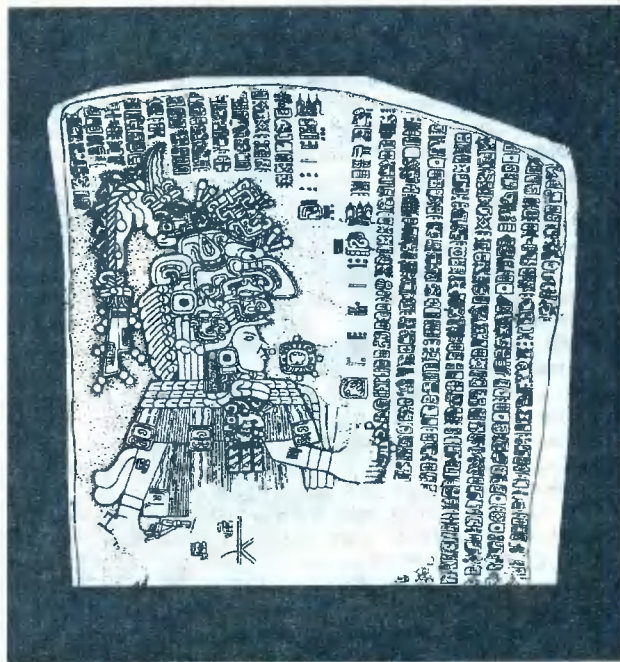
Геннадий СМОЛИН

НАРОД ЯГУАРА — ПЕРВАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Пятнадцать веков джунгли скрывали в себе эту тайну. Удача выпала американскому археологу Джеффри Уилкерзону. Ему удалось сделать открытие, которое должен был совершить каждый из жителей деревни Эль Питаль, вблизи которой возвышался огромный холм правильной четырехугольной формы, упрятанный под мощным слоем земли. Сама же деревенька находилась в 100 километрах северо-западнее города Вера Крус и в двухстах километрах восточнее Мехико.

Камуфляж был настолько совершенен, что ни разу никто из жителей окрестных деревень не заподозрил в этой цепочке покрытых садами и полями холмов, окружающих Эль Питаль, погружившийся в землю город. Но Уилкерзон не купился на такую бутафорию.

Находка оказалась самой настоящей научной сенсацией. Уилкерзон наткнулся на метрополию самой высшей ступени цивилизации на Американском континенте, не известной до наших дней. Он разыскал по сути народ или,



лучше, другую «галактику» людей, истоки которой хранит глубина веков.

Ольмекены, так был назван этот народ, — это, скорее всего, самая древняя цивилизация в Америке из известных нам: адтеков, майя, толтеконов. Как полагают ученые, между 1200 и 400 годами до Р.Х. ольмекены господствовали на всем побережье нынешнего Мексиканского залива и плоскогорья Тукстля; ну а их потомки растеклись затем почти по всей Центральной Америке. Открытие ученого не только наэлектризовало мировую научную общественность, но и придало изыскателям второе дыхание. Наши естествоиспытатели, судя по предварительным раскопкам, пришли к фантастическому заключению: этот, словно вынырнувший из глубины веков, гордый город, оказался своеобразной осью, соединившей через пространство и время большинство известных исследователям цивилизаций поздних времен...

А сам Уилкерзон без обиняков заявил (в недавней своей статье в Североамериканском журнале «Nation Geographic Society»): «Благодаря этому открытию, современные взгляды на исторические процессы в Центральной Америке могут коренным образом измениться».

Действительно, если обнаруженный в 1785 году город Эль Таджин раскидывался на 60 километров, то открытый археологами Эль Питаль коренным образом превышает все найденное до сих пор и своими размерами, и, главное, величием постройки по сравнению со всеми известными сооружениями этого региона.

На нынешний день изыскатели определили местонахождение свыше 100 пирамид. Все эти грандиозные сооружения рассредоточены на площади в 104 квадратных километра. Иные постройки едва возвышаются над местностью, достигая всего 40 метров в высоту; ну а многие другие достигают объема свыше 73000 кубических метров, то есть в десятки раз больше, нежели центральная пирамида в Эль Таджине. Сам же храм, обернутый каменными одеялами, выпростался из земельного плена, лишь благодаря землетрясению. Более того, как показали изыскания, жители древнего Эль Питала являлись пионерами в сфере применения примитивного цемента в таких рукотворных сооружениях.

Цитируя все того же Джеффри К. Уилкерзона из «National Geographic Society», постараемся как бы подытожить недавнее открытие археологов: «Мы обнаружили центр торговли и политики. Но что нас потрясло более всего, так



это довольно-таки сложная система водополива, которая направлялась из города в прибрежные области «эдемских садов», то есть на поля и плантации...»

Как показали исследования ученых, этот небольшой рай длился недолго, лет 500, примерно со второго по седьмой век нашей эры. То есть, ольмекены процветали еще за тысячу лет до известной империи ацтеков и где-то одновременно с племенами майя, которые располагались от них чуть далее на Восток. В городе обосновались приблизительно 20 тысяч жителей — это чрезвычайно много по тем временам.

Бывшие обитатели Эль Питалья жили богато, в роскоши. Их храмы украшали колонны, а жители жертвовали богам кристаллы кварца и зенящие копыя из камня. Протяженная аллея, длиной до 2-х километров, направляла паломников к близлежащей гавани искусственного залива (кстати сказать, нынче Эль Питаль лежит в 15 километрах от моря). К этой же гавани вела река Наутла, которая в те времена была судоходной вплоть до городской черты. Сделанные многочисленными находками показали, что жители побережья поддерживали теснейшие связи с удаленным от них на триста километров могущественным городом-государством Теотихуаканом, это почти сегодняшшний Мехико.

И что любопытно, куда бы ни падал испытующий глаз археолога, всюду он открывал «след» ольмекенов — в культовых ли предметах, стелах или орудиях труда у более поздних цивилизаций. Вновь открытая культура заполнила многие пробелы в той сложной головоломке, что представляет собой пестрое народонаселение Центральной Америки времен античности. Сам Уилкерзон признал, что «данное открытие наводит мосты через временные пропасти между известными цивилизациями от 300 года до Р.Х. до 300 года после Р.Х., а также к некоторым более поздним классическим городам-государствам». Некоторые археологи смело полагают, что торговля и культурный обмен в те стародавние времена достигали аж Миссисипи. Благодаря таким транснациональным связям в языках ли, в культовых ли знаках — остались яркие пометы от памятников Эль Питалья.

Таким образом, величайшая тайна, которая висела над жителями Эль Питалья, постепенно стала открываться. Но до сих пор никто толком не знает, к какому народу-племени их относить. Археологи лишь подступают к этой непростой задаче.

Самое интересное, что в каждом городе исследователи находили гигантские поля для игры в мяч. Во всей античной Америке тех лет ритуальные игры в мяч были любимы и почитаемы и даже сохранились до сих пор, как «juego de la pelota». В этом смысле ольмекены признаны сегодняшними изыскателями как особенно пылкие игроки в мяч. Каучуковые мячи в обилии находились и находятся археологами. До сегодняшних дней такое ацтекское слово, как «нахуатль», означает их имя — «люди из страны каучука», в котором кроется их происхождение: народа, вышедшего из каучуководеляющих провинций Вера Крус и Табаско. А такие понятия, как томаты, какао и ряд календарных наименований, проистекают из той же Ольмекении.

В эпоху, соответствующую временному пространству между Троянской войной и афинским золотым веком — ольмекены были господствующим народом, но все-таки данная цивилизация не исчезла после своего пышного расцвета бесследно. Благодаря достижениям ольмекенов в искусстве, политике, религии и экономике, как считают многие исследователи, «материнскую культуру» впитали все поздние центрально-американские цивилизации, включая племена майя и ацтеков.

В своей ранней фазе ольмекены возводили постройки с массивными глиняными стенами и лестницами. Приблизительно в это же время фараон Тутанхамон обессмертил себя в Египте тем, что был погребен в гигантской пирамиде. Ну а в тот стародавний период, когда знаменитый Гомер создал свою неподражаемую «Одиссею», ольмекены в Центральной Америке научились создавать специальные заводы по выпуску потоком хорошо обработанного камня для ремонта своих построек, а также стали создавать ги-

гантские водополивные системы, благодаря которым два раза в год снимали урожай.

В 1987 году деревенским жителям южномексиканской местности Эль Манати открылись новые грани культуры ольмекенов. При рытье пруда для разведения рыбы они натолкнулись на целый клад, в котором были обнаружены отполированный до глянца каменный топор в виде головы, человеческие кости, каучуковые мячи и деревянные бусы с черно-красными раскрашенными лицами.

Интересны замечания директора и археолога «Географического общества» Джорджа Стюарта. Он сказал: «У нас воссоздается сегодня действительная картина сложного общества, которое изобрело собственную космологию, ритуальное жертвоприношение и довольно-таки развитую церемониальную игру в мяч — то есть все радикально-отличительные черты великих цивилизаций».

Ну, а истоки происхождения страны ольмекенов находятся, скорее всего, в Тукстла-горах, то есть в приграничном районе между Вера Крусом и Табаско. В средние века здесь находили их следы на всем протяжении у жителей гор центральной Мексики вплоть до Эль Сальвадора на западе.

Например, в Тлатилко — всего лишь несколько миль от Мехико — распространены украшения с типичными крыльями, когтями и мордами-пастями, и все это в керамическом исполнении. Приблизительно в тысяче километров юго-западнее, при Копан в Гондурасе, внезапно появляются ольмекенская керамика и украшения подобные тем, что найдены в захоронениях времен, предшествующих племен майя, а также идентичных предметам из захоронений при Куэлло из Белиза.

На сегодняшний день важнейшее место находок ольмекенской культуры — так называемый «Храм Бога Ягуара». Это место находится у слияния Амакузака и Баласа, что приблизительно в 320 километрах западнее Трес Запотес. Там археолог Мартинес Доньян (Мексиканский национальный институт археологии и истории, Гваделупа) открыла в 1983 году в глубоких слоях остатки от построек ольмекенов, среди которых знаменитая голова ягуара в оформлении внутреннего двора.

До сих пор остается большой загадкой, каким образом ольмекены транспортировали камень в здешнюю колонию. Многие эксперты полагают, что они перевозили громадные обломки, до 20 тонн, из базальтовых каменоломен через всю страну на санях, которые волокли до реки, а отсюда на больших плотах по воде — до места назначения. Особенно впечатляет трон, монументы и колоссальные человеческие головы из камня, которые ваятели-ольмекены вытесали к женьтибе своего господина.

Еще открытие подобной скульптуры в 1860 году возле Трес Запотеса впервые заострило внимание мировой общественности на ольмекенах. Найденная голова из базальта — почти что в полтора метра высотой и весом до 8 тонн. Правда, лицо у идола невыразительное, с толстыми губами и плоским носом, но с пристально смотрящими глазами. Его головной убор напоминал современный шлем и, по всей видимости, защищал обладателя онного во время ритуальных игр в мяч.

Микаэл Кое из Йельского университета (США) отметил, например, «своеобразную меланхолию», красной нитью пронизывающую большую часть искусства ольмекенов. Например, отполированная фигура из нефрита плохо передает нрав инфантильного существа, у которого раздвоенная голова, извивающиеся языки и звериные клыки. Другие изделия изображают ягуара, характерный символ стран Центральной Америки, освящающий данную политическую власть, как знак Космоса. Правда, встречаются химеры — симбиоз ягуара и человека.

До последнего времени полагали, что у ольмекенов существовало высокоразвитое искусство, но без письменности, а посему определенные понятия или идеи не могли передаваться из поколения в поколение. А у потомков этих «каучуковых людей», эпи-ольмекенов, исследователи встретили уже календарь, который в свою очередь переняло племя майя. Уже этот факт наводил на естественную мысль:

письменность все же была, но ключ у эпи-ольмекенов к ней был утрачен.

Помог, как всегда это бывает, случай. В ноябре 1986 года задумали жители проложить через реку Акула сходни. Один из мужчин обнаружил в прибрежной тине притопленную каменную стелу с параметрами: 2,5 метра в высоту, 1,5 метра в ширину и весом 4 тонны. На стеле было искусное изображение мужчины, на шлеме которого водружена шутовская маска. На верхней части туловища у него одеяние из перьев внахлест. По краям выгравирован 21 текстовый столбец странных знаков. По мнению специалистов, это есть самые обширные (из найденных до сих пор) записи, обнаруженные в Центральной Америке. Сия четырехтонная находка пережила своего творца на 1800 лет, сохранив самый древний шрифт Америки. Найденная стела — одновременно хроника, героический эпос и подобие политического плаката. Главным герой, конечно же, правитель или «Князь Урожая и Властелин гор». Согласно иероглифам, он изображен восседающим на троне. Затем идет речь о кровавых жертвах, от которых он, «Властелин», имеет своеобразный прирост власти — причина каждого праздника. В итоге, как мы узнали, он наказывал своего зятя за попытку путча. Кроме того, в текстах имеются записи о военных походах или кампаниях. Особенно удивляет эта странная игра в каучуковый мяч, которая ценилась по страшному счету: жизни или смерти. Зачастую, и не только во время праздника, посвященного «Князю Урожая и Властелину гор», проигравший в эту игру обезглавливался.

Как правило, кровь из тела (конечно же, знатного человека, поскольку играли в древний футбол люди из элиты данного общества) сжегивалась до капли на жертвенный алтарь. Вообще говоря, данные раскопок показали то, что ольмекены, до самозабвения почитающие своих многочисленных богов, страсть как любили все ритуальные дела освящать кровью. Они пробивали насквозь не только собственный язык, ушные раковины, но и детородный член специальным жалом из нефрита либо зубом акулы. Но и страсть как любили вырывать из груди раба либо пленника живое сердце. Связанную жертву втаскивают по ступенькам на вершину храма — к жертвенному камню. Два жреца запрокидывают его над алтарем, а третий кремневым ножом вскрывает грудь и вырывает трепещущее сердце, которое сжигают потом в специальном сосуде.

Если посмотреть у тех же ацтеков на солнечный год, поделенный на месяцы и обряды, а также богов-покровителей и главные праздники, понимаешь — как в Европе в свое время были шокированы обилием и варварством жертвоприношений у жителей Центральной Америки. Судите сами по их календарю: атлоуалко («нужда в воде», с 12 февраля по 3 марта) — принесение в жертву детей; тосос-тонтли («короткий пост», с 24 марта по 12 апреля) — тоже принесение в жертву детей для ниспослания дождя; эцал-киалистли («бобовая похлебка», с 23 мая по 11 июня) — утопление мальчика и девочки в челне; узтекуилунтли («большое празднество правителей», 2 — 21 июля) — принесение в жертву девушки-рабыни, олицетворяющей богиню; шокотлуэци («падение плодов», 11 — 30 августа) — сжигание жертв на костре. И прочее, прочее...

Кстати сказать, уже упомянутая выше стела тоже описывает подобную языческую оргию. Но далее связь веков нарушается. Всею виной, вероятно, эпоха «Эль-Нино» (младенец Христос), так назвали изыскатели перемену климатической системы в Тихом океане, когда холодные и теплые течения сменяют друг друга. И как следствие этого: некоторые тропические низменности циклично страдают из-за жестокой засухи или обильных осадков.

Что поразительно, данная высокоразвитая цивилизация выходила из подобных экстремальных ситуаций довольно быстро и без особых потерь. В чем причина, почему с современной точки зрения это звучит фантастично? А все потому, что вряд ли большая часть сегодняшнего населения земного шара сумеет перенести природные катаклизмы, как те же ольмекены.

И как тут не вспомнить древнемексиканский кодекс Чимолпопока, в котором рассказывается о грандиозном

стихийном бедствии, захватившем Атлантику: «Небо приблизилось к земле, и в один день все погибло. Даже горы скрылись под водой... Говорят, что скалы, которые мы видим теперь, покрыли всю Землю, а пористая каменная лава тензонтли («пемза») кипела и бурлила с большим шумом, и вздымались горы красного цвета...» Или же свидетельства из священных текстов «Пополь-Вух»: «Большая вода поднялась и настигла всех их; тела мужчин были сделаны будто из пробки, а женщин из тростниковой сердцевины. За то, что они забыли своего Творца и не благодарили его, они были умерщвлены и потоплены. Смола и деготь лились с неба... Земля погрузилась во мрак, днем и ночью шли сильные дожди. И люди в ужасе бросались с одного места на другое: они взбирались на дома, дома же разрушались и погребали их; они влезали на деревья, но деревья сбрасывали их со своих ветвей; они старались укрыться в пещерах, но пещеры закрывались; и таким образом, все погибло».

В той же священной книге «Пополь-Вух» говорится о том, что вслед за этой катастрофой наступил Великий холод, солнца не было видно. А в старомексиканской летописи сказано о том, что до происшедшего катаклизма «Солнце было значительно ближе к Земле, нежели теперь, а его благодатное тепло делало одежду излишней».

Многие религии и философские учения древности утверждали, что всемирный катаклизм, о котором шла речь выше — не первая на Земле катастрофа планетарного масштаба. О подобном говорили египетские жрецы знаменитому Солону, политическому деятелю Афин: «Вы помните один потоп, а их было много, сообщили они. Время от времени ваша цивилизация, как и у других народов, уничтожается водой, которая обрушивается с неба... Человечество постигали и еще постигнут в грядущем многочисленные катастрофы».

Теперь становится понятным, почему майя, не додумавшись до идеи колеса (дороги им заменяли рукотворные каналы), великодушным образом смогли подчитать период обращения Земли вокруг Солнца 365, 242, 129 суток (сравним с современными данными 365, 242, 198 суток). Та же изумительная точность прослеживается у «астрономов»-жрецов этого племени, которые с научной достоверностью выдавали периоды обращения других планет и многих звезд на небосклоне. Для чего нужно было жрецам майя высчитывать орбит Земли вокруг Солнца с дотошной точностью современной науки — одна миллионная суток?! Ведь не только для того, чтобы взрастить маис или же сообщить народу о сроках посева-уборки на полях? И не только в Америке, но и по другую сторону Атлантики — в Египте, Элладе, Вавилоне или Китае изучали движение Луны, Солнца, звезд и строили гигантские пирамиды или башни-зиккураты? Очевидно, для одного и главного — выживания семьи, племени, народа, государства. Чтобы успеть вовремя подготовиться и спастись в период очередного катаклизма. Более того, потопа, извержения вулканов или землетрясения, иные катаклизмы не казались древнейшему человеку какой-то фатальной неизбежностью, делом слепого случая. Наоборот, тот или иной народ принимал все превентивные меры, чтобы спастись от Большой Воды, построив загодя огромную лодку-ковчег, а то заранее известив соседей о предстоящем лихолетье, чтобы спасти и себя, и соплеменников. Вот что написано в ацтекском кодексе: «Не делай больше вина из агавы, а начинай долбить ствол большого дерева кипариса и войди в него, когда в месяце Тозонтли вода достигнет небес».

Загадочный «народ ягуара» еще, надемся, подарит современной цивилизации новые находки — археологов, лингвистов и других изыскателей древности. Заглядывая в прошлое, человечество смотрит в будущее. Опыт древних помогает, например, верно сформулировать задачу выхода человечества из современного кризиса. В частности, нужно отказаться от изжившего себя бэконовского принципа «покорения природы», который должен быть заменен на «покорение техники». Но это означает изменение всего характера жизни людей, перемену главного вектора, который до сих пор определял движение земной цивилизации...

«Герои вечных книг»

Вот и пришло время подвести итоги конкурса-марафона «Герои вечных книг». Жюри признательно читателям «Юности», не только постоянным читателям, но и всем участникам литературного конкурса — писем было много, и очень хороших, и очень разных. И жировало же жюри! Ответы шли со всех конюев России и из зарубежья, к счастью, по-прежнему близкого! Как говорят латиноязычные народы: большое GRACIO всем!

К великому и, поверьте, искреннему сожалению, никто из участников конкурса не послал все пули в «десятку». А жаль. Телевизор продолжает пылиться в каморке заведующего нашей редакцией. Первого места решено не присуждать никому. Решено, что так будет справедливо.

Итак. Вторую премию жюри без сомнений присуждает Татьяне Александровне Тульевой из карельского города Сегежа. Именно она дала наиболее полные, но, увы, не во всем точные ответы. Но какой настойчивый, системный и профессиональный поиск!

Вторая премия по праву принадлежит и московскому «тандему» (что, надеемся, удваивало их силы и позволяло работать в две смены и днем и ночью!) Л. Липкиной и И. Жаворонковой. Жюри поздравляет Людмилу и Ирину с их заработанным успехом.

Из-за третьей премии жюри какое-то время пребывало в весьма затруднительном положении — писем гора, но скорее «увы», чем «ах». Вердикт: присуждается только одна третья премия — Лидии Петровне Оглезневой с улицы Парковой города Нефтекамска. Премия присуждена за абсолютно разборчивый почерк, что в наше время большая находка, и исключительное трудолюбие: ответы даны на 40(!) листах, правда, в письме больше комментариев к самим вопросам, чем ответов на них. Как видите, жюри не только судит, но жюри еще и журит.



Жюри и вся редакция «Юности» благодарят участников викторины и желают им оставаться в «боевой готовности». Дбо, журируя, жюри объявляет конкурс

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

— на самый лучший и самый смешной рассказ, где все слова начинаются... — нет, не на букву «ж»! — на букву...

а) а

б) б

в) в

...

я) я!

(особым призом будут отмечены работы на буквы «б», «в», «д»!)

или «азбуку в стихах»!

А также:

1. На лучший палиндром.

2. На лучшее смешное объявление или антирекламу.

3. На лучшую предвыборную речь кандидата в президенты.

4. На лучшую выкройку платья для голого короля.

5. На лучший секретный доклад ЦРУ о положении в России.

6. На лучшую десятку афоризмов и крылатых ракей... простите, выражений, «фраз».

7. На лучшую карикатуру «Без слов», сюжет карикатуры или подпись под ней.

8. На лучшую «бывальщину» или правдивый случай из жизни. (Только у нас принимаются охотничьи-рыбачьи байки, не заверенные нотариусом!)

9. На лучшую частушку-раскладушку.

10. На лучший анекдот.

11. На лучшую песню без баяна.

12. На лучшую рецензию на любой из последних романов века.

13. На лучшую поэтическую пародию в рифму.

14. На лучшую загадку для взрослых или страшилку для детей.

15. На лучший свободный рецензент.

16. На лучший гороскоп. (Предупреждаем: количество гороскопов на 30 февраля, 31 апреля, 31 июня, 31 сентября, 31 ноября строго лимитируется!)

17. На лучшее архивное изыскание (выжимки из газетных подшивок с 1 по 14 февраля 1918 года принимаются ограниченно).

На конверте напишите —

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»

Итоги конкурса будут подводиться в каждом полугодии и расцениваться ценными призами и подарками!

Ирина МЕДВЕДЕВА
Татьяна ШИШОВА

ЭБЬЮЗ НЕРУШИМЫЙ...

Часть 1. МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ

Весь последний (1994-й) год эбюз преследовал нас повсюду. На психологическом семинаре, проводимом американской специалисткой — эбюз, на «круглых столах», посвященных самым актуальным проблемам современности, тоже эбюз, на Всемирном психиатрическом конгрессе в Гамбурге — эбюз, эбюз и еще раз эбюз (в том числе кукольный). А недавно мы побывали на Фестивале детских театров в Минске. Погода была прекрасная, встретили нас как дорогих гостей, привезли в самую лучшую гостиницу. Но стоило взять в руки программу фестиваля и пробежать глазами аннотации к спектаклям, как нас охватило чувство унылой обреченности. И здесь! Опять... Впору запеть «Эбюз нерушимый...» Тем более, что наш новый государственный гимн пока еще бессловесный.

Но мы, кажется, увлеклись. А ведь наверняка множество людей еще не знают, что такое эбюз. Хотя пора. Какникак наиважнейшая проблема цивилизованного мира. Так вот, «эбюз» (abuse) в переводе с английского означает «оскорбление, плохое, неправильное обращение, злоупотребление». В широком смысле слова. Но профессионалы в области человеческих отношений — психологи, социологи, психотерапевты, педагоги — несколько этот смысл сузили. Говоря «эбюз», они обычно подразумевают дурное обращение с детьми. И прежде всего сексуальное насилие. Только не думайте, что речь идет о каких-то маньяках. Нет, имеются в виду самые обыкновенные люди. Чаще всего родственники: отец, мать, отчим, брат (по-русски в доцивилизованную эпоху это называлось кровосмешением).

Ширма кукольного театра. На ширме — детская кроватка. И огромные взрослые руки, которые тянутся к куколке, лежащей на этой кроватке. Они шарят по одеялу, ища крохотное тряпичное тельце. Это отчим пришел в детскую надругаться над падчерицей. Культурно говоря, совершить эбюз. Участникам конгресса, не знающим немецкого языка, перед спектаклем заботливо раздали аннотации на английский язык. Содержание, впрочем, в переводе не нуждалось: все и так было понятно. Зато без аннотации мы бы не поняли одной очень важной (пожалуй, самой важной) детали. Этот спектакль показывают немцам детям, начиная с девяти лет. Не только потерпевшим — *всем!*

В Минске мы видели другой спектакль другого немец-

кого театра — не кукольного, а драматического. Тема, как вы догадываетесь, была все та же. Только не отчим, а отец, девочка не малолетняя, а подросток. И сцены эбюза не показывались, а обсуждались. Последнее обстоятельство чрезвычайно утешало, поскольку спектакль «Первая любовь, или То, что мне не принадлежит» шел без перевода, и дети, которыми был битком набит минский ТЮЗ, реагировали, в основном, на рок-зонги.

А вот телевидение с задачей перевода справилось прекрасно. Американский фильм «Кое-что об Амелии» начинался в 20.15. Поэтому не только взрослые, но и дети смогли приобщиться к столь актуальной для их возраста теме, как сожителство девочки с папой.

Но, пожалуй, пора вмешаться нашему любимому «лирическому герою» — либералу или, выражаясь патристично, свободомыслу:

— Нашли повод для иронии! Тема-то действительно актуальная. И для нас ничуть не меньше, чем для Запада...

Засим следуют аргументы. Телефон доверия... Детская комната милиции... Центр охраны семьи... Знакомый знакомых — то ли наркоман, то ли алкоголик...

Аргументов, прямо скажем, не густо. Когда интересуешься статистикой, то есть сколько детей звонили за месяц или за год с жалобами на сексуальные посяательства родственника, ответом служит презрительное пожатие плеч. Дескать, тут такое, а ты, канцелярская крыса, о цифрах! Кто ж считал? Когда замечаешь, что в подобные службы обращаются именно и только потерпевшие и у работников этих служб нередко создается искаженное представление о действительности, все равно как иному врачу-венерологу кажется, что все поголовно больны сифилисом, а прокурору — что кругом одни преступники (в лучшем случае потенциальные)... Это замечание воспринимается как неуместный юмор.

А уж не дай Бог сказать, что такое встречается в определенной среде, в маргинальных слоях общества! Ну, это вообще... Специалисты воспринимают подобный текст как кровное оскорбление: кто посмел посягнуть на священный принцип «Наши паралитики — самые прогрессивные»?!

— Да обращаются-то единицы, — слышишь в ответ, — а реально потерпевших в тысячу раз больше. Просто народ у нас дремучий, замшелый и понятия не имеет, что с эбюзом надо немедленно идти к специалисту.

Когда это слышишь, всегда хочется спросить (но не всегда спрашиваешь, чтобы не показаться занудой):

— А откуда вы, собственно, знаете, что потерпевших тысячи, если обращаются единицы?

Да, конечно, бывают случаи, когда официальная статистика говорит одно, но даже слепой видит совсем другое. Например, слышишь по радио, что на митинг оппозиции пришла жалкая кучка лопмензированных, а выглядываешь в окно — и видишь огромную толпу. Ну, а уж о прежних временах можно не рассказывать. Каждый сам знает.

Спальня, конечно, не улица. И все же... Должно хоть что-то намекать на такой махровый порок? Тем более, что дети не такие уж великие актеры и изощренные притворщики. Взрослые люди — и те далеко не всегда умеют скрыть интимные отношения, и тайное становится явным куда чаще, чем им бы хотелось. Достаточно перехватить один-единственный взгляд...

Если придерживаться логики нашего оппонента, можно приписать «дремучему, замшелому народу» и другие пороки. Например, массовое людоедство. Бывает? — Бывает. Не все обращаются к специалистам? — Отнюдь. (Да и куда обратиться полтощенной жертве? Разве что к небесным заступникам...)

Так вот, возвращаясь к эбюзу. Всерьез говорить об актуальности этой темы имело бы смысл в том случае, если мы и все читатели этой статьи, приходя в каждый третий или четвертый дом, ощущали бы «запах жареного» или прикус «клубнички», которые, мы повторяем, по-настоящему скрыть невозможно. Тем более, когда речь идет о таких страшных цифрах, как 25-30% (а именно эти цифры фигу-

пируют в докладах иностранных специалистов о распространении эбьюза на Западе). Тут уж скрывай — не скрывай, а ослиные уши все равно вылезут. Как с преступностью. Даже если бы сейчас все газеты и телеканалы в один голос принялись бы уверять публику, что кривая преступности резко пошла вниз, никто бы в это не поверил, поскольку каждый без труда вспомнил бы ограбленного друга, избитого приятеля, а также знакомого, у которого угнали машину.

Аналог такой ситуации мы видим практически во всем, что касается темы эбьюза на Западе. Например, в кукольном спектакле «Секрет», о котором мы уже упоминали, о страшном секрете девочки догадывается подруга ее матери, взрослая женщина, у которой в детстве было то же самое. В фильме «Кое-что об Амелии» учительница, которой девочка сообщает о своей двухлетней связи с отцом, не хватается за голову, не выражает изумления и ужаса, как бывает, когда узнают нечто из ряда вон выходящее, а деловито, оперативно звонит по хорошо известному ей телефону — в специальную полицейскую службу, которая изолирует таких детей от родителей. А попав в приют, девочка на свой вопрос: «Такие, как я, к вам когда-нибудь попадали?», незамедлительно слышит, что это не тема для беспокойства, поскольку таких детей много и поступают они сюда регулярно. Примечательно, что утешена не только жертва. Пылкий отец на приеме у психотерапевта, специализирующегося на эбьюзах (следовательно, даже в небольшом американском городке, показанном в фильме, есть постоянный контингент «эбьюзников», что подтверждается оптимистическим финалом фильма, но о нем позже), узнает, что это дело житейское, с кем не бывает, и все еще можно наладить, если довериться хорошему профессионалу.

Ну, тут легко возразить, что искусство любит слушать и гиперболизировать явления жизни. В данном случае, похоже, и в жизни все обстоит достаточно круто. Из доклада одной немецкой специалистки мы узнали, что проведенное недавно скрытое анкетирование студентов Гамбургского университета показало: 25% опрошенных в детстве подвергались сексуальному эбьюзу. Американская статистика, по некоторым данным, еще внушительнее: в биографии каждой третьей молодой женщины сегодня фигурирует пережитый в детстве эбьюз. Во время нашей летней поездки в Германию стоило нам в беседах с обычными людьми (а не специалистами по эбьюзам!) выразить сомнения в такой чудовищной распространенности подобного «негатива», как наши собеседники спешили эти сомнения развеять и приводили совершенно конкретные факты из жизни своих друзей и знакомых.

В этой связи очень интересна и показательна реакция наших граждан. Тоже обыкновенных, не специалистов. Когда заговариваешь с ними про сожительство родителей и детей, про то, что на Западе это актуальная проблема и касается она всех слоев общества, видишь на лицах вовсе не ханжеское смущение и не смятение людей, которых подловили на тайном грехе, а искреннюю оторопь.

Собеседники явно не сразу «врубаются», словно мы им рассказываем про дикие обычаи племени мумбо-юмбо. А когда понимают, какое-то время не верят. Говорят: «Вы не шутите?» Или: «Разве такое может быть?» Или: «Вот уж действительно — у каждого свои проблемы!»

Насчет своих и чужих проблем — разговор особый, а сейчас хочется отметить еще один любопытный, на наш взгляд, факт. В тот вечер, когда по ТВ показывали фильм «Кое-что об Амелии», нам, в силу обстоятельств, было трудно его посмотреть. Фильм широко рекламировался в газетах и телерекламах, и мы не сомневались, что многие наши родственники и друзья увидят его. И надеялись получить подробный пересказ. Но для верности решили уточнить, на кого можно рассчитывать. Оказалось — ни на кого! Один сказал, что его стошнит, другая — что муж будет дома и все равно выключит, а большинство — что дети в это время еще не спят. В результате пришлось нам отложить все дела и поспешить домой. (Мы уже задумывались над этой статьей и понимали, что нужен иллюстративный матери-

ал». Обращаясь с подобной просьбой, мы не обзванивали тех знакомых, которых можно было бы заподозрить даже в малейших проявлениях замшелости или ханжества. И тем не менее... А некоторые не только отказались, но вдобавок еще и обиделись. Дескать, почему именно их попросили посмотреть «непристойный фильм»? Вот уж поистине, «их, Пронькиных, не поймешь»! То требуют свободы сексуального просвещения, то вдруг оскорбляются, когда их просвещают! А ведь фильм носил именно просветительский характер. Там не было никаких скабрёзных сцен, никакого натурализма. Все очень корректно, все в тексте.

Кто-то может возразить:

— При чем здесь сексуальное просвещение? Какая связь?

Мы думаем, связь есть, и она достаточно отчетливо прослеживается. Хотя, безусловно, это не такая уж простая арифметика. И то, что одно вытекает из другого, понятно далеко не всем. Уж казалось бы, специалистам сам Бог велел задуматься о подобной связи. На конгрессе в Гамбурге было специальное секционное заседание, посвященное проблемам эбьюза. Причем ведущая, профессор из США, с самого начала заявила, что уважаемые коллеги собрались не для обсуждения каких-то частных вопросов, а для серьезного разговора о причинах столь печального явления современной жизни. Услышав такое вступление, мы перелыгнулись: «Наконец-то!» Мы уже многократно слышали и про пугающую статистику, и про широко развернутую психотерапевтическую работу в этом направлении, и про классификации, и про «технические» подробности. Наконец, поставлен главный вопрос: «почему?»

Но то, что прозвучало дальше, носило откровенно фарсовый характер. Все принялись дружно обсуждать... ускорение ритма жизни, непомерное давление общества на волю индивида, тяжелые нагрузки, обилие информации, а также стрессовые состояния, порожденные слишком большим выбором в развитом западном обществе.

На последнем аргументе мы сломались, представив себе бедного фазера, который мечется, как загнанный зверь, по универсаму, не в силах сделать выбор между клубничным, ананасовым и черносмородиновым йогуртом! А тут еще подвозят на тележке йогурт киви, манго, папайи... Ну, как после этого не впасть в состояние стресса и не соблазнить с горя литл бэби?!

А уж тяготы жизни просто непосильные, вообще доводят до отключки. То ли дело в средневековье или в послевоенной Германии... И ритмы, конечно, бешеные: обеденный перерыв — в кафе, вечером нередко тоже в кафе или в ресторан. И так день за днем, день за днем. Надо же когда-то и оттянуться!

Из вежливости мы рассмеялись потом, за дверью, но прежде, чем покинуть благородное собрание, задали вопрос: не кажется ли уважаемым коллегам, что причины эбьюза как распространяющегося социального явления нужно искать в смещении и размывании моральных норм? Может быть, это естественное следствие свершившейся сексуальной революции?

На повернувшихся к нам лицах отразилось полное недоумение. Но затем ведущая, вероятно, что-то сообразила и дипломатично ответила, что да, может быть, и этот фактор имеет место, но он вовсе не определяющий, сексуальная революция была невесть когда, в 60-е годы, а сейчас самое главное — ускорение, давление, нагрузки... в общем, смотри выше.

Потом, правда, к нам подошел молодой немецкий психолог и сказал, что его очень заинтересовала наша «нетривиальная гипотеза». И попросил пояснить. Мы начали говорить в общем-то обычные вещи, которые у множества наших соотечественников не вызывают ни вопросов, ни возражений: что сексуальная революция, включающая просвещение детей, снимает барьер между поколениями, а поскольку просвещают чаще всего родители, то незаметно, исподволь, разрушается и барьер индустуальный. Собственно, что мешает от совместного изучения теории перейти к практике? Почему читать, смотреть, пояснять, показывать, шутить, обсуждать можно, а делать — нельзя? Ведь рассуждая логически, кто лучше преподаст девочке

«науку страсти нежной», чем ее отец? Взрослый, опытный, знающий и любящий своего ребенка, как никто другой? Идеальный наставник! Помешать этому могли бы жесткие моральные нормы, а они-то как раз и были расшатаны сексуальной революцией. Благомыслы-шестидесятники, которые из лучших побуждений просвещали своих детей, дальше теории не шли, ибо сами воспитывались еще достаточно патриархально. Их же дети, нынешние родители, сформировались в другую эпоху, которую часто так и называют: «эпоха стирания границ». А ученики, как известно, должны превзойти своего учителя. Поэтому ведущая, сказав, что сексуальная революция была уже давно, вовсе не опровергла наш тезис, а косвенно его подтвердила. За это время и успело подрасти «постсексуальное» поколение.

Мы готовы были порассуждать еще и про запретный плод, который обязательно должен быть запретным, чтобы оставаться сладким, а иначе — так уж устроен человек! — неизбежны поиски новых запретных сладостей. Ведь эта тенденция прослеживается так отчетливо! Разнополая «свободная» любовь перестала быть запретной — появилась тяга к однополости, однополая стала признаваться нормой — стали множиться кровосмесительные связи. Что на очереди? Скотоложество? Некрофилия? В несколько поредевшем списке сексопатологических первозид есть еще кое-что на десерт. Не очень ясно, правда, что произойдет, когда меню будет исчерпано.

Могли бы мы сказать и о таком явлении, как инфантилизация современного западного общества, которая тоже, как нам кажется, тесно связана с сексуальной революцией. И о властвующей в этом обществе игровой стихии...

Но, взглянув на нашего собеседника, умолкли. Его остекленелые глаза напоминали глаза рыбы, оглушенной динамитом. Да он и сам честно признался, что ему трудно переварить такое количество новой информации. А мы потом даже пожалели, что нагрузили любознательного молодого человека в сущности уже не актуальными для его культуры умозаключениями. Как говорится, «поздно, Клава, пить боржом, когда печень полетела». Дело зашло слишком далеко, если в ряде американских школ (например, в Бостоне) «сексуальные меньшинства» приходят раз в неделю к детям рассказывать об однополости любви — нет, не для рекламы, для просвещения; если в подавляющем большинстве иностранных книг на тему воспитания детей можно прочитать фразы типа: «Половая жизнь — это сфера инстинктов, почему же от ребенка надо скрывать правду об этом?» (Хотя до сих пор считалось, что воспитание призвано укрощать и облагораживать инстинкты, и детей учили не теории и практике половой жизни, а этике и эстетике л ю б и.) Да, маховик не на шутку раскрутился, и остановить его под силу разве что новому Лютеру. А тем, кто не отличается повышенной пассионарностью, приходится разводить руками и довольствоваться сегованиями на все возрастающие сложности жизни в условиях развитого капиталистического общества.

В нашем Отечестве этот разговор пока еще не лишен смысла. Общество здесь все-таки очень традиционное, гораздо более традиционное, чем кажется нам изнутри. И многие иностранцы это замечают. Например, австралийский социолог из Сиднейского университета Себастьян Джоб, проживший в Москве (в нашем-то Вавилоне!) 3 года, сказал нам перед отъездом: «Вам кажется, что у вас в стране происходят стремительные перемены, потому что вы имеете возможность сравнить сегодняшнюю жизнь с той, которая была десять, двадцать лет назад. Я могу сравнить только то, что я увидел здесь и сейчас, с тем, что я вижу у себя в Австралии и в европейских странах. Русский жизненный уклад чрезвычайно патриархален, своеобразен и устойчив. И я вам желаю, чтобы вы могли это сохранить».

Хочется заметить, что, говоря о традиционном, патриархальном обществе, ни наш друг-социолог, ни, тем более, мы сами не рисуем в своем воображении каких-то лубочных картинок. Свершившаяся на Западе сексуальная революция, безусловно, не могла не повлиять на нашу реальность. Но традиция смягчила, амортизировала это,

просеяла сквозь сито культуры и оставила в общественном сознании наиболее, что ли, человеческие завоевания сексуальной революции: девушка уже не чувствует себя уязвимой, если не сохранила невинность до замужества, окружающие вполне терпимо относятся к гражданским бракам, исчезло понятие «незаконнорожденный». (Интересно, что во многих более «продвинутых» странах оно осталось, и в этом легко убедиться, почитав современную литературу.)

Ну, так выходит, нам нечего бояться? То переварили, и это переварим. Нет оснований для паники!

Увы, это не совсем так. Общественный организм не может переварить все и в любых количествах. Особенно, если этот организм ослаблен, и ослаблен не только тем, что вот уже десять лет живет в режиме экономических и политических потрясений. (Когда говоришь об этом, то часто слышишь в ответ примерно следующее: «Слабый организм? Не может сопротивляться? Ну что ж, тогда пусть погибает, раз такой нежизнеспособный...» Больше всего такие высказывания поражают своей беспристрастностью. Как будто речь идет о чем-то далеком и постороннем, а не о себе самом, как части своего народа, культуры и т.п.) Уж очень неравный бой получается. С одной стороны усталые, растерянные, оглушенные наши соотечественники, которым и правые, и левые, и демократы, и патриоты, и все, кому не лень, внушают, что они (люди) жили и имеют наглость продолжать жить неправильно, не так, как надо. А с другой — если и обремененные, то скорее «комплексом полноценности» апологеты «правильной жизни», уверенные в том, что несут «России во мipe» свет цивилизационной истины.

— Вы просто отстали на двадцать лет, — говорят они, снисходительно улыбаясь, ибо помнят, что надо быть терпимыми к чужим слабостям и заблуждениям. — И у нас все было точно так же. Люди сопротивлялись, они далеко не сразу поняли, что сексуальная просвещенность — это свобода, а свобода — главный приоритет человека, живущего в демократическом обществе. Вы ведь совсем недавно перестали быть тоталитарным государством, все еще будет в порядке...

Что ж, мы и в этом смысле живем сейчас в уникальную эпоху, в эпоху, когда не только в фантастических фильмах Спилберга можно наблюдать так называемую параллельность времен. Особенно отчетливо это было видно в Минске, на Фестивале детских театров. И неудивительно, ведь искусство — своеобразный концентрат. То, что в жизни может быть размыто, распылено, здесь сконцентрировано, как влага в туче.

Короче говоря, в Минске мы одновременно увидели два витка сексуальной революции. Второй был представлен, разумеется, теми, кто опередил нас на двадцать лет — театром из города Мангейма (см. начало статьи), а первый... первый показали хозяева фестиваля — минский ТЮЗ. Хотя нельзя сказать, что это была полностью самостоятельная работа. Пьеса была немецкая, режиссер тоже — Х.Флаххубер. Спектакль назывался интригующе: «Про это не говорят».

В первых рядах сидели мальчики и девочки от шести до восьми. Сзади располагались взрослые — педагоги и родители. Была приглашена и молодежь — студенты педагогического института. Да, еще, пожалуй, важно добавить, что это была пьеса-игра. Почему важно — скоро поймете.

Представление началось с того, что перед самым носом у детишек (сцены не было, и это тоже входило в режиссерский замысел) появились тетя, одетая дадей, и дядя, одетый тетей. В веселой тюзовской манере ряженые задали детям вопрос, к какому полу каждый из них на самом деле принадлежит. Дети, несмотря на маскарад, угадали правильно. Тогда последовал другой вопрос: а как, собственно, определить, кто мужчина, а кто женщина? Дети, не понимая, к чему клонят актеры, наперебой закричали: «Парик пускай снимет!», «Усы надо отклеить!» и т.п. Характерно, что ни один ответ (а их было достаточно много) не вышел за рамки приличий, не нарушил те границы, которые приняты и в Москве, и в Минске между взрослыми

ми и детьми. Границу перешли взрослые. С шуточками и прибаутками они подвели детей к тому, что самое главное *другое*. И стали со спортивной прытью раздеваться. Нет, не догала (это ведь пока первый виток, не забывай-те!). До нижнего белья. Но зато потом другие актеры принялись рисовать улем на этом белье «самое главное». Рисовали и спрашивали у юных зрителей, как это называется. Дети сначала оцепенели, потом стали смущенно хихикать, отводить глаза, закрывать руками лицо, пожимать плечами. Наконец, одна бойкая девушка пискнула: «Щепинка!» (это белорусский вариант). «Правильно, умница!» — обрадовались артисты и поспешили дополнить... Справедливости ради надо отметить, что кроме бытовых наименований детям были сообщены научные: «вагина», «пенис», «фаллос», «половой член». (Ну да, это просвещение!) Правда, потом, когда речь зашла о самом-самом главном и на вопрос, как это называется, та же самая девушка пискнула: «Секс!», ведущий бодро дополнил: «А можно сказать: «Трахаться!» Я, например, всегда говорю так!»

И актеры незамедлительно приступили к демонстрации процесса. Понарошку, конечно. Ведь театр допускает условное действие, к тому же — первый виток. Они неловко ложились то крест-накрест, то валетом и все время просили детей показать, как же нужно. Тут даже храбрая девушка ступевалась. И тогда актеры ласково, но твердо подняли с места совсем уж юную зрительницу лет шести и подвели к «маме» и «папе». Дело в том, что абстрактные мужчина и женщина по ходу спектакля очень быстро превратились в маму и папу. И это был особый, может, не для всех очевидный цинизм, потому что наши дети (про «иных», просвещенных, судить не беремся) могут что угодно знать про мужчин и женщин, но, как правило, не переносят свои знания на родителей, автоматически вытесняя это из сознания как неприкосновенную тайну. Рационально такой феномен необъясним. Почему дворовый хулиган, ругающийся матом, напичканный похабными анекдотами, готовый говорить «про это» даже с классной руководительницей, кричит другому хулигану: «Это твоя мать трахается с отцом! А моя не такая!»? И, украшая стены школьного сортира непристойными рисунками, никогда не изображает своих родителей? Вы спросите, откуда мы это знаем? Но ведь дети имеют обыкновение подобные художества подписывать. «Маша + Коля», «училка», «директор», всякие прозвища... Вот только «маму» и «папу» (или даже «мамку» и «папку») вы там не найдете.

Не отсюда ли уверенность столько подростков, что их 35-40-летние родители уже старые, а следовательно — «не занимаются глупостями»? Механизм образования внутренней табу настолько загадочен и сложен, что, сколько ни рассуждай на эту тему, многое так и останется неясным. Но нам ясно одно: растабуирование сакрального — пусть даже в угоду самой безупречной логике, к которой, собственно, и апеллируют поклонники либерализма, — не может пройти безнаказанно.

Не может — и не проходит. Распространение эбьюза на Западе среди нормальных людей — это, конечно же, следствие «гибели богов». И, увы, не единственное.

Но вернемся к спектаклю. Там было еще много интересного. Например, детям открытым текстом сказали, что онанизмом заниматься очень приятно («дуже приємно» по-белорусски) и только глупые взрослые могут это запрещать. Тема была освещена достаточно подробно. Актер, изображая мальчика, рассказал (и даже помог себе жестом), как однажды занимался этим на уроке, а плохая учительница помешала. Актриса позаботилась о просвещении женской половины зала и от лица девочки поведала грустную историю о нечуткой маме, которая в аналогичной ситуации не только помешала, но и сказала, что это стыдно. Сей ложный тезис артисты, хохоча и гримасничая, не замедлили опровергнуть, задев под гитару: «Що приємно, то не стыдно!» И, разумеется, вовлекли в хоровое пение весь зал.

Основным аргументом главного режиссера минского ТЮЗа М.М. Абрамова было то, что такой спектакль сейчас остро необходим. «Ведь должны же мы были что-то противопоставить потоку грязной порнографии, которая льется

на наших детей с экранов телевизоров! Нашей задачей было показать детям, что это можно делать красиво, задорно, весело. Должно же быть нормальное сексуальное просвещение!»

Однако, внимательно следя за реакцией детской аудитории, мы убедились, что как раз цели просвещения-то и не были в ходе спектакля достигнуты. Все, что говорилось в первом действии (чем мужчина и женщина отличаются друг от друга и что они делают друг с другом), дети уже знали. Содержание же второго действия (устройство внутренних половых органов, физиологические основы оплодотворения, процесс беременности и родов) еще не находилось, по терминологии психолога Л.Выготского, «в зоне ближайшего развития», и дети просто ничего не усвоили.

Но зато было усвоено другое: что со взрослыми и с детьми противоположного пола можно (и даже нужно!) говорить «задорно и весело» о стыдном. Более того, стыдное оказывается вовсе не стыдным, ибо «что приятно, то не стыдно».

И по логике вещей — почему, собственно, поборникам просвещения можно рассуждать логически, а нам нельзя? — родители уже не вправе будут выразить недовольство, если, вдохновленный воскресным утренним спектаклем, ночью к ним в спальню ворвется крошка-сын и заявит: «Вы тут трахаетесь, а мне там одному скучно!» Учительница же, увидев на доске похабщину, не посмеет возмутиться, найти виновного и отвести его к директору. А если кому-нибудь на уроке приспичит... как бы это сказать... ну, в общем, заняться «приятным», то она прямо-таки обязана будет прервать — нет, не темпераментного школяра! — объяснение. И, вспомнив театральный шансон с рефреном «что приятно, то не стыдно», призвать класс к подражанию. Чтобы не прослыть дурой.

Смешно? Не верится? Что ж, давайте снова совершим небольшое путешествие в «параллельное время», в общество второго витка. Перед нами недавно переведенная на русский язык книга «Игровая терапия: искусство отношений». Автор — Г.Л.Лэндриет, известный американский психотерапевт. «Позволять ли ребенку мочиться на пол в игровой комнате — это большой вопрос», — пишет он. И в качестве личного мнения добавляет: «Не следует разрешать детям писать в бутылочку с соской, а потом пить мочу».

Вы думаете, что речь идет о пациентах, страдающих тяжелой умственной отсталостью? — Ничего подобного! Имеются в виду так называемые «дети с проблемами»: чересчур застенчивые, расторможенные, не умеющие контактировать с людьми и т.п. То есть дошкольники и школьники с разнообразными невротическими признаками. Живут они в семьях, как правило — достаточно обеспеченных, потому что игротерапия, модное сейчас на Западе направление — удовольствие достаточно дорогое (по признанию самого автора книги). Иными словами, это опять-таки не маргинальные семьи, а средний класс.

Что же еще фигурирует в списке ограничений на занятиях игротерапией, которые, по убеждению авторов этого метода, способствуют установлению нормального контакта между взрослым и ребенком? В списке целых 54 пункта, но мы приведем лишь несколько. Итак, в игровой комнате запрещается курить, бить окна, поджигать вещи, писать на доске грязные слова, бить терапевта, брызгать в терапевта водой. (Впрочем, последние два пункта далеко не всегда соблюдаются. Мы в Германии видели девятилетнего мальчика, который на сеансе игротерапии бил терапевта-женщину ногами и не просто брызгал, а окатывал ее водой из ведра.) Нельзя полностью раздеваться, справлять нужду на пол, открыто мастурбировать (втихаря, стало быть, можно; в игровой комнате обычно предусмотрены укромные уголки, чтобы ребенок мог при желании уединиться). Сам по себе ни один из этих пунктов не вызывает возражений. Действительно, нельзя бить окна, поджигать вещи, накладывать кучу на пол. Но согласитесь, наших детей с непомраченным рассудком не надо об этом предупреждать. Им просто не придет в голову, явившись на занятия, вытворять что-то из перечисленного. Такое может быть только в том случае, если барьер между взрослым и ребен-

ком фактически разрушен. Если возможен следующий диалог (цитируем все ту же книгу Г.Л.Лэндрета):

«Терапевт: Роберт, я вижу, ты и в самом деле на меня рассердился.

Роберт: Да! И сейчас точно тебя пристрелю.

Терапевт: Ты так сильно рассердился на меня, что готов меня застрелить. (Роберт к тому времени уже зарядил истружное ружье и начинает прицеливаться в терапевта.)

Роберт: Ты не можешь остановить меня! Никто не может! (Прицеливается в терапевта.)

Терапевт: Ты такой сильный, что никто не может тебя остановить. Но ты можешь представить себе, что кукла Бобо — это я, и выстрелить в Бобо».

Подобные примеры можно приводить до бесконечности, но надеемся, «вышеизложенного» вполне достаточно, чтобы нарисованная нами картина последствий белорусского спектакля не показалась такой уж фантастической карикатурой. Разумеется, один спектакль не в состоянии разрушить столь фундаментальные иерархические отношения, как отношения взрослого и ребенка. Но если таких

спектаклей, фильмов, книг будет много, если они станут нормой, то отчего же нет?

Нам кажется, что сейчас наступил момент, когда в самом прямом смысле слова от *каждого* из нас зависит восстановление или, наоборот, окончательная потеря иммунитета. Иммунитета к самым разным социальным болезням, в том числе и к разрушению традиционных культурных норм, уничтожению именуемых «совковой психологией». И ссылки на государство, занятое совсем другими делами, и на бессилие слабого бесправного человека не могут служить оправданием. В конце концов, никто сейчас, держа пистолет у виска, не заставляет перенимать западные образцы поведения и воспитания. Как никто не мешал красным от стыда родителям взять своих детей за руку и вывести из минского ТЮЗа прямо посреди веселого «просветительского» спектакля. Но *ни один* этого не сделал. Видимо, боясь показаться замшелым и дремучим.

Что ж, хозяин — барин. Только не забывайте, что за «А» всегда следует «Б». И это только начало алфавита. И алфавит — длинный.

Продолжение темы следует

ПРИХОДИТЕ В «СТОЛИЦУ»

Четвертый год в помещении Центрального дома художников (ЦДХ), что на Крымском валу, творит, бурлит, удивляет публику Центр искусств «Столица».

В порыве сценическо-психиатрического экстаза субъекты размахивали сачками, совками, палочками-сачками и прочими приборамбасами. Шла премьера Satisfaction (Удовлетворение) ТеатраПримитивногоКайфа (ТаПК). Это трагическое шоу по роману К.Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» буквально повергло аншлаговый зал в шок. По словам Р.Виктюка — это лучший спектакль, который он видел за последнее время. Студенты ВГИКа, ГИТИСа и СПАТи собрались в своего рода театральную сборную, чтобы сыграть оригинальный эпатарующий, граничащий с антиэстетизмом, спектакль. Как истинные ПУСТМОДУРнисты, ребята из ТаПКа стремятся в своих постановках сделать коктейль из Станиславского, «Роллинг Стоунз», Фрейда и бабки Махно.

Все это происходило в Центре искусств «Столица» в помещении Центрального дома художников.

Центр искусств родился 27 августа 1991 года в День кино. И с того времени, почти ежедневно, здесь что-либо происходит. Очень много классики (Бунюэль, Годар, Тарковский и др.), новые, нашумевшие фильмы, спектакли — от классического «Разговора в семействе Штайн об отсутствующем господине фон Гете» (режиссер М. Сальтина) до «Игры в журики» — скандального спектакля, избивающего ненормативной лексикой (пост. А. Житинкина). Очень много музыки — от Баха до перформансов В. Чекакина.

С оригинальной программой «космической» музыки и виртуозным исполнением выступает автор — лауреат фестиваля искусств в Италии композитор Леонид Тимошенко.

Пьер Смирнофф спонсировал фильм Григория Амнуэля о русских хоккеистах и презентацию его в Центре «Столица» (понятно чем — в трехлитровых бутылках). С тех пор в Центре постоянный праз-

дник. Как говорит художественный руководитель Центра Галина Михайловна Толмачева, здесь всегда найдется чем «отпрезентировать».

За время существования красивый и уютный зал Центра принимал Дворянское собрание и пэтэушников, вечера авторской песни и лекции по дианетике и сахаджа-йоге, международные фестивали гитарной музыки и мультипликационных фильмов. Здесь проводились юбилейные встречи с З. Гердтом, И. Ясуловичем, Н. Крачковской, вечера памяти А. Галича, О. Борисова, А. Райкина. Особо хотелось бы отметить регулярные праздники для детей и юношества, благотворительные встречи (Гр. Гладков, Г. Остер), собирающие полный зал. А уж конкурс «Марья Краса — длинная коса» произвел настоящий фурор, у многих вызвал неподдельные слезы восторга и в океане девичьих кос буквально утопил зрителей и жюри.

Но самой большой страстью Центра искусств является российское кино. Ни одно значительное современное кинодеяние не прошло мимо «Столицы» (А. Тарковский, Н. Михалков, С. Кулиш). Есть место здесь и современной моде. Один из оригинальных показов — «Крейзи-мода» в исполнении Татьяны Новиковой, которая демонстрирует трансформацию отдельных элементов одежды и ставит своей целью привнести в современную женскую одежду линии Кандинского и Матисса.

Центр искусств «Столица» совместно с журналом «Юность» возобновляют традиции 60-х годов, знаменитых некогда встреч в Политехническом музее. Сейчас это будут «Турниры на Крымском валу», где читатели и почитатели журнала смогут встречаться с известными и молодыми поэтами, писателями, художниками, композиторами, политиками, учеными...

Одним словом, приходите-звоните в Центр искусств «Столица» (тел. 095,238-19-55) и в редакцию журнала «Юность» (тел. 095,251-27-29) и вы отдохнете в полный рост, расправив ДУШУ под теплыми лучами ИСКУССТВА и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ.

Олег ВЫБОРНОВ

БЛАГОРОДНЫЙ КНИЖНИК

В этом году исполняется двести лет со дня рождения человека, чье имя неразрывно связано с великим духовным наследием России XIX века. Благодаря подвижнической деятельности Александра Филипповича Смирдина — и в этом, безусловно, его главная заслуга перед читающей Россией — слово и мысль классиков отечественной литературы стали достоянием широких читательских кругов.

Удивительна судьба этого человека. Выходец из мещанского сословия, не получивший классического образования, он остался в истории российской культуры как выдающийся издатель-реформатор, положивший начало выпуску недорогих массовых тиражей произведений русских писателей, крупнейший книготорговец своего времени, основоположник толстых литературных журналов, библиограф и организатор библиотечного дела. Недаром «золотой период» нашей словесности, по словам Белинского, был «смирдинским». Смирдин издавал произведения практически всех своих современников, равно как и их предшественников: Ломоносова, Державина, Тредиаковского, Карамзина, Вяземского, Жуковского, Крылова, Гоголя, Ершова и, конечно, Пушкина. Он издавал их, как писал Белинский, не только опрятно и красиво в типографском отношении, но, что важнее всего, «по цене, доступной для небогатых людей», чем, по мнению критика, «произвел решительный переворот в русской книжной торговле и, вследствие этого, в русской литературе».

Смирдин-книгоиздатель произвел также переворот и в отношении к писательскому труду, при нем литературная деятельность обрела профессиональные права, перестала зависеть от воли случая и прихоти меценатов. За десятилетнее право издания басен Крылова он заплатил «русскому Эзопу» 40 тысяч рублей, за каждую строчку выплачивал Пушкину по червонцу.

Смирдин был первым издателем, кто начал серьезно, с величайшим уважением относиться к творчеству русских авторов, кто в таких масштабах печатал произведения отечественной литературы. С большинством писателей того времени он поддерживал личные отношения. И, конечно же, из всех книгоиздателей и книготорговцев 20—30-х годов XIX века именно у А. Ф. Смирдина были наиболее близкие и дружеские связи с А. С. Пушкиным. Начало их деловым отношениям было положено в 1824 году, ког-

да Смирдин вместе с московским книготорговцем А. С. Шириевым приобрел у П. А. Вяземского весь первый тираж «Бахчисарайского фонтана» за небывалую по тому времени сумму, в связи с чем поэт (он находился тогда в Одессе) написал Вяземскому: «Начинаю почитать наших книготорговцев и думать, что ремесло наше, право, не хуже другого». В общей сложности у Смирдина, которого Пушкин именовал в литературных кругах «libraire gentilhomme» (благородный книжник), вышло семь книг великого поэта, в том числе «Борис Годунов» и первое полное издание «Евгения Онегина». О близких отношениях между ними свидетельствует, в частности, тот факт, что корреспонденция Пушкина шла на книжную лавку Смирдина, имя его часто упоминается в письмах и дневниках Александра Сергеевича, ему также посвящены две шуточные эпиграммы. Высоко ценивший талант Пушкина и почитавший за честь сотрудничество с ним, Смирдин внес большой вклад в популяризацию его произведений, продавая в своих магазинах любые его издания, независимо от того, кем они были выпущены в свет. Так в мае 1830 года с согласия Пушкина ведавший изданием его произведений Плетнев заключил со Смирдиным договор о передаче тому для распродажи всех вышедших до этого и не реализованных книг Пушкина на сумму около 60 тысяч рублей. За них книгопродавец обязался в течение четырех лет выплачивать поэту регулярный пансион по 600 рублей в месяц. Много сделал Смирдин после кончины Пушкина для его семьи, в частности, распространяя в пользу наследников журнал «Современник», нераспроданные произведения покойного.

Особое место занимает А. Ф. Смирдин и в истории становления русской журналистики. Изданием в Петербурге журнала «Библиотека для чтения» он положил начало «толстым» журналам, которые и в наши дни являются неотъемлемой частью духовной жизни российского общества.

В феврале 1832 года А. Ф. Смирдин открыл на Невском проспекте в Санкт-Петербурге знаменитую книжную лавку, ставшую по существу прообразом Дома литераторов. И это отнюдь не преувеличение, ибо разместившиеся в правом флигеле лютеранской церкви Петра и Павла библиотека для чтения и книжная лавка сразу же завоевали репутацию самого модного литературного клуба столицы, стали центром литературной жизни и русской библиографии. На званом обеде по случаю этого знаменательного события, как и в последующие годы, у гостеприимного хозяина присутствовали поэты и беллетристы, журналисты и критики различных направлений, представители противоборствовавших лагерей литературной эпохи. Завсегдатаями у Смирдина были такие непримиримые противники, как Пушкин и Булгарин, Жуковский и Греч, Гоголь и Воейков. То были безнадежные и, в то же время, исполненные лучших побуждений попытки «благородного книжника» сплотить литературное братство, примирить непримиримое. И тем не менее, новоселье у Смирдина было оценено современниками как событие непреходящего значения в литературной жизни России. Столь же важным событием явилось и последовавшее за этим издание Смирдиным двухтомного альманаха «Новоселье», в котором приняли участие многие из присутствовавших на том памятном обеде.

Большую роль сыграл Смирдин как просветитель и библиограф. Открытая им для широкой публики библиотека, по признанию современников, «первая в России по богатству и полноте», насчитывала свыше 12 тысяч наименований и включала большинст-

во русских изданий. За скромную плату книги из ее фондов выдавались для чтения на дому всем желающим.

Поразительно, но при всей своей занятости этот человек был к тому же страстным библиографом. Вплоть до последних дней своей жизни он упорно трудился над составлением «Росписи российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина» — уникального библиографического каталога русских книг. По воспоминаниям его сына, тоже книгоиздателя А. А. Смирдина, его отцом было изготовлено свыше 20 тысяч карточек, послуживших основой для упомянутого печатного каталога. Смирдинская «Роспись...» и в наши дни не утратила своего значения и широко используется библиографами, литературоведами, историками.

Однако, в силу ряда обстоятельств и — не в последнюю очередь — благодаря щедрости и благородству этого человека, он закончил свои дни с расстроенными делами, испытывая большую нужду. Честный, искренний, доверчивый Смирдин, по воспоминаниям современников, видел в книге прежде всего средство просвещения, а не источник дохода. Даже для получения грамоты о присвоении книгоиздателя звания потомственного почетного гражданина он вынужден был брать деньги взаймы у одного из своих знакомых...

Отмечая 200-летие А. Ф. Смирдина, любители книги в нашей стране с глубокой признательностью вспоминают имя выдающегося книгоиздателя-просветителя. В Москве сохранился дом, в котором родился А. Ф. Смирдин. К сожалению, об этом знают единицы, в основном специалисты и потомки...

К двухсотлетию вышло повторное издание исторического романа А. А. Говорова «Смирдин и сын». К несчастью, эта в целом достаточно увлекательно написанная книга во многих местах грешит против истины. В частности, в ней весьма вольно трактуется образ книгоиздателя-отца — Филиппа Сергеевича, который якобы вел загульный образ жизни и по-

гиб в одной из потасовок, когда его сын находился еще в младенческом возрасте. Это, безусловно, грубейшее искажение фактов. В архиве доктора исторических наук Л. С. Кишкина хранятся документы того времени, свидетельствующие как раз о высоко нравственном облике семьи Смирдиных, в том числе письмо отца сорокалетнему Александру Филипповичу, датированное 3 февраля 1835 года. Подобные же неточности допущены и в отношении самого А. Ф. Смирдина, но это уже тема отдельной статьи...

Крайне любопытна история знаменитой смирдинской библиотеки. С 1847 года ее владельцем являлся бывший приказчик Смирдина П. И. Крашенинников. После его смерти в 1864 году библиотека, представляющая собой, по словам Чернышевского, «такое собрание русских книг, которое может уступить в обширности только русскому отделу Публичной библиотеки», тем не менее была свалена в подвалы, где пролежала до конца 70-х годов, а затем продана рижскому книгопродавцу Н. Киммелю. Часть книг была реализована им в розничной торговле, однако около 9 тысяч томов в 1932 году были приобретены чешской Славянской библиотекой и перевезены в Прагу, где они хранятся в особом смирдинском фонде и поныне. Среди этих книг многие имеют авторские посвящения, большое число изданий сохранилось в нескольких экземплярах. В свое время чехи готовы были передать до 2 тысяч дубликатов какой-либо российской библиотеке, однако, по тем или иным причинам, желающих на родине Смирдина не нашлось. И лишь 95 книг пушкинской поры были переданы Славянской библиотекой музеем А. С. Пушкина в Москве.

Все же хотелось бы надеяться, что наступит время, когда изданные Смирдиным произведения его великих современников, с экслибрисом книгоиздателя и посвящениями авторов, вернутся на родину и займут достойное место в одной из российских библиотек...

ОТ ОСТЕОХОНДРОЗА ДО ОМОЛОЖЕНИЯ

Представляя на страницах нашего журнала магнитно-ультразвуковой аппарат «Лептон», поражаемся поистине безграничным его возможностям!

Такого не может быть, чтобы аппарат лечил десятки заболеваний, — скажете вы и будете достойны уважения, как глубокий знаток медицины. Вот и мы, познакомившись с изобретателем «Лептона» врачом-терапевтом ученым Н.Д. Шрамченко, решили рассказать о возможностях прибора. Лейкоз и ДЦП, лор-болезни, недуги желудочно-кишечного тракта, импотенция, отсутствие оргазма у женщин. Клинические испытания на десятках больных зарегистрировали эффективность лечения при отложении солей, ревматизме, остеохондрозе. Причем противопоказаний к применению «Лептона» нет, а лечебный эффект возникает вследствие того, что при обработке акупунктурных точек в организме человека начинают вырабатываться биологически активные вещества, способные благотворно влиять на биохимические процессы, происходящие как в центральной, так и в периферической нервной системе, а также опосредованно на патологические изменения гомеостаза.

Это аксиома: большинство болезней — от

нарушения обмена веществ. С помощью «Лептона» можно корректировать нарушения в этой области. И тогда организм пациента включается в процесс саморегуляции. Человек сам себя начинает лечить, восстанавливать!

Косвенным подтверждением возможностей «Лептона» может служить, в частности, материал из Института информационно-волновых технологий, опубликованный в «Аргументах и фактах» (№ 45 от 12 ноября 1994 г.). Восстановление обмена веществ человека дает возможность одолеть и синдром усталости. Успешно справляясь с этим ставшим уже модным у нас заболеванием, медперсонал, обслуживающий «Лептон», вплотную подошел и небезуспешно практикует в области омоложения человека. Да, да, не удивляйтесь! В ряде случаев (и есть официальные подтверждения) удалось приостановить процесс старения. Вот так... Если есть интерес — звоните, приходите. Адрес поликлиники: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 28. Проезд: м. «Марксистская» («Таганская»-кольцевая), авт. 51, 106, тролл. 16, 26, 63 до ост. «Птичий рынок».

Тел.: (095) 270-35-06. Вечером: (095) 479-19-95.



Генрих САПГИР

* * *

«мы есть свет»
поет изнутри
«сколько вас?»
«сколько и других —
тех темненьких»
«а таитесь зачем?»
«ждем своей настоящей минуты»
«выходите на свет
посмотрим
насколько вы светлы»

* * *

притаилась серая угроза
на солнечной стороне
...розы в ведре на морозе
вянут в тени
...восковое веко бутона
горделива
нижняя губа лепестка
...машины проносятся
сливаясь в единый зевок
...даже на солнце
не сходит с цветов
серая тень смерти

ВЗЫСКУЮЩИЕ

бедный птенчик выпавший из родного поселка
прямо в сумасшедшую столицу
от ужаса ты осмелел так
что расталкивая всех локтями
и получая отовсюду тычки и подзатыльники
вылез прямо на эстраду
в свет прожекторов —
заблестели волосы твои и пряжка
такой ладный
складный — складной

ты — Майкл Джексон
 если посмотреть
 то не различить
 ты выкрикиваешь вниз тем там
 из которых все орут — ты сам
 тебе сверху видны их мозги:
 разгораются
 багряные
 цветы
 и взрываются
 когда поешь ты



украли сумочку
 еле выдралась из этой тесноты
 колготки порвали
 едва не сняли
 пока поправляла
 какой-то пробежал —
 сумочку из руки вырвал
 не успела крикнуть — исчез в толпе
 а мы в толпе познакомились
 принесло водоворотом и прижало — глаза в глаза
 в одну минуту мы узнали друг о друге все
 будто оказались в одной постели
 и обрадовались ужасно
 зачем я сюда пришел?
 все время наступают на носки
 выпрыгивает
 и валится спиной прямо на меня
 с противным гоготом
 но ведь податься некуда
 только вместе со всеми
 сколько это будет продолжаться дурачье?
 а меня так сдвинули со всех сторон
 что я выскочила
 будто пробка шампанского
 закричала заплескала по плечам по головам
 мы все — из одного района
 из одного квартала
 из одного гнезда
 из одной дырки
 наши руки и ноги живут отдельно от нас
 в блаженной стране
 и подчиняясь гулкому ритму неба
 то взлетают в единой мольбе
 то колотят по песку по доскам
 то несутся купаться в океане
 и стройными рядами исчезают в туманных волнах
 наши ноги ноги ноги
 наши руки руки руки

чешуйчатое джинсовое чудовище
 с тысячью глаз — хочет любви
 ворочается в свете прожекторов

ДРУГОЙ

тот мне сейчас диктует
может приоткрыться:
это ревушее
слепящее
задувающее в душу ужасом
«я» уничтожающе —
разве это я?

подмена совершается каждый раз
приговоренный к смерти
сам в недоумении:
он и не думал
убил тот — его рукой
впрыгнул в него и убил
ребенок кричит и плачет
зачем ты мучил кошку?
не я! не я! я не мучил
зачем ты бил братишку?
я не бил! это он сам!
так протестует
закатывается в истерику —
пена на губах
глупые взрослые — не верят
шелкает в мозг: наказать
и вот уже сын
бьется в руках манекена
папа не бей!
а это вовсе не папа
опять совершилась подмена

ГЕНИЙ ЛИНИИ

Льву Кропивницкому

с молодых ногтей
он видел всюду линию:
пробор на голове матери
нос отца
ремень в его руках —
жилы как нарисованные
линия спины и бедра
раздевающейся женщины
линия горизонта
железнодорожная линия
уходящая за...
он и стал рисовать ее —
линию

сначала робко:
гипс и натура
затем все осмысленней
постоянное упражнение
в любви к линии
обожествление линии
в пустоте

все тянул эту линию
через канавы поля и постройки —
проволоку
сквозь собственное тело!



Бульон НА ПАЛУБЕ «ПРОМЕНАД»



Рисунки Николая Протасова

Что я пишу — легенду, правду или будущий миф? Я уже затрудняюсь сказать, было ли это и в какой пропорции, но память моя твердо держит одно: лет семь назад раздался звонок в дверь... Со звонков в дверь многое начиналось в моей судьбе. Один раз вот так же позвонил в дверь молодой человек и оказался режиссером из Костромы Виктором Семаковым, с которым мы дружим многие годы, а тогда он сказал, что бедновато для писателя живу, а наш долгий, на кухне, разговор в конечном итоге завершился пьесой, которая шла в театре, где когда-то бывал Островский.

Этот звонок был еще более экстравагантным. Стоявший за дверью молодой человек, которого я смутно помнил то ли по какой-то интеллигентской тусовке, то ли по именинам, где он был как младший, — поздоровавшись, спросил:

— Сергей Николаевич, вы в настоящее время пишете какой-нибудь роман?

— Пишу.

— Вы пишете на машинке, на компьютере или от руки?

— От руки, а потом сам переписываю на машинке.

— А можно на этот раз переписывать буду я?

Собственно говоря, Сергей Толкачев, работавший тогда провинциальным журналистом в Подмоскovie, добросовестно, от заглавия до финала, переписал на машинке (и расставил знаки препинания) роман «Соглядатай», над которым я работал с начала перестройки. А потом то же самое произошло с большей частью романа «Эффект Близнецов».

Возможно, необходимый импульс был получен и освоен, или к этому времени закрутили его собственные журналистские дела, а потом и писательские, но перепечатывать меня он больше не стал. А через некоторое время я оказался первым читателем его рассказов.

Я всегда восхищался организованностью и прагматической нацеленностью этого молодого человека. Столько сделать и столько успеть за очень недолгую жизнь! Вот сейчас, прямо на моих глазах, он осваивает четвертый ино-странный язык. Но будет об этом. Вернемся к его прозе. Но тут, правда, оказался еще один советчик — знаменитый литературовед и педагог профессор Литературного института Михаил Петрович Лобанов, в семинаре которого Толкачев учился на заочном отделении — второе образование!

Я ожидал, собственно говоря, что и проза его будет чуть рациональна, суховата, с прицелом на «зрелого Есина». Но вот когда рекомендовал его повесть в «Юность» — сумасшедшую, откровенную, с болью за время и с восхищением перед резко пилотируемой жизнью, — но вот когда отдавал, то уже завидовал. О, мне уже не закладывать таких виражей при полете. Но, собственно говоря, чего уж скрывать, — это грустная необходимость учителя — всегда завидовать своему ученику. Лети, голубчик, и не забывай тех, кто остались и ждут тебя на земле.

Сергей Есин

Посвящая сыну Сергею

Вы, конечно, будете обвинять этого парня во всем. Что он человек спокойный и для окружающих неинтересный. Что живет жизнью размеренной и относительно здоровой. У него, последуют ваши укоры, — извращенные вкусы. Пьет лишь шампанское под предлогом того, что не пьет вообще. Он ошибочно полагает, что шампанское — универсальное лекарство для людей тусклых, потерявших в себе уверенность, но еще рассчитывающих запретными путями проникнуть в сияющий рай, куда без успеха прорывался этот провинциальный скромняга: в интеллигентное общество. И до тридцати лет он прочитал массу книг в надежде поумнеть и тем самым получить пропуск в очень разветвленную сеть литературно-музыкально-театральной элиты, купание и томление в которой может составить если не смысл жизни, то какое-то сносно оправданное существование в мире, где гораздо легче и приятнее послушать проповедь заокеанского миссионера по телевизору утром в воскресенье, чем выйти во двор, расчистить площадку от полуночного срама и на глазах изумленных соседей помолиться на ней своему богу. Благо в наше время соседи по таким мелочам ни милиции, ни «скорой» не вызывают. Много их, молящихся.

Итак, ваш парень, на которого вы случайно обратили внимание, не поумнел и готов был уже плюнуть на все и согласиться на безрадостное, добросовестное одиночество, украшаемое лишь долгими сидениями в библиотеке. Эти уютные желтые круги в подслеповатой полутьме, Вам они не нравятся? — круги настольных ламп, огораживающие территорию, на которую не может проникнуть ни пыльный зной австралийской саванны, ни ледяная свежесть затерянного альпийского ущелья. Но круги эти, можно поспорить, в безнадеежный вечер берегут и от темной тоски подстерегающих одинокого путника глухих переулков, которые надо преодолевать ежедневно, от хитрых ловушек, расставленных бессонницей, — в них князь тьмы ловит людей с оголенным воображением, — от серого утра, когда ванная комната с бритвенными принадлежностями гораздо страшнее, чем камера приговоренного к смерти через гильотинирование.

То-то он не всегда чисто выбрит по утрам, сладострастно потрете вы руки. Бессонница, видите ли, его замучила. Слушайте все! Он использует ночи не для нормального человеческого сна, а для тоски — результат неправильного, слишком здорового образа жизни — для тоски по большому героическому несчастью, потому что жажда счастья слишком легко утоляется, для ностальгии по настоящему искусству, которое могло бы проявиться в создании, к примеру, цивилизации своего имени. А может быть, он тоскует по встрече с Великим Актером как представителем Большого Искусства, который живет жизнью полнокровной, хотя и обыденной, играя в ней для поддержания формы необычайно сложную роль: обыкновенного человека.

С первого взгляда его не узнаешь. Да и вообще никогда не узнаешь, если сам не откроется.

Ну, ничего! Мы устроим нашему герою испытание, решите вы. Всего один раз и бесплатно — запомнит надолго. Мы устроим ему встречу с Великим Актером, чтобы он понял, за чем гоняется. И вам, сведникам, конечно, будет очень удобно и приятно следить за ходом эксперимента, пристроившись в безопасном отдалении. Главное, поместить этого парня в необычную обстановку. Так, чтобы он не заподозрил запланированности своего возникновения на борту космического (нет, космос не пойдет, космические темы для людей избранных, для тел инородного происхождения) или океанского (это ближе к сермяжной!) корабля. Для этого он как бы случайно на почте, среди замаранных телеграфных бланков, находит билет на морской круиз — только имя впиши и собирай чемодан. Или случайно выигрывает этот билет в лотерею в результате ошибки, потому что случайного в современных лотереях не бывает: все стоящее давным-давно разыграно.

Как бы то ни было, он случайно окажется на борту океанского суперлайнера, который — о, радость! о, исполнение желаний! — от трюма до самой верхней палубы заселен интеллигентными людьми: известными артистами, музыкантами, писателями и другими артистическими личностями. Исключить из этого числа можно лишь матросов, судомоек, накрахмаленных вусмерть официантов, продавцов шикарных магазинов и пахнущих клиентами широкобедрых горничных, будто прячущих под своими халатами запасные комплекты постельного белья. А может быть, все-таки кипы непрочитанных литературных журналов и газет? — такой уж у них заумный вид, фу-ты ну-ты!

Его — а вы для удобства назовете подопытного Гостем — так вот, его, Гостя, не стоит, наверное, упрекать в прямом стремлении отщипнуть от вашего пирога, бесплатно подслушать, подметить, запомнить и потом — это уж как выйдет — разнести по свету. И не стоит его винить за то, что он как следует отъестся на корабле. От вас не убудет, потому что у него не очень хороший аппетит. Да и юность была полуголодная. Он не избалован фуршетом, шведскими столами и дорогими ужинами в ресторанах. Он, Гость, не может, конечно, отличить ножа, используемого для мяса, от фруктового ножичка. Это все кровь, воспитание, гены. Разве способна мать, приемщица в химчистке, к примеру, или отец — а их у Гостей чаще всего не бывает (безотцовщина!) — научить каким-либо излишествам, кроме произнесения слова «спасибо» при вставании из-за обеденного стола?

Гость вначале будет испытывать множество неудобств: на него будут слишком часто обращать — мимолетно! — внимание. Ведь он даже не представляет, с какого конца подходить к индейке, облепленной шампиньонами, или к муссу, затопленному шокола-

дом, какой рукой подносить эти изысканные блюда к органу принятия пищи. Ой, как неудобно! Ой, как стыдно! Уж лучше бы все это завернуть в полиэтиленовый пакетик и уйти в свою каютку, и там поесть по-скорому, по-быстрому. Пока не побеспокоили. Пока не отняли.

А кое-что на борту корабля отнимают. Конечно, не икру, ананасы и рябчиков — все это плывущей публике поднадоело и на берегу. Отнимают здесь скорее время и возможности: ведь надо отдышаться, осмотреться, приноровиться, изучить исподволь, слиться. Гость скромно на фуршете накладывает рыбку на тарелку, но тут как тут — а вы не могли бы посоветовать, какая рыбка повкуснее? — его атакуют две милые дамы. Жанна и Лиля. Писательницы. Романистки. Жанр, естественно, любовный. Критикой отмечено высокое мастерство любовных сцен, а вот философические рассуждения, увы, критикой не отмечены никак. В связи с этим Жанна и Лиля, женщины незлобивые в обыденной жизни, помногу и щедро дарящие — агрессивны и прожорливы там, где дело пахнет свежим, неизведанным материалом. Потому они и нападают вначале на Гостя. Хотя он не последняя их жертва на этом корабле. В меру процуренными голосами они обмениваются информацией, пропущенной через фильтры их голов, до гла сожженных неким красящим веществом. Последствия долговременной химико-идеологической войны. Загорелые. Лупоглазые — верно, в связи с искренним удивлением перед лицом этой поставившей массу интересного для их романов жизни. Глаза выдупляются в зависимости от важности увиденного и услышанного. Рыбки золотые. Обмениваясь новостями, они аккуратно и ревностно поправляют друг у друга складки на нарядах, сдувают пылинки, будто доказывая друг другу: ты, дорогая, конечно, прелесть, но тебе до меня недостает совсем чуточку, и я бы уступила тебе первенство во всем и в любой момент, но только не на виду у этого свежего молодого человека, ну не совсем, правда, молодого, но, главное, совсем свежего...

Да, не вполне молодой. Хотя все зубы и волосы на месте. Но у Гостя есть резко выдающееся достоинство: широкие плечи. Следствие ночной разгрузки вагонов в студенческие годы. Ночная разгрузка вагонов, само собой разумеется, находится несколько в стороне от тех химических лабораторий, в которых идет кропотливое взращивание, вскармливание, взбалтывание юноши-интеллекта: мамы-бабушки, скрипочки, вольтерчики, английский языки. Отсюда и результат: широкие плечи Гостя при совершенном неумении проявить инициативу в светском разговоре, приковать к себе внимание красноречивым, полным жизненного и культурологического смысла потоком речи, который заставил бы окружающих прозреть и воскликнуть: «Однако! А этот тип не так прост, как можно было бы подумать по его грубоватым манерам!» Хотя и не стоит произносить этого вслух, дабы как можно сильнее замедлить произрастание этого ростка. И задавить его, и глубже закопать, и надпись написать. А лучше — не писать вообще...

Гость вначале подумает, что Жанна и Лиля подсланы к нему специально, чтобы сообщить, намекнуть, проговориться ненароком, что круиз непростой, потому-то для всех и двойное везение: на корабле устраивается некий Праздник для увеселения богатых отдыхающих. Праздник Спасения или что-то в этом роде — сразу он даже не поймет, настолько будет поражен блеском окружающей обстановки. Он никогда даже представить себе не мог, как путешествуют интелли-

гентные люди, артисты, к примеру. Он растерян. Он всегда думал: нет у них на это времени. Корпят в тиши мастерской, беременея идеями, вынашивая в утробе образы и роли. Купание в сладостных водопадах одиночества и, как правило, не сложившейся (сложилась — так нужно подрастить!) личной жизни. Трепетное ожидание прилета, по меньшей мере, инопланетного корабля, который востребует их искусство Где-то Там. А не здесь, на одиннадцатипалубном судне с тремя ресторанами, четырьмя бассейнами, пятью барами и одним казино. Всего-то одним казино!

Да, вот Гость, к примеру, в казино ни разу не был — пробел страшный! — и чем там занимаются по ночам — не знает. Вот козинаки пробовал. Любит сладкое. Любит десерт. Как можно дольше старается сохранить очарование интеллигентной публикой. Ну подумай: идет по палубе мимо тебя кумир, известный, к примеру, по телепередаче «Момент эякуляции». Кумир — в трусах. Иногда от него — для правдоподобия? — даже пахнет потом. Поджаренная свиная мордочка с носиком-пятячком (кто сказал, что свинья бесполезное животное?). Капризно сложенные губки, привыкшие обливаться потом собеседника в прямом эфире оглушивать вопросом: «И что же такое все-таки, по-Вашему, эякуляция и как она влияет на современную политическую конъюнктуру?» Но трусы, пот, неприличная записка на затылке — все это такие подробности, о которых кто иной побоялся бы писать даже в личном дневнике — его Гость не ведет, потому что не все статьи уголовного кодекса, касающиеся интеллигента, отменены, и хоть он пока не интеллигент, разбираться там особо не будут. Тело безродного псевдоинтеллигента — хорошее удобрение для интеллигента богатого, известного. И Гостя не должен смущать прославленный артист в трусах, из-под резинки которых торчат округлые валики жира. Фу, прямо как-то не по себе! Как жаль, что в этой стране отменили автоматические пульверизаторы, освежавшие когда-то душистыми струями при малейшем нажатии кнопки или опускании монеты. Могли бы не отменять, а просто написать: алкоголикам пользоваться строго воспрещено. И господа алкоголики и не подходили бы — людям надо доверять! А про трусы — забыть. На Празднике Спасения, или где еще, артист обязательно появится во фраке, элегантно до умопомрачения, запудрившим, задушившим все прорехи на своем нездоровом от изысканной пищи теле.

Интересно, а в чем на светских вечеринках появляются такие известные эстрадные певицы, одно слово — «звезды», как Маша-Анальгин, тоже плывущая на корабле? Прозвище Маши — вместо голоса обаятельное шипение, некий гибрид гадюки и шонерского горна — отнюдь не фармацевтического происхождения. Маша — гадюка не совсем. Мила и сложена недурственно. Все на своих местах. Особенно анальное отверстие (не совсем остроумные ассоциации для приклеивания прозвища, но звучит необходимо и довольно пикантно), на которое не спит еще подходящий скромный туалет. И кто этот личный кутюрье Маши? Понашивший для нее нарядов таких, что при малейшем движении Машиного тела анальное отверстие выглядывает наружу и дразнит глупых и беспризорных, но — надо отдать должное — интеллигентных мужчин с большими деньгами. Ой, как сладко!

Кстати, о сладком. Вы упрекаете Гостя в некоторой замкнутости. Но он готов, если вы только вежливо, по-интеллигентному попросите его, рассказать о

самой первой конфетке, полученной в награду за бо-гоугодную акцию. Гость — на заре своей юности. Бы-линочка нерасцветшая. Соседка тетя Ася. Пышногру-дая, широкобедрая продавщица из кондитерского от-дела. Таков первоначальный расклад сил. «Хочешь, голубчик, конфетку?» — тетя заманивает мальчика к себе домой. И он от удивления раскрывает рот. Пер-вый раз в жизни он видит эту конфетку. Она похожа на бесстыже перевернувшуюся на спинку улитку, пы-тающуюся что-то схватить в воздухе своими слизисты-ми оболочками. Тетя Ася, снимая свои обширные штаны, ласково поглаживает мальчика по голове, и приговаривает: он, мальчик, очень хороший, он заслу-жил чего-нибудь вкусенького. А хороший мальчик молчит и делает все, как учит тетя Ася, которая во время происходящей у нее на кровати сцены почему-то кричит, трясется, как в лихорадке, закатывает глаза и обнажает клыкастые золотые зубы. Когда все вроде кончается, тетя Ася действительно дарит убаживше-му ее юноше горсть леденцов, называя его самым при-лежным из всех ее учеников. По приходе домой мать юного героя подозрительно косится на его не до конца застегнутую ширинку, а мальчик неуклюже отшучи-вается. Первый обман. Или второй?

Да, еще. Постельные скачки тетя Ася обильно сдаб-ривает, не закрывая рот, обрывочными рассказами о своей тяжелой жизни продавца, и рассказы эти хоть и совершенно безнравственны: «свина туша», «куча дерь-ма», «пьяный грузчик Игорь весь в дерьме» и т. д., — но очень информативны и забавны, что одновременно с новыми острыми ощущениями взрослого муж-чины не дают мальчику скучать. Много говорящие женщины, при немногословности Гостя, на долгие годы становятся для него хорошим поплавком. Он уважает женщин, любящих много, со вкусом поговорить. Жан-на и Лилия могут часами рассказывать о том, как они оказались на корабле, что такое Праздник Спасения, о котором они, тем не менее, не имеют четкого пред-ставления. Главное, рассказывают они, мы надеемся спастись как романистки, которых перестали печатать и читать, потому что любовь вышла из моды. И за время их двухгодового монолога можно сбегать в туа-лет и вернуться. А они все рассказывают и рассказы-вают. Основное в общении с такими дамами, усвоил Гость, внимание. Время от времени подходить к ним совсем близко и дрожащим голосом произносить, гля-дя прямо в глаза: «Вы меня потрясаете!» Но это лишь теоретический выверт. Поскольку рано или поздно Гость вырывается из притяжения милого дамского сло-весного гипноза, поскольку гипноз этот может свести с ума. А он человек впечатлительный. Может, и свих-нулся давно, но сам того не замечает.

Но есть и другие примеры — Елизавета. Из галереи самых оригинальных пассажиров корабля. *Неразговор-чивая* женщина. Это феномен! Это второе пришеств-ие! Молча листает журналы, нахмутив грубый мор-щинистый лоб. Курит трубку. Табачный дым запол-няет пустоты в пространстве и во времени. «Елизаве-та», — коротко представляется она Гостю, больно по-жимая ему руку. И идет просматривать журналы.

Крупная прокатчица, сообщают всезнающие Жан-на и Лилия. Трудно удержаться от вопроса, что же про-катывает Елизавета. Прокат — дело тонкое, и потому лучше не лезть в дебри, чтобы не навредить себе в про-цессе приобщения к цивилизации и интеллигенции. Главное, Елизавета неожиданно приходит на помощь Гостю, когда начинается качка.

Это простаки думают, что качка в море — это когда качает из стороны в сторону. Как в люльке. Хотя кто из нас помнит, как нас качали в люльке?

Пытка заключается в том, что тебя вроде и не кача-ет. Но только подносишь вилку с ножом к своему куску, как он, кусок, вместе с тарелкой, столом, Жан-ной, Лилей и еще несколькими незнакомыми интел-лигентными дамами и их вспотевшими от переедания и от предвкушения ночи кавалерами, — все это оказы-вается в бездне. И тебе кто-то лихо свистит снизу. Это твои ближайшие соседи по шведскому столу. Они на-значают штрафы, р-р-разбегаются, и твой кусок точ-но оказывается в воротах, в которых торчит твоя вил-ка о семнадцати остриях. Соус обязательно ляпается на брюки. Салфетка? Не тут-то было: все провалива-ется в обратном направлении, и весь мир оказывается на небесах. При этом можно увидеть дамское белье, даже отсутствие белья, что-то будет капать сверху, по-сыпятся крошки. Все в одном оперном порыве кричат: эх, ухнем! И качели летят в обратном направлении. А Елизавета на подлете к Гостю успевает пробасить, что лучшее лекарство от качки — бокал красного вина. Дра-матический момент! Впервые Гость отступает от свое-го принципа не пить вообще, а потому пить одно шам-панское. Но акт насилия совершен, под видом добро-желательности ему вливают в рот эту опасную жид-кость, и все вокруг обманчиво, с явно злой целью ста-билизируется. Все вокруг увлажняется, расплывается. И свечи на ресторанных столах, и таинственные име-нины, которые каждый божий день празднуются на корабле. Будто пассажиров подбিরали не по признаку интеллигентности, а по формальным анкетным дан-ным — датам рождения. Вот и плывет на судне белая куча знаков Зодиака: скорпионы, львы, девы, куро-патки. С детства Гость не любил куропаток, поскольку не приходилось с ними сталкиваться. Предпочитал обыкновенных — неплохо, если бы еще и бройлерных, — цыплят. Гостю противопоказаны как вино, так и куропатки. От съеденных куропаток может возникнуть чувство неотвратимой беды. Не сразу, а несколько позже, когда их начинаешь потреблять во все больших количествах, и эти оплаченные авансом куропатки единственная возможность для инородных злых сил вторгнуться во внутренности неинтеллигентного че-ловека и произвести там, хоть и встречая большое внут-реннее сопротивление неотравленного, экологически чистого пока еще организма, необратимые изменения.

Но сначала от вина становится приятно. А бывает так, что только под кайфом ты начинаешь задумываться над окружающим и отделять не только лиц пола жен-ского от пола мужского, но и внедряться во все более тонкие хитросплетения человеческих отношений и, в частности, той общей компании, которой вначале мож-но было дать лишь расплывчатое название: пассажи-ры, плывущие на борту корабля. Жанну и Лилию Гост-ю теперь, конечно же, трудно спутать с шикарной дамой — она им не чета, — очень похожей на знаме-нитую в прошлом, во времена дикой несвободы и еди-номыслия, актрису Иву Валентинову, блиставшую на необъятных экранах широкоформатных кинотеатров страны в образах то брошенных женщин, то удачли-вых производственников, то беспощадных секретарей партийных организаций. И мужчины тоже довольно разные. Какого-нибудь там провинциального бизнес-мена — богача, откровенно напоказ сорящего своими деньгами, — не спутаешь с красиво одетыми, молоды-ми ребятами, которые на борту этого корабля могли

бы оказаться либо в качестве личной охраны той же Ивы Валентиновой, либо в результате совершения крупной денежной аферы, что само по себе не наказуемо и должно вызывать у окружающих самое искреннее уважение. Крупный бизнесмен — таких люди нежизнерадостные, не способные на широкий русский кураж, во все времена называли аферистами и грабителями — это очень близкая к светскому обществу фигура, которая лишь в нецивилизованных странах может вызвать пошлый интерес полиции. Но здесь он царь, малейшему кивку и подмигиванию которого подчиняется не только вся команда, от капитана до последнего матроса и официанта, но и публика победнее, хотя по сравнению с Гостем самый бедный пассажир здесь — крез. Высший класс отличается здесь от первого самой малостью — наличием крутых, плечистых тел-шкафов, приставленных персонально лишь к каждому аристократу. Личная охрана, плывущая с хозяином на таком корабле, — штука, вызывающая невольное уважение и содрогание.

На заре эры свободы, которая наступила до неприятности внезапно, — понос и тот, прежде чем заставить бежать сломя голову в отхожее место, предупреждает некоторыми не очень приятными, но вполне симпатичными болями в животе, — да и не только на заре, но уже и в первые дни и недели эры свободы, Гостю, да и не только ему одному, нравилась таинственная аура, которой бывали окружены встречавшиеся тогда довольно редко люди с личной охраной. Вспоминается, как в это время порядочные, хоть и не очень интеллигентные люди, начинают вооружаться главным оружием личности, освободившейся из-под нечеловеческого гнета нелепых, разрушающих идей человеческого равенства, — небольшими тележками для перевозки посильных тяжестей. И на этих тележках перевозить из города в город всевозможнейшие коробки, тюки и свертки. А тележки эти становятся тогда истинным бедствием для всех метрополитенов страны. Они то и дело застревают и тормозят эскалаторы, в результате чего на подземные рельсы рассыпаются массы скоропортящихся продуктов, что, в свою очередь, становится причиной появления толп жутких крыс-мутантов, коварная деятельность которых в подземельях напрямую влияет на посещаемость театров и других культурных заведений, поскольку не в кайф ездить на поездке, ожидая в любую минуту нападения на ничем не защищенное транспортное средство неизвестных науке кровожадных животных.

А Гость-то как раз и ловит момент, чтобы крысы дали ему возможность походить по музеям, в которых раньше, в эру несвободы толпились разные бездельники, притворявшиеся интеллигентами (истинно интеллигентные люди давно уже все успели по-смотреть без очереди), а на самом деле их просто трудно было занять чем-то более серьезным, вроде спекуляции изделиями рук человеческих. Ах, Гоген! Ах, Дега!

И вот в одном из залов большого музея Гость наталкивается на сидящую с печальным видом на диване возле какого-то эпического полотна юную мадонну, которую он сначала от неожиданности принимает за смотрительницу. Но потом он соображает, что отсутствие ненависти ко всему культурному человечеству в глазах мадонны выдает ее с головой. И никакая она не смотрительница, а обыкновенная посетительница, которая осмелилась, вопреки строгим правилам, присесть на бархатный антикварный диван, плотно сжав точечные коленочки. И лишь маленькая сумочка с золо-

той цепочкой, лежащая на коленях, намекает на то, что мадонна не совсем обыкновенная посетительница. Она сильно чем-то опечалена, полураскрытые губы источают тонкую тоску — и невозможно пройти мимо, не спросив: что случилось?

Мадонна вздрагивает и виновато улыбается в ответ: ей так хорошо среди этих картин и статуй, совсем не хочется с ними расставаться. А расставаться надо, и может быть, навсегда. Беда, беда: у нее куча обязанностей, больших и малых, и от них куда не спрятаться. И это ее последний визит в музей, в который она влюблена с детства. И в подтверждение ее слов по бокам дивана вырастают двое румянощеких, усатых молодых — два рыцаря, сошедших с картины эпохи Возрождения. Если бы только не отутюженные шикарные тройки, сидящие на них как влитые. А тут Гость в своих поношенных джинсах и кроссовках. Стыдоба! «Охрана госпожи Белоцерковской, — белозубо улыбаются охранники. — Чем обязаны?» Мадонна виновато смотрит на Гостя и машет на прощание рукой, как будто она в чем-то виновата, и долго вдоль анфилады залов разносится легкое поцокивание по мраморному полу ее дюймовочкиных туфельек и вкрадчивый, но уверенный стук тяжелых ботинок сопровождающих ее ребят. Как прекрасен союз этой молодой тройки, думает Гость и растерянно садится на тот же самый антикварный диван. Ей, такой хрупкой и нежной, приходится заниматься очень важными и нужными для общества делами, такими важными, что ее требуется обязательно охранять. От чего? От кого? И эти двое парней, готовых положить за нее жизнь, лишь бы ни один волос не упал с ее головы. Деньги — только они не могут скреплять этот союз, деньги, которые она или кто-либо другой выплачивает этим охранникам. Как легко, с каким энергичным оптимизмом удаляется эта компания! Бритые затылки парней светятся бескорыстием и благородством, которое не позволяет думать о том, что они, Белоцерковская и ее безымянные рыцари, связаны чем-то корыстным, помимо сестринско-братских отношений. Гость представляет себя в роли одного из телохранителей: наверняка у него могли бы сложиться неформальные отношения с охраняемой хозяйкой. Он был бы романтичным телохранителем, полагающим, что профессия телохранителя основана не только на массе мышц (о величине денежного гонорара думать не хочется, но откуда черпать физические силы, не только ведь из одной любви), но и на некоем особом, нечеловеческом влечении охранителя к охраняемому объекту. С какой любовью начинаем думать мы о своем сердце, когда оно дает первый сбой!

Гость с тарелочкой и вилкой наперевес переходит к другому концу стола, чтобы выбрать чего-нибудь вегетарианского: после первой качки он некоторое время не может смотреть на мясо, в том числе и на человеческое. Замыкается. Сжимается. И зачем он плывет? И куда? Но рядом вдруг оказывается бодренький человек с пороссячими глазами и дурным запахом изо рта. Месакин, режиссер Н-ского театра, представляется он. Гость предпринимает усилия, чтобы не отвернуться от дурного запаха. Вы будете обвинять его в чистоплюйстве, но примите во внимание, что, при всей его внутренней банальности, бледноватости, безликости, у него всю жизнь с рождения были здоровые ровные зубы и приятный запах изо рта. Не то чтобы он предпринимал для этого какие-либо особые усилия. Просто рот, ротовая полость и все связанные с этим органы у него от природы всегда в идеальном порядке

и чистоте, что связано с простотой потребляемой пищи и отсутствием гнилостных процессов в его черепной коробке. Ему уже довелось нанюхаться разнообразнейших запахов на этом корабле, и уже какой-то дьявол сомнения шепчет ему изнутри: хрен с ней, с этой образованностью и интеллигентностью, она, наверное, и движет человеческим прогрессом, но какой смысл в прогрессе, если он делается с дурным запахом изо рта. Но Гость подавляет в себе этого дьявола: рано еще, рано делать выводы. Ведь если уйти, испариться с борта этого судна, высадиться в первом попавшемся порту, что тогда останется в жизни, какие стремления и мечты?

Месакин тесно прижимается к Гостю, будто от этого зависит их взаимопонимание, и начинает объясняться ему в своей румянощекости. Вся беда в жизни Месакина, оказывается, от нее, от румянощекости. В детстве он сильно тужился, сидя на горшке. Оттого и лопнул в свои неполные, Месакин тяжело вздыхает, сорок четыре года. Такая откровенность подготавливает Гостя к новым слегка шокирующим признаниям Месакина: что никакой он не Н-ский режиссер, а, напротив, заправила на провинциальном коммерческом телевидении, прокручивающий олувершему от компостирования мозгов населению пиратские импортные фильмы, и что с высоким искусством покончено, и что в энциклопедии о нем не напишут ни строчки, и что жена обрыдла, и что любовница — дура, и что на детей наплевать, и что спасение — сей корабль, да и на том страшно. Месакин опрокидывает — с утра! — стакан водки и жутким шепотом начинает рассказывать, что, по слухам, на этом корабле инкогнито едет Великий Актер, который до неузнаваемости переменял свою внешность и от которого, говорят, зависит спасение и дальнейшее процветание пассажиров этого корабля. Сам Месакин и поехал в этот круиз, чтобы вернуть хоть часть жизненного успеха. Он не пытается объяснить, что к чему, потому что с каждым новым стаканом водки у него все сильнее заплетается язык и расспросить его о чем-нибудь невозможно. Вместо этого Месакин, еще теснее прижавшись к Гостю, уставившись в одну точку, начинает проклинать се-бя за то, что лет десять назад, когда его режиссерские дела шли в гору и он был знаменитым чуть ли не на полмира, ему довелось столкнуться с Великим Актером, которого он легкомысленно откинул от себя. С того злополучного момента все в его жизни пошло кривь и вкось.

Великий Актер пришел к нему случайно и попросил взять его на роль жены Достоевского. Как выяснилось на пробах, жена Достоевского вышла из него преотличнейшая, но Месакину помешали взять его в спектакль блатные планы. Вначале Великий Актер часто заходил к Месакину в театр и спрашивал, когда состоятся репетиции. Потом он куда-то исчез, и однажды глубокой ночью Месакина сорвал с кровати дикий телефонный звонок, и телефонистка обалдуевски пробормотала название сибирского городка и фамилию вызывающего, которую Месакин не расслышал. В трубке раздался старческий голос: «Как мои дела с ролью жены Достоевского?» А Месакин вместо того, чтобы ответить, что в ближайшее время вакансии не предвидится, спросил: «А почему у вас такой старый голос?» — на что телефонная трубка уклончиво ответила: «Потому что я уже постарел...» — и горько засмеялась. Вскоре дела в театре не заладились, и Месакин перестал спать ночами, с ужасом ожидая демократических выборов с тайным голосованием, которых добивалась рвущаяся к власти группировка актеров и помережей,

заранее сколотившая для выборов деревянную урну. Последнюю обшили гробовым материалом, оставшимся от недавних похорон заслуженной статистики республики, которая умерла, застыв на сцене в полагающейся ей статической позе, и это заметили только после того, как в конце спектакля под аплодисменты зрителей задернулся занавес. В одну из глухих ночей, рассказывает Гостю Месакин, опять раздается междугороднее потренькивание, и обалдуевская телефонистка неразборчиво называет некую камчатскую деревушку Х., которая желает поговорить с товарищем Месакиным, если это он. «Я все еще надеюсь на роль жены Достоевского», — говорит абонент вполне нормальным молодым голосом. — Вы меня помните?» Месакин как раз долго не мог заснуть из-за неприятного видения похоронно-избирательной урны, которая витала перед ним в темноте, и потому он рывкнул в трубку (он был к тому же выпивши): «Ты, сволочь, никакой не актер. Ты ничтожный притворщик!» — «Да?» — печально протянула трубка, и Месакину показалось, что она даже увлажнилась от подступивших к ней слез.

Разговор прервался, Месакина вскоре сняли с работы, жена пригрозила, что ославит его на весь Н-ск за его огрехи в интимной жизни. Но долго еще после этого, даже когда Месакин уже выходил в провинциальный эфир со своими гадскими фильмами, раз в месяц, глубокими ночами, в его квартире раздавался междугородный звонок, телефонистка скороговоркой называла отдаленный населенный пункт, о котором Месакин и слыхом не слыхивал, а после минутного ожидания телефонистка извиняющимся тоном сообщала, что абонент заплатил авансом за очень долгий разговор, но куда-то ушел с переговорного пункта, и обещала перезвонить, если он вновь появится.

«И самое страшное», — шепчет Месакин, тревожно оглядываясь вокруг, хотя все заняты своими тарелками, что на днях уже на корабле в его, Месакина, каюте раздался ночной звонок, и телефонистка с величайшей ненавистью сообщила, что если на проводе Месакин, то с ним желают поговорить из го-рода Побируйска Черноземной области. «Разговор, конечно, не состоялся», — так и выдыхает Гость. «Верно, — подтверждает в своей розовощеко-пьяной задумчивости Месакин. — Но вы-то понимаете...»

Гость отстраняется от прилипчивого Месакина, который оказывается не таким уж бесполезным и отвратительным, каким показался с первого взгляда. Увы, тоже жертва той страшной эпохи, когда режиссеры театров насильно назначались на свою должность, как и директора экскаваторных и спиртоналивных заводов, а не выбирались легко и свободно в результате разумного волеизъявления демократического большинства. И хоть покончено с теми временами навечно, ходят ведь люди типа Месакина, жалуются, несладко им, больно, и никуда от них не деться, коль оказались они на борту этого корабля, правдами-неправдами достав билет на Круиз Спасения. «Вы-то понимаете...» Гость понимает, что раз на корабле изредка раздаются звонки с материка, на котором осталось ненавистное прошлое, значит, связь с внешним миром существует, и это вполне реальная, к примеру, спутниковая связь, а не мистическая, сюрреалистическая, в существовании которой так и хочется заподозрить нашу жизнь на основании того, что жизнь эта существует и продолжается, в то время как остановка двигателей или кораблекрушение — гораздо более естественный и приличествующий этой жизни ход событий. Другое дело,

что связь эта — дело дорогостоящее, и не всякому по карману, но то, что Месакину звонят сюда из Побируйска, отнюдь не говорит о состоятельности бывшего режиссера.

Да и вообще — Гость встряхивается, сбрасывая с себя окончательно опьяневшего и раскишшего Месакина, который беззвучно падает на пол, — где доказательства того, что Месакину звонили из Черноземной области, а не из соседней каюты или не из центральной рубки корабля, и что звонок этот — не часть программы увеселительных розыгрышей, предназначенной для публики, не реагирующей уже на привывшиеся развлечения, как-то: "Господа, встанем в круг и споем боевую нашу революционно-партизанскую «В лесу родилась...»" Публике каждый день нужно свежее, пронимающее до костей, хотя Гость, человек новый, смотрящий на все объективным взглядом, непритязательно и скромно рассуждает: разве имеет он право предъявлять какие-либо претензии к организаторам круиза, если на борту корабля он совершенно случайно, без настоящего билета. А безопаснее всего думать, что оказался он здесь по недосмотру, а не в результате чьего-то злого (или доброго) умысла.

И очень хорошо, что Гость не успевает раскрыться и рассказать тем же самым Жанне-Лиле, что здесь он оказался по недосмотру. Они бы не простили. А женщина, мстящая за обман в своих лучших романтических чувствах, — неумолима и страшна. Они, Жанна и Лилия, оказывается, несколько лет стояли в очереди, чтобы купить билеты на этот корабль. Зачем — понятно и так, но у известных в прошлом романисток, к сожалению, не сложилась еще и личная жизнь, которая приближается к той лунной фазе, когда луна затмевается навсегда. Но их убедила реклама, которая без устали твердит, что компания «Пушков и братья», организовавшая круиз, пользуется надежной репутацией. И по слухам, распространяющимся среди интеллигенции столичных и губернских городов, человек, попавший в круиз на этот корабль, как бы спасается от всех своих неудач и даже (чушь собачья, но все верят) — от смерти, за что любой и готов выложить сумму, равную двадцати четырем месячным зарплатам тружеников неинтеллигентных профессий. Но проясняется один интересный факт, который в других обстоятельствах ни фактом, ни интересным никто не посчитал бы: спасительная миссия связана с именем некоего вроде бы иностранца Халида, который якобы и является истинным владельцем компании «Пушков и братья». А Пушков и его братья в качестве акционеров существуют в действительности, но они — так, мелкая сошка, твари земноводные, — и на самом деле Пушков только прикрывает благородную, почти благо-творительную акцию Халида, суть которой пока не совсем еще понимается и принимается в обществе, особенно в несознательных, в неинтеллигентных его кругах.

«Пушков...» — задумывается Гость, прогуливаясь по палубе «Променад». Конечно, всю жизнь можно было мечтать только о том, чтобы, прогуливаясь по палубе океанского суперлайнера, вспоминать о некоем Пушкове, наслаждаясь одновременно видом раскиданных по палубе тел богатых и интеллигентных пассажиров, краснеющих и коричневеющих под почти экваториальным солнцем. Пушков. Знакомая фамилия.

В небольшом городке Красноармейске, где прошел один из славных отрезков жизни Гостя, с рождения до рокового побега в столичный город, одно время пра-

вил мэр с очень похожей фамилией. Гость, вступив в пору относительной сознательности, не захотел засиживаться в этом гниловато-кисловатом (в связи с близостью многочисленных химических заводов) местечке. В Красноармейске этом самом надо было только получить аттестат зрелости и паспорт. Но за короткий период своей жизни в Красноармейске Гость невольно вызнал множество любопытных фактов из славной истории Красноармейска и биографии выдающегося человека, коим оказался руководитель города, мэр Пушков. Последний прославился тем, что возвратил городу его исконное русское название Говноплюйск, но вскоре совершенно обидным образом случайно попался на спекуляции большими партиями недоброкачественной импортной помиды, от которой у говноплюйских женщин лопались губы, и они на некоторое время лишились возможности не то чтобы целоваться, но даже на радость говноплюйским мужчинам — говорить. В течение нескольких дней над Говноплюйском висела необычная тишина, что было зафиксировано местным отделением Академии наук.

Пушкова, вследствие инцидента, естественно, не посадили, а перевели на более высокую должность в столицу — от греха подальше. А горожане, проклиная Пушкова за помиду, в результате многоступенчатого пропорционально-мажоритарного референдума, в проведении которого помогли многочисленные социологические службы местного происхождения, составленные из безработных и бомжей, приняли решение с перевесом в один голос придать городу хоть и не исконное, но более благозвучное название Плюйск. Это было очень мудрым решением, принятым, главное, в результате демократической процедуры. Уровень жизни в Плюйске сразу повысился, поскольку к проходящему скорому поезду стали цеплять прицепной вагон «Плюйск-Москва», прежде не пеплявшийся, несмотря на усилия инициативной группы, которая в ответ на свои запросы в центр регулярно получала из столичного министерства ответы на гербовой бумаге, извещавшие достаточно прямолинейно и кратко, что «у нас в столице и своего говна хватает». Такие ответы обезкураживали говноплюйцев (в прошлом красноармейцев), но оптимизма они не теряли, продолжая отчаянную и справедливую войну за свой прицепной вагон, каковой в конце концов и подцепили.

Вместе с вагоном, вспоминает Гость, потягивая через соломинку горячий бульон, плюйцы получили тот минимум свободы, которая дала им так необходимые в провинциальной жизни ощущение близости к европейской цивилизации и возможность вывозить мешками продукцию местных огородов, как-то: картофель, редис, репу. И только Гость, с его тривиальным, пошлым взглядом на жизнь, может понять, что лежащие на палубе «Променад» и на других палубах потеющие (некоторые с душком) тела в каком-то смысле могут быть благодарны тысячам плюйцев и подобным им несчастливенным прицепными вагонами гражданам — ведь теперь репа перестала входить в разряд дефицитных продуктов, необходимых для поддержания необходимого уровня стабильности в обществе. И перед мысленным взором Гостя предстали тысячи, миллионы реп, целые потоки реп, стремящиеся из провинций в центр и там, благодаря тайственным операциям, превращающиеся в драгоценные металлы и в топливо для океанских суперлайнеров. Но все же Плюйск так далек от этой изысканной, сверкающей публики, что не верится, будто тот Пушков-мэр и Пушков-владелец

компании — одно и то же лицо. По крайней мере, у того Пушкина братьев не было и в помине.

Но как все-таки жизнь быстро меняется в благоприятную сторону. Ладно, Бог с ним, с Гостем. Он на корабле человек случайный, и бульон ему подают скорее в долг. Но что такое бульон, как не трупный отвар, как говаривала порой вторая жена Гостя — воинствующая вегетарианка, которая была готова на глазах у людей в тиши сельского Эдема скорее хряпнуть мелкое четвероногое палкой по голове и закопать бедное животное поглубже, лишь бы публично доказать: мясо и изделия из него противопоказаны мыслящему человеку, который должен понимать, что животные — братья наши меньшие, и принимать их внутрь — антигуманнейший акт. И разглядывая, как из носика автомата по розливу бульона медленно каплют бурные капли — в прошлом чьи-то живые, упорядоченно расположенные клетки, испытывавшие боль, с генами, сваренными ныне всмятку, — как они проливаются на палубу, образуя концентрические круги, которые прожигают все одиннадцать палуб насквозь, и проливаются, в конце концов, в океан (а к носу подходят все новые и новые пожиратели бульона с вафельными стаканчиками, сосательными трубочками и нездоровым запахом тела, который бывает лишь у заядлых едоков мяса), Гость думает: а вкусен был бы бульон, сваренный из моего тела? Видимо, ничего примечательного не получилось бы: не лучше, по крайней мере, чем из тел более интеллигентных. Чуть послаже, может быть, поскольку Гость — такой любитель сладкого! Интересно, а куда девается душа в результате паровой обработки человеческого тела? Видимо, в самом начале подвергается возгонке, улетает, смешиваясь с паром и засасываясь вытяжным шкафом. Наверняка это так, а не иначе. Поскольку ни на палубе «Променад», ни в других кухмистерских заведениях не замечалось, чтобы в аппетитном буром бульоне плавали мухи, души, щепки, слезы и другие посторонние предметы. Отменное качество!

Гость понимает, что за всякие вкусности в этой жизни рано или поздно приходится расплачиваться. Но что скажешь об этой изысканной голубокровной публике, для которой солнце до недавнего времени было импортным товаром, ввозившимся в их родную страну нелегально, контрабандой, а сейчас все они, пассажиры-путешественники, ловя розовыми языками капли жирно-янтарного бульона, чуть ли не с самого солнца стекающие им в ротовую полость, бесстыже, как на исповеди, обнажили перед лазурным небом свои груди, плечи и спины, и при этом приходит мысль: какая честь все же для этого солнца погреть своими отвыкшими от истинной цивилизации лучами (грело-то оно все по большей части людей богатых, но диких) попки выдающихся личностей, производителей и хранителей национальной культуры. Худых и толстых. Розовых и смуглых. Бывших и настоящих. Кинематографистов и художников. Певцов и артистов. Музыкантов и их подтанцовщиков. Людей бывалых и еще не обстрелянных. Какое счастье быть в одной с вами компании!

На палубе «Променад», кстати, появляется публика поскромнее. Из тех, кому пришлось задолго до начала круиза записываться в очередь на билет. Белая кость — им билеты доставляли на дом — чуть выше. Даже не на палубе «Аполлон», а на «Юпитере». Туда можно порой по недогаду обслуживающего персонала и разомлевших, растаявших от безделья охранников

просочиться с чашкой бульона в руках таким праздным зевакам, как Гость, который ищет скорее благоприятного сочетания прохлады морского бриза и теплоты полуденного солнца, чем острых ощущений от знакомства с такими значительными личностями, как, например, Ива Валентинова, предпочитающая отдыхать в относительном одиночестве, которое отчасти ей и может обеспечить нахождение на «Юпитере» — вдали от любопытных взглядов, глупых, обывательских вопросов о ее личной жизни и славной трудовой биографии.

Хотя если бы в Госте возобладало обывательское любопытство и он попытался бы навести справки о Валентиновой, то узнал бы, что с творческой карьерой знаменитой киноактрисы покончено. Что теперь ей, Иве Валентиновой, слабой и беззащитной женщине, приходится, чтобы выжить, заниматься серьезным и опасным бизнесом. И что новый фильм с ее участием, недавно вышедший на экраны, в котором Ива играет роль трактористки, не новый вовсе. Фильм был снят давным-давно, но на экраны его не пустили по идеологическим соображениям — пролежал на полке много лет. Гость может сколь угодно долго вглядываться в это не лишенное приятной хищности лицо, прожаренное солнцем (или софитами?). И даже когда Ива будет прищуривать глаза, чтобы взглянуть в глубь безоблачного горизонта, навстречу которому несется лайнер, Гостю все равно будет трудно угадать, сколько лет этому худощавому, выпеченному из просеянной шоколадной муки телу, которому можно равным образом дать и двадцать пять и шестьдесят лет. И когда она будет переворачиваться на спину, подставляя лучам впалый, никогда не знавший бремени материнства живот, никто, даже Гость с его относительной проницательностью «свежачка», смотрящего на все это в первый раз, не сможет сказать, какие тревожные и противоречивые чувства раздирают изнутри эту упругую еще на вид женскую грудь, которую не раз приходилось обнажать за деньги и бесплатно перед наглым, насилующим и оскверняющим объективом кинокамеры.



А ведь тревожиться ей, Иве Валентиновой, народной артистке бывшей республики, есть о чем. Монополия на производство гробов — а именно этим бизнесом она и занялась после продажи ею вместе с известным режиссером Крузенштейном нескольких кинотеатров и студий, нажитых честным трудом, — так вот, монополия на производство гробов ею утрачена. Появилось множество мелких и бесчестных конкурентов, не считающихся с правилами игры. Гробы перестают пользоваться спросом: люди по причине дороговизны погребальных услуг совсем не желают умирать. Если дела пойдут так и дальше, придется поразмышлять о том, как бы им в этом подсоблять.

Ива Валентинова, озабоченно вздыхая, переворачивается на другой бок, не замечая пристального взгляда стоящего поодаль Гостя. А согладаясь вспоминает Валентинову в старом, черно-белом еще и даже, кажется, немом фильме, в котором она сыграла роль крестьянской бабы, искусно сеявшей на поле горох. За эту роль Валентиновой дали то ли Нобелевскую, то ли Государственную премию, которую она пропила вместе с развеселой компанией любовников и прихлебателей за пару недель, в результате чего скончался ее муж, написавший сценарий для пресловутого фильма о бабе с горохом: супруги по-спорили, кто выпьет больше за раз. Все это, конечно, слухи, доходили они до Гостя из народа, официальная хроника об этих пикантностях умалчивала. А Гость — в те времена совсем еще мальчик — не верил злым наветам на героиню его любимого наряду с «Чапаевым» фильма и аккуратно следил за газетными сообщениями, в которых вслед за рядом интервью с актрисой — на фото она неизменно была облачена в черный бархат, — посвященных светлой памяти угробленного ею мужа, последовали многочисленные аналитические статьи, называвшие покойного несправедливо забытым классиком сценарной литературы. Все тогда, помнится, закричали дружным хором «классик, классик!», а Валентинова, почувствовав себя обладательницей великого наследия, начала торговать сценариями мужа направо и налево, отдавая их порой поштучно за бутылку водки. Но фильмы по проданным сценариям не снимались, и сценарии по большей части исчезали неизвестно куда.

Те достопамятные события, помнится, произвели на Гостя такое впечатление, что он, вдохновленный трагической историей любви двух видных интеллигентов государства, актрисы и сценариста, хотел было сам по молодости написать сценарий какой-нибудь пре-романтичной драмы, но дальше списка действующих лиц и строчки «Сцена первая. Входит Иван Иванович» дело не пошло.

Проторговавшись и изрядно потратившейся (равно как и поистрепавшейся) за пару лет актрисе, как утверждали злые языки, ничего не оставалось делать, как продать сценарий Крузенштейну, который тоже, как успел заметить Гость, плавает на этом корабле, но с Ивой они не то что не разговаривают, но даже обидать предпочитают в разных ресторанах. Нынешнее охлаждение друг к другу — естественный результат слишком тесного творческого содружества Валентиновой и Крузенштейна в прошлом, в течение нескольких лет деливших не только съемочную площадку, но и постель. Плодом их совместной работы стал многокилометровый фильм «Великий блуд», вышедший на экраны как раз в то время, когда говорить и показывать разрешили почти все, но даже по меркам наступавшей эры свободы некоторые эпизоды «Блуда» тянули на

уголовную статью за оскорбление общественной нравственности. Но, к счастью, такого мнения придерживались в основном не очень интеллигентные, откровенно реакционные газеты и журналы. Простой народ с жадностью смотрел «Великий блуд», прославляя свободу и новое искусство, что являлось подтверждением верности курса, который долго подготавливала и которым враз вдруг пошла большая, а следовательно, здоровая часть интеллигенции.

«Детишки!» — от воспоминаний Гостя отвлекает объявление по громкой связи. Голос вкрадчивый, почти плотоядный и до того бархатный, что его скорее можно назвать контральто, нежели баритоном, за который он себя пытается выдать. «Вы не забыли меня, детишки? Это я, ваш Сан Саныч! Как всегда, приглашаю вас на утренник в музыкальный салон "Атлантик"!» Да-да, Гость узнает голос известного радиоведущего Сан Саныча, выходящего в эфир национального радио с передачей «Для малышей-полуночников». Гость, мучаясь бессонницей, неоднократно слушал эту передачу сквозь дрему.

О Сан Саныче Гость знает немного. На борту судна этот в прошлом известный культурный деятель играет роль массовика-затейника. А знакомят Гостя с ним совершенно случайно Жанна и Лилия, вытаскивающие крупное, опьяневшее тело культурного деятеля из бара на палубу «Променад» на предмет проветривания. У человека горе, еле переводя дыхание, сообщают Жанна-Лилия. Два месяца воздержания после того, как жена погибла в автомобильной катастрофе. Вытирают с губ пьяного Сан Саныча капризные слюны. У Сан Саныча — лысый череп с красивыми синими прожилками — разветвляющимися артериями. Такой череп — идеальная натура для оригинальной картины «Земной шар, висящий во тьме Вселенной».

Не кажется ли Гостю несправедливым, что Сан Саныч отвалил бешеные деньги за пребывание на судне, да еще выполняет важное общественное поручение массовика-затейника, не имея ни малейшей возможности удовлетворить свои естественные потребности? Жанна-Лилия, пытаясь спровоцировать скромного, безответного Гостя этим каверзным вопросом на неточный и нелепый ответ, даже отбирают у него блюдо с омарами, которое он еле-еле успел выхватить у кого-то из-под носа при раздаче на шведском столе: научился прыткости, оставшись пару раз с отварным яйцом и куском черного хлеба.

Но тут же Гость, сам поражаясь своей находчивости, спрашивает: «А вы уверены, что ваша жена действительно разбилась?» Сияющий череп Сан Саныча от испуга подергивается мелкой рябью, а из ротового отверстия неуверенно раздаются слова: «В том-то и дело, что нет». Омары тоже ведут себя несколько странно, быстро, не по-человечески исчезая во ртах у Жанн-Лилий, которые смотрят при этом на Гостя голодными глазами, и не поймешь, чего им больше хочется: дальнейшего развития событий или новой порции омаров. А череп в легком недоумении разъясняет, что до него только дошли слухи, что жена разбилась, но прямых доказательств ее гибели у него нет. Сан Саныч звонил из разных городов своим доверенным лицам. Преданные друзья его пошли даже на то, чтобы взломать сейф похо-ронного бюро и выкрасть оттуда свидетельство о смерти жены. Жанна-Лилия от женского нетерпения взвизгивают: «Ну а дома-то что, дома?» Дома-то, по словам Сан Саныча, как раз и нельзя было получить правдивую информацию. Как только жена

его проболталась, что они стоят в очереди на Круиз Спасения, в результате которого возможно выпрямление искривленного жизненного пути, в гости к Сан Санычу валом повалили многочисленные родственники, которые гостили неделями, пили-ели за его счет. И все пытались выведать нечто о Круизе Спасения. Двоюродные тети и племянники катастрофически наводняли жилище Сан Саныча, кажется, даже размножались в нем. И однажды ночью Сан Саныч не смог войти в дом, потому что поперек входной двери лежало усталое тело свежеприбывшего родственника, не успевшего даже снять со спины дорожный рюкзак. Прорваться в квартиру было выше сил Сан Саныча, а потому он сразу же направился в долго-срочную командировку, в ходе которой ему и подвезли персональный билет на круиз. Но на борту судна его постигло печальное известие. Страшно даже подумать о том, что они там сделали с ней, с его женой, которая волею судеб осталась в роли заложницы.

Гость не пытается вдаваться в причины несоответствия интеллигентности и трусости Сан Саныча, бросившего бедную правоверную на съедение родственникам. Гостя больше интересует другой вопрос: чего же все-таки хочет Сан Саныч больше — поплакаться насчет пропавшей, возможно, жены или удовлетворить свои естественные потребности? Сан Саныч всхлипывает: страшно, ой как страшно, что жену убили, а билет захватили, и кто-то из дальних его родственников под видом интеллигента мог проникнуть на корабль, тем самым слегка подпортить высшее качество изысканного общества. А может быть, он, этот родственник, даже выслеживает такого живого и так желающего выпрямить свою искривленную жизнь диктора радио. Но несмотря на это, признается Сан Саныч, вытирая свои слезы кружевным платочком, так хочется порой перед самой смертью попробовать один раз, самый последний разочек испытать каких-нибудь сладострастных ощущений.

Жанна-Лиля рыдают. Жанна-Лиля внутренне готовы выполнить свой человеческий и женский долг, но они не успевают сделать Сан Санычу прямого предложения, потому что им во что бы то ни стало надо дожевать омаров. А массовик-затейник, по-мужски закинув на затылок воображаемый чуб, встряхивается. Долг зовет. Надо идти вести детский утренник.

Кстати, почему-то никто пока не похвалит Гостя за его относительную наблюдательность и умение не позволять обводить себя вокруг пальца в совсем уж откровенно надувательских вещах. Услышав раз объявление о детском утреннике, Гость начнет бегать по всем одиннадцати палубам корабля, заберется даже на самую нижнюю, на «Плутон», где в тиши запутанных и плохо освещенных коридоров найдет огромный кинотеатр (где-то совсем рядом с кинотеатром глухо грохочет чрево адской машины-двигателя, влекущей судно вперед, к неведомой цели), пробежит туда-сюда, с кормы на нос и с носа на корму, но салона «Атлантик», в котором Сан Саныч проводит свои детские утренники, Гость не найдет. Более того, Гость вдруг сообразит, что до сих пор не видел ни одного ребенка на борту, хотя сначала этот легкий недостаток не так сильно бросался в глаза. Ясно одно, что многочисленные таблички, аккуратно приделанные в разных местах — «Детям запрещается в одиночку пользоваться лифтами! Лифты от детей ломаются!», «Вход в казино детям воспрещен, по-скольку у них нет денег!», «Не разрешайте легким детям в одиночку прогуливаться на

корме — опасный боковой ветер!» — предназначены не для пас-сажиров, путешествующих с собачками и другими ласковыми домашними животными, и тем более не для тех пар, которые зовут друг друга «пусиками», но в паспортах данные «пусики» друг у друга не фигурируют.

Гость растерянно оглядывается: палуба «Променад» кипит народом, но ни малейших признаков детей или какого-либо детского утренника. Все мерт-во. Распростерты в изнеможении, плавающие на солнце тела, которые ничего не видят и не слышат. Плоские, фаршированные сладострастием животы женщин, зажатые узкими мальчишескими бедрами. Глазурно-холодцовые громады мужских животов, ниже которых виднеется узенькая полоска совершенно гладких, без малейшего намека на возвышенность плавков.

Чудес на свете не бывает, как жестко считает крупная прокатчица Елизавета, с которой Гость, подсев к ней в баре, делится своими беспокойствами. Елизавета — единственный кроме Гостя человек на борту, у которого совершенно трезвый взгляд и уверенные движения, несмотря на несколько стоящих рядом с ней опорожненных стаканов, от которых несет спиртом. Обычно Елизавета ходит по «Променад» широким гренадерским шагом, и мужчинам, выражающим желание с ней пофамильярничать, она слегка отдавливает пальцы ног своими увесистыми сапогами. После этого желание продолжать знакомство с ней обычно пропадает. Гость ценит благорасположение Елизаветы, которая молча кивает ему на соседний табурет, когда он в нерешительности останавливается возле стойки бара. Ясно, что Елизавета по какому-то принципу выделяет Гостя, безликого, неоригинального и ненаходчивого человека, да к тому же еще не пьющего, если не считать шампанского, изюм всей этой толпы, обычно предающейся возлияниям, что не лишает ее, публику (это уже искреннее мнение Гостя), таких блестящих качеств, как интеллигентность и вкус к эстетически полноценным явлениям действительности.

Гость пытается заказать шампанское на двоих, но куда там! Елизавета с кривой усмешкой щелкает мускулистыми пальцами, и бармен наливает два стакана водки «Мавзолей». На жизнь надо смотреть трезво, считает Елизавета в ответ на вопрос Гостя о детских утренниках: если есть детские утренники, значит, где-то должны быть и дети. Она, совершенно не снижая голоса и не боясь, что их могут подслушать в деле, которое само по себе необычно и наверняка требует сдержанности, если не секретности, сообщает Гостю, что в самом начале круиза она обратила внимание на одну примечательную штуковину. В момент посадки на корабль происходила одновременная погрузка контейнеров в грузовой трюм. Контейнеры были окрашены в веселые яркие цвета и разрисованы узорами, птичками и зверюшками. С помощью лебедок-аистов их перегружали с пристани на палубу, а потом и в трюм, и чтоб ей сдохнуть! — Елизавета здоровым кулаком грохает по стойке бара, — если в этих контейнерах не находилась масса детей!

Бармен с неудовольствием — кому бы понравилось! — но с необъяснимой почтительностью вытирает образовавшуюся лужу, а Елизавета в трезвенническом осатанении, которое бывает только у сильно пьющих людей, признается, что более мерзких рож, чем у собравшихся на этом корабле, она не видела за всю свою жизнь, и не мудрено, что детей на таком судне грузят на борт в контейнерах, пусть хоть и раскрашенных в

яркие привлекательные цвета. Гость пытается остановить ее проклятия в адрес пассажиров магическим словом «интеллигентный», которое до сего момента было для него, с одной стороны, пропуском на все палубы, а с другой — маской, скрывавшей простоту его происхождения, но Елизавета перебивает Гостя: если придется спасаться вместе с этим сбродом, так пусть ее лучше приберет к рукам черт или морской дьявол. И побыстрее, потому что круиз подходит к концу и все завершится, как все знают, грандиозным Праздником Спасения, сердцем которого станет конкурс «Мисс Круиз», но скажите на милость — Елизавета поворачивается на табуретке в сторону людей, пьющих за столиками в баре, — где вы тут видели хоть одну мисс? За этим вопросом следует громовой хохот, которым разражается женщина-гренадер, а Гость, пытаясь ее утомонить, задает свой вопрос: а где корабль все-таки в конце концов причалит? в каком порту? Елизавета молча поднимается и, щелкнув каблуками, отдает Гостю честь. А потом, четко, по-солдатски, маршируя, удаляется. И лишь на самом выходе, странно трезво и насмешливо кидает: ни в каком, естественно! что за глупые вопросы!

Гость в растерянности все-таки заказывает шампанское, но выпить его не успевает, потому что с потолка на него вдруг обрушивается бешеный канкан, и все вокруг начинает дергаться и приплясывать в бешеном ритме, так что бармен еле успевает убрать с края стойки фужеры, оказывающиеся под угрозой. Со стороны коридора раздается дикий визг реактивного самолета, идущего на взлет, и в бар змейкой врывается обаятельная, напомаженная толпа, в которой не разберешь, кто мужчина, а кто женщина. И все смешивается в орущей музыке, карнавалы гирляндах, женских грудях, болтающихся как бы сами по себе, взмыленных голых спинах, разукрашенных цветной татуировкой.

Кто-то с разбега обхватывает Гостя за горло, и его, задыхающегося, увлекает за собой длиннющий карнавальный серпантин из живых людей, который галопом несет через все палубы, коридоры и отсеки корабля, и эта веселая толпа, встречая новых людей, подхватывает их, и длинная изгибающаяся линия пляшущих канкан разрастается все больше и больше, как разгулявшийся бычий цепень. Пол под ногами рвущихся пассажиров размятается — месим тесто! месим тесто! — свою революцию в организме Гостя производят спиртные пары, которыми он надышался от Елизаветы (вот что значит пить одно шампанское под предлогом того, что не пьешь вообще), и Гость уже с трудом отрывает башмаки от липкого и вязкого, словно болото, пола. Ноги заплетаются, и может быть, благодаря именно этому, где-то на крутом повороте, у запасного выхода на внешнюю палубу, центробежная сила вырывает Гостя из крепких объятий толпы, и его ослабевшее тело катапультируется на свежий воздух.

Нет, все-таки Гость сам по себе натура лирическая, а потому тривиальная и психически неуравновешенная. Любой другой, будучи на его месте, спяну оказался бы где-нибудь в туалете возле унитаза или в чужой постели, а его, слабенького, все на воздух тянется под звездное небо. Высочка несчастный. Во всех отношениях высочка. Высочка — это тот, кто выскакивает из внутренностей теплого, уютного, светлого корабля в необъезженное ночное пространство океана, где еще оглушительнее и страшнее, чем канкан, грохочут волны, и мрак, и жуть, и во тьме различимо лишь до мурашек по коже неподвижное и одинаковое

для всех пресмыкающихся и глубоководных звездное небо, размеры которого, по недогадливости некоего ответственного работника, чуть превосходят размеры самой большой палубы корабля. А это чревато, между прочим, бо-ольшими неприятностями для организаторов круиза в случае, если кто-то из пассажиров вздумает пожаловаться на отсутствие уюта или — упаси Бог! — на чувство неуверенности в себе при взгляде на ночное небо. Это чувство — ни-ни! — программой не предусмотрено и в стоимость билета не входит.

Впрочем, неуместна сама мысль о том, что у кого-то на этом корабле есть время смотреть куда-то вверх, а тем более, задумываться о чем-нибудь странном. Близится финал блестящего круиза, а еще нужно так много успеть: выпить и исторгнуть из организма несколько мегалитров перепереваренного спиртного, проиграться в пух и прах в казино, а потом, надув ближнего своего, вернуть свое кругленькое, тепленькое богатство, танцеваться до сотрясения мозгов, наразвратничаться в каютах, в бассейнах, в саунах, а может быть, и просто в укромном уголке за горкой надувных матрасов. Особый шик, вошедший в моду на судне, — вступать в половой акт в оранжевом спасательном жилете, оснащенном трубочками для поддува воздуха, свистком, аварийной лампочкой и очень удобными ремнями, возбуждающе сильно стягивающими обнаженное тело, — и все эти системы вначале поочередно, а потом, по мере приближения оргазма, разом пускать в действие. Какой кайф! Все чрево корабля гудит, искрится, дымит, разбрызгивая капли пота, спермы и брызги шампанского, и все мешается с солеными брызгами океана, которые обдают разгоряченное — от канкана? от стыдливой растерянности? — лицо Гостя, но ему не так уж плохо в темноте и в одиночестве. Никто не замечает его конфуза, даже звезды здесь как бы ни при чем — глядят не мигая, хотя куда уж им, холодным и высокомерным, развеять мрак океана и осветить кусочек суши под ними с необычным названием — палуба «Променад».

Сейчас Гость твердо стоит на ногах. Только похож он на маятник наоборот. Из стороны в сторону раскачивается судно, а вместе с ним и вся земля. А все мускулы Гостя, все его сухожилия и наполненные трепетом перед океаном клетки организма подчиняются падающим с черного свода и уходящим глубоко к центру земли могучим столбам гравитации, между которыми, как между Геркулесовыми столбами, более или менее ловко лавирует суденышко, а люди, ведущие этот кораблик, по наивности считают, что можно, миновав все столбы, благополучно выплыть, не будучи при этом раздавленными гигантской силой земного притяжения. И Гость тикает между этими столбами, и главное для него — оттикать положенные минуты и часы и не свалиться при этом за борт. Или в бассейн. Да-да, неподлеку возникает бассейн: сделаешь пару шагов вперед и окажешься в глубоком резервуаре, до краев наполненном темной соленой водой.

При свете отдаленной тусклой лампочки можно разглядеть, что в бассейне происходит нечто невообразимо любопытное и притягательное. Вода, как тело раздраженного, ворчливого животного — скорее сухопутного медведя, чем кита или акулы, — шумно ворочается, слепляется в сгустки, идет водоворотами, распадается в клочья и то и дело взбрызгивает, выбивается неровной дугой и переливается через край, растекаясь сизыми лужами вдоль бортиков. А лужицы эти тоже кипят и нервно пузыряются, прежде чем бессильно стечь

в черное логово, несколько мгновений до того выплывшее их.

Гость наклоняется над беспокойной водой, чтобы остудить разгоряченные руки, но тут вода в бассейне неестественно вспухает — больше, чем по-ложено при такой корабельной качке, и из глубины всплывает... подводная лодка. Гость еле успевает отскочить в тень, под навес, за гору наставленных один на другой шезлонгов и оттуда испуганно наблюдает, как подводная лодка медленно приобретает очертания человеческого тела. Черт побери, с утопленником придется иметь дело в первый раз. Видно, кто-то крепко перепил, прежде чем утопиться в бассейне. А еще Крузиз Спасения называется! Но и мертвое тело через несколько мгновений обманывает Гостя, оказываясь на поверку живым: оно начинает вдруг довольно умело и трезво бить по воде руками и ногами, энергично подплывая к лесенке. На край бассейна выпрыгивает упругая мальчишеская фигура, которая начинает расслабленно прыгать и по-птичьи взмахивать руками, пытаясь стряхнуть с себя остатки брызг. Хотя в этом нет необходимости: ураганный ветер своим прохладным дыханием в несколько мгновений промокает тонкую фигуру.

И тут мальчик стаскивает купальную шапочку и превращается в существо с длинными светящимися волосами — даже на палубе все предметы становятся более различимыми. «Инопланетянка!» — невольно шепчут губы Гостя. «Аристократка!» — спорит слегка одурманенное канканом сознание. «Интеллигент-ка!» — подсказывает кто-то третий словно из-под локтя, да так явно, что Гость едва не оборачивается и не смотрит за спину.

Скрытый тьмой, он наблюдает волшебное зрелище: неземной красоты девушка, рожденная мраком ночи и черным холодом бассейна, живая статуя из миллионов седых брызг океана, облачается в светящийся халат, а потом плывет, почти летит по-над палубой вопреки дикому встречному ветру и ливню соленых капель, извергаемых океаном и заплетающихся в ее волосы.

У Гостя падает сердце. Да что же это такое? Почему все самые прекрасные вещи на свете сделаны из воды и огня, из самых губительных и обманчивых веществ на свете? И они, вода и огонь, то и дело по очереди пытаются сокрушенную душу, а она, душа эта, бесплотный призрак, который можно легко растоптать сорок четвертым размером «Саламандры», при этом еще возмущается и качает права. Сиди в будке! Цыц! Тривиально-трезвый рассудок Гостя приказывает ему вести себя строго по-мужски, не влюбляться и ни в коем случае не удивляться. Или, по крайней мере, не выдавать свое удивление. Кому как не Гостю, наученному горьким опытом, знать, что неинтересный, бледно-плоский человек, влюбляясь и удивляясь, становится легкой добычей для людей активных, злонамеренно удивляющих и влюбляющих в себя.

Зеленая юность Гостя, когда он еще не разучился удивляться, преподнесла ему ой как много не слишком приятных сюрпризов. Сидит, к примеру, в гостях у одной почтенной семьи и слушает, как его юная знакомая, пригласившая его на ужин с родителями, говорит: а между прочим, мамуля с папулей, я жду ребенка, — скромно потупилась и даже не покраснела. Вот она, неимоверная сила перевоплощения! Хотя Гость точно помнит, что у них ничего с этой юной особой не было, ни-ни! Ну, поцеловались несколько раз... «Я жду ребенка от него!» — уже по-настоящему рдеет, залихват

подружка, указывая пальцем на Гостя, как на Вия, но глаз так и не поднимает. Все запрыгали, помнится, кричали как бы от радости. От чего же было еще кричать, если девочке было глубоко под сорок? А Гость от изумления открыл рот, из которого недоуменно свесилась макаронина. Здесь нужно посочувствовать мучному изделию, которое, будучи не в силах понять, то ли его съест, хотя бы так, побаловаться, так и провисело со срамным видом довольно долго. Да-да, макаронина была точно, о ней забыть никак нельзя, потому что, когда Гостю шлепнули штамп в паспорте, он тогда лишь и сумел проглотить эту макаронину и произнести: «Так ведь...»

И потому-то не следует удивляться, когда перед твоими глазами раскачиваются створки дверей, засовавших инопланетянку в утробу корабля, не лучше ли спокойно порассуждать, действительно ли она оказалась внутри или ее все-таки сдул ветер в океан, и она ночной бабочкой осела на гребне какой-нибудь очень строптивой волны? Но совершенно спокойно не получается: приходится со стоном переворачиваться в своей постели, вспоминая волшебное видение — еще не застывшая мужская кровь мечется между возбужденным мозгом и другими ответственными органами, — и в который раз восхищаться величием и долготерпением простыней, между которыми Гость засунул свое горячее живое тело и которые он ожесточенно грызет уже не час, не два подряд, не в силах справиться с бессонницей.

Простыни — самые удивительные и сердобольные предметы человеческого обихода. Если бы он, Гость — человек неинтеллигентный, середнячок, сероватый мышонок, обладал бы даром воспеть (в поэтическом смысле) эти простыни, в мимолетной близине которых столько боли и унижения! Стоит ли говорить о тех таинственных даях, в которые во все времена простыни уносили тела возлюбленных, доверивших локутам белой материи свою кровавую тайну? Не лучше ли вспомнить о долготерпении простыней, окутывающих своей чистотой и свежестью тело страдальца, приговоренного к пытке потемками и одиночеством, а утом, вместо благодарности, серые и будто запачканные, они испытывают на себе лишь презрительный взгляд полуночного пришельца. Странная любовь двух случайно встретившихся существ! Случайный контакт! Как банально! И мне это совсем не нужно было, если бы не по пьяни. А так — тыфу, да я совсем не такой, как обо мне могут подумать случайные тела, с которыми скоротал ночь и которые, тела эти, на возлюбленных не тянут. А вон там, чуть подальше — молчаливо смирившийся, на кого плюют и кому оставаться с простынями, и стирать, и разглаживать эти замученные за ночь тряпочки. Ах, если бы Гость обладал каплей поэтического дарования!

И из-под простыни, как из палатки, вдруг высывается взъерошенная голова воробья, обалдевшего от качки и от бессонницы (интересно, сколько времени прошло: час, день, неделя? — часы остановились), и эта голова, по мере того, как она осознает всю серость и безнадежность утра, начинает утрачивать свои птичьи признаки, и волосы разглаживаются, и рассасываются старческие морщины, и в этом лице уже почти можно узнать лицо Гостя, если бы не что-то необратимо птичье, что, впрочем, не может никоим образом повлиять на ширину его плеч и белозубость — главные его достоинства при отсутствии каких-либо внешних признаков интеллигентности. Хотя белозубость, по правде

говоря, понятие условное, и подтвердить ее наличие мог бы только палач-дантист, привязав человека, того же Гостя, к примеру, к своему креслу и приоткрыв ему рот при помощи изящных никелированных орудий пыток, чтобы убедиться, что у обвиняемого еще есть зубы, и даже еще очень белые. Ах, какая это сладость, убедиться в беззубости близкого твоего и ощутить, что она, беззубость эта, находится в некотором смысле в твоей власти!

Но кто бы смог сейчас заставить Гостя улыбнуться, от души, открыто, как улыбаются люди влюбленные или ожидающие любви? И то правда, беззубость и улыбка — вещи несколько различные и друг от друга не зависящие. Беззубость (более ходовой термин — «оскал») встречается везде и часто. Улыбка случается лишь в моменты счастья или при очень искусном обмане, в котором улыбающийся не виноват и к которому поневоле люди злонамеренные принуждают людей простых, неискушенных, неинтеллигентных, заставляя их верить в то, что счастье есть это, а не то. А счастье, извините, вещь опасная и до некоторой степени взрывчатая, если оно начинает искриться в атмосфере, насыщенной вредоносными парами, которые исходят от людей, любящих слегка выпить и слегка повеселиться, чтобы позабыть о том, что где-то есть земля и эту землю с каждым днем наводняют тележки с прераснообразнейшими товарами, а в глубоких подземельях мутируют и множатся крысы-гиганты, вот-вот готовые выйти на поверхность и — ха-ха! — взять власть в свои руки.

Так что счастье вообще в наше время противопоставлено кому бы то ни было, поскольку, как гласит открытый на заре эры свободы закон — некоторые, впрочем, утверждают, что закон был открыт в ужасающие времена эры несвободы и пролежал долгие годы, как и другие драгоценные продукты ума человеческого, на пыльной полке, — так вот, как гласит закон равномерности распределения счастья, счастье одних людей неизбежно влечет за собой несчастья других. И главное, происходит это в геометрической прогрессии: чем лучше одному, тем во много раз ужаснее другому. Недаром на заре эры свободы, когда одним становилось очень хорошо, одно-временно участились случаи катастроф: тонут ко-рабли, падают самолеты, идут под откос поезда. Этот закон, как выяснилось позже (в связи с чем его вновь положили на полку, а первооткрывателя усадили в какую-то секретную лабораторию, в которой он и был погребен под грузом рухнувшего книжного стеллажа), предусматривает и экстремальные частные выводы: когда количество счастья одного (или нескольких немногих людей) достигает неимоверно высокой отметки, все окружающие моментально начинают гибнуть от несчастных случаев, окончательно разбиваясь на всех самолетах и поездах и оказываясь под водой в результате затопления всех плавающих средств передвижения. Кто и что остается в результате такой катастрофы, можно гадать лишь теоретикам, да и то не вслух, а про себя, чтобы не омрачать счастья тем, кто по праву его заслужил. Так что не дай Бог кому-нибудь на борту этого судна расслабиться, разнужиться и поддаться такому немужскому, слюнтяйскому чувству, как счастье. Жди беды, жди беды, жди беды. Где-то там, на берегу. А ведь всем так хочется вернуться в огромный, теплый, хорошо устроенный в результате последних перестановок мебели дом.

Корабль качает, и где-то глубоко внизу, может быть, в трюме, перекачиваются с места на место большие,

тяжелые грузы. Контейнеры с детьми? Из иллюминатора на Гостя косится угрюмый круг серого небосвода, и непонятно, то ли рассвет, то ли дело к вечеру. Гость тащится по длинному коридору: все вокруг вымерло. А может быть, все давно уже спаслись? Но нет: то тут, то там из укромных норок выглядывают мордочки вездесущих горничных, и на этих хитрых мордочках будто написано: а мы кое-что знаем про тебя — то, что у тебя нет настоящего билета и ты здесь по случаю, но даром тебе это, как ты сам догадываешься, не пройдет.

А в концертном зале в самом разгаре конкурс «Мисс Крузиз», где, оказывается, собралась вся публика, разодетая во фраки и вечерние туалеты. На обозрение, как водится, выставлены участники конкурса, разодетые и пронумерованные. К некоторому удивлению Гостя, на сцене позируют не только женщины, но и мужчины. Несомненно, этот конкурс «Мисс Крузиз» выгодно отличается от других подобных соревнований «мисс чего-либо там» участием в нем не только представителей прекрасной половины человечества, но и представителей просто по-ловины — свежо и оригинально.

В то время, как Гость не без труда находит себе место в зале, к роялю подходит тоненький, одетый в обтягивающие брюки, человечек, представляющий-ся Каринной. «Я Каринна, — говорит он. — У меня сложные взаимоотношения с моим телом. Я его очень не люблю, свое тело. Оно худое от рождения, и как я его ни бью, полнеть оно не желает. К тому же, груди очень маленькие...» — добавляет Каринна менее уверенно, ища глазами поддержки у окружающих. И все в зале одним криком вскрикивают: «Каринна, мы тебя любим! Каринна, мы любим тебя!» И Каринна, довольная поддержкой, даже прослезившись, предлагает сыграть сонату собственного сочинения, и на это предложение интеллигентная публика взволнованно затихает.

Каринна, не успев даже сесть на стул, спешно ударяет руками по клавиатуре, но, вероятно, не совсем по тем клавишам, что надо, потому что после первого громового удара наступает неуместная длительная пауза. После нескольких секунд гробовой тишины Каринна, очевидно, несколько подумав, поправляется и энергично дает первый аккорд, который тянется очень долго, потому что дистрофичная кариннина нога что есть сил жмет на педаль. Гость за время исполнения первого аккорда пытается зевнуть и украдкой оглянуться вокруг. Повсюду старые знакомые: Жанна с Лилей, Ива Валентинова под траурной вуалью, режиссер Крузенштейн — якобы в жюри. Через несколько рядов направо — Елизавета, почему-то одетая в тельняшку. Месакин — пьяный в дупель.

Вступительный аккорд все длится, и Гость вдруг вспоминает, что не прочь был бы сходить в туалет. Но тут у Каринны, очевидно, заканчивается прелюдия, и она ушаченно начинает бить руками по клавиатуре, и резонанс, образовавшийся в струнах, передается по воздуху на мочевой пузырь Гостя. Гость начинает молить, чтобы сонате поскорее пришел конец. Конеч, слава Богу, не заставляет себя ждать, и кариннина соната, длившаяся-то всего от силы минут пять, заканчивается свирепым ударом кулака по клавишам под одобрительные аплодисменты публики.

Когда на авансцену выходит следующий претендент на звание «Мисс Крузиз», резь в мочевом пузыре чуть утихает, в то время как публика узнает первые сведения о претенденте — то, что он мужчина, зовут Анатолий, а профессии он самой что ни на есть интеллигент-

тнейшей: актер. «Меня зовут Анатолий, — говорит Анатолий довольно бодро. — Я импотент, — и в зале почему-то раздаётся одобрителный свист и ропот. — Я хронический импотент и горжусь тем, что ни разу не вступил в половую связь. Хотя иногда очень и хотелось, — добавляет он, нагловато смотря на коленки впереди сидящих женщин. — А покажу я вам фокусы...»

Раздаются аплодисменты, в то время как Анатолий, чуть лучше любителя, но несколько хуже профессионала, начинает жонглировать разноцветными шариками, стерженьками и пирамидками. Далее несколько кадров выпадают из поля зрения Гостя, потому что впереди официант не может разобраться, кто из публики заказывал бренди, а кто — джин. Когда сцену становится видно опять, Анатолий уже сидит на корточках, приспустив штаны, но так профессионально, что ничего неприличного вроде и не заметно. Шарик со стерженьками один за другим по мере приседаний Анатолия исчезают с пола. Эти трюки и вызывая восторг и неистовство публики.

Знаем мы эти фокусы, думает Гость: здесь задействованы либо какие-нибудь иллюзии, либо муляжи.

В пору глухой зеленой юности занесла Гостя судьба в один привокальный столичный театрик: посмотреть некую драматургическую постановку. Не то что ему вообще делать было нечего, но билет, оставшийся от нагрузки, ему дали интеллигентные знакомые, у которых Гость одно время периодически мыл посуду, а заодно учился интеллигентности у приходивших к хозяевам гостей. Сама же интеллигентная пара в тот вечер пошла в далеко не привокальный, а очень даже престижный театр, в который билеты для интеллигентной публики и для иностранцев, в совершенстве владеющих различными иностранными языками, распределялись на несколько десятилетий вперед.

Привокальный театрик был скромных размеров, и из самих его стен, казалось, вовсю выширала скромность. Начиная с вешалки зритель понимал, что администрация отчаянно борется с таким не очень удачным расположением храма искусств по отношению к транспортным узлам. Потому что уже в гардеробе висело большое объявление красными буквами: «Со свиньями и картошкой не входить!»

Но публике, ожидавшей ночных поездов, деваться с вещами было некуда, и она давала вместе с запрещенными свиньями хорошую заполняемость. Гость тогда чуть припоздал на представление: на сцене безжалостно отрубали и никак не могли отрубить голову особе королевской крови, а он, Гость, спотыкаясь о сетки с луком, в темноте не мог найти своего места. Вскоре Гость все же нашел свое место. А здесь как раз процесс отсеживания головы пошел как-то энергичнее, и кто-то из замороженных правдоподобием зрителей (сила искусства!) на мгновение перестал грызть семечки. Но в самый трагический момент, когда никак не хотевшая отделяться от королевского тела голова все же отделилась и покатила по авансцене, чья-то свинья из первых рядов неожиданно выглянула из мешка и, узрев, что на нее катится нечто, напоминающее немного подпорченный кочан капусты, дала сольный концерт на всю округу. От испуга один из стражников, стоявших у эшафота, резко пододвинулся назад и очень натурально, со скрипом, как на шампур, насадился на копьё стражника, стоявшего сзади. Зрители не стали разбираться, что в этом инциденте оказалось муляжным: зад первого стражника или копьё второго.

Главное, получилось близко к правде жизни, туго и очень глубоко. Транзитные пассажиры сразу поняли, что им здесь не пыль в глаза пускают, а искусство дают настоящее, тем более, что нанизанный стражник орал гораздо громче и натуральнее свиньи. На сцену в знак благодарности даже полетели нереализованные продукты колхозного и совхозного производства, как-то: редька и хрен.

Велика сила подлинного искусства, думает Гость, наблюдая, как неистовствует публика в концертном зале корабля, приветствуя уникальнейшую способность актера Анатолия, импотента, глотать различные предметы одним оригинальным местом, до чего никто кроме него в отечественной истории искусства не додумывался. Фокус так фокус!

Глотателя стерженьков и шариков сменяет средних, если не сказать более, лет женщина с вяленой, как у таранки, шеей, на которой неряшливо болтается бриллиантовое ожерелье. «Я Магдалина, — говорит она. — Я очень добрая женщина, но мне нравится душить людей. — Руки ее, унизанные перстнями, непроизвольно напрягаются вокруг воображаемой шеи, но она пересиливает себя и продолжает: — Я презираю себя за этот недостаток. Борюсь с собой. Хожу даже на лечебный массаж. Тщетно! Раз в месяц мне просто необходимо задушить хотя бы одного молодого человека, и обязательно чтоб с бархатной белоснежной шеей был...»

«Финиш! — думает Гость про себя. — Вяпался так вяпался. Шея у меня, конечно, не бархат. Но я ведь единственный неинтеллигентный человек на корабле, которым можно пожертвовать ради страсти Магдалины, и что, если именно на мне пожелает она продемонстрировать это тонкое, деликатное искусство?» Гостя окатывает жаром, как в парилке. Невыносимо хочется жить. А еще — в туалет. Гость потихоньку начинает пробираться к двери, а Магдалина, между тем, подбадривает публику: «Магдалина, мы любим тебя!» У Гостя опять отпускает в мочевом пузыре,



и он, испуганный, в бессилии опускается где-то в темноте на свободное место, которое оказывается занятым. Приходится переждать, чтобы поднабраться сил к следующему рывку, тем более, что колени, на которые он присел, не имеют ничего против того, чтобы ощутить поджарую, в виде окорока, заднюю часть Гостя. Магдалина, между тем, поет песенку о маленьком, голеньком мальчике, которому бабушка в подарок купила симпатичный шнурочек. Шнурочек этот образно и в подтексте фигурирует в каждой строчке песенки, и слушатели никак не могут врубиться, к чему все же песенка клонит и в чем смысл симпатичного рождественского подарка для малыша. Трагическая финальная сцена песенки проясняет всю кровожадность бабушки и роковое предназначение этого красивого, пестрого изделия текстильной промышленности (артикул такой-то).

После вполне земной и трогательной Магдалины на сцену выходит странное существо — стриженная женщина о двух головах (причем обе головы стрижены по последней моде и вымыты «Видал Сассуном»), — облаченная в безукоризненный фрак — одевание, ставшее в последнее время, в эру свободы, нарядом самой интеллигентной интеллигенции, белозубо сверкающей на различных светских раутах и фестивалях мирового калибра. Одна из голов представляется: «Меня зовут Наина, а мою близняшку — Фаина». — «Да, Фаина», — как эхо вторит другая модно стриженная голова. «У нас большой опыт преподавания классической музыки сиамским близнецам и членам их семей, — говорят сиамские близнецы Фаина и Наина одновременно. — Как-то мы подумали, почему бы нам самим не создать полноценную семью и не родить друг от друга ребенка. Увы! У нас пока ничего не получается, хотя многие видные специалисты-экстрасенсы уверяют нас, что не все еще потеряно и дело лишь в небольшом недостатке интеллигентности, потому мы и решились поехать в этот Крузиз Спасения. После крузиза, для того чтобы разобраться с собственными чувствами, мы на некоторое время разводимся. А в преддверии развода мы решили спеть вам нашу любимую песню под названием...»

Тут происходит явный сбой. Оркестр, члены которого здорово перебрали, во всю мощь дает бравурную увертюру, и название песни тонет в громком реве саксофонов и грохоте барабанов. Фаина с Наиной долго не могут догнать мелодию, но, наконец, это им удается, и публика слышит их высокие, кастрированные голоса, которые поют удивительно лирические, мягкие куплеты, речь в которых идет о какой-то неведомой, якобы уже не существующей стране с бескрайними полями, сказочными избушками, деревнями и трудолюбивыми «людьми» (так дословно и звучит в песне). Сиамские близнецы поют душещипательно, поглядывая затуманенными взорами то друг на друга, то по сторонам, что делает их похожими на некий государственный двуглавый герб. Но смысл этой потрясающе красивой по напевности и глубине лирического текста песни они, близнецы (или, скорее, авторы песни), сводят к тому, что они ни одной такой страны не знают, где так много бродит дураков. На свободе.

Но сколько веревочке ни виться, наступает самый торжественный момент, когда на сцену взлетает лохотень Сан Саныч, массовик-затейник, и, сделав многозначительную паузу, объявляет поразительную вещь. Согласно условиям конкурса, победителем «Мисс Крузиз» мог стать любой из присутствовавших в зале, а не

только те, кто выступал на сцене. Главным критерием для жюри было удивление. Поэтому победителем, потихоньку повышает голос Сан Саныч, должен стать человек с самыми удивительными качествами души — самый чистый и искренний человек на судне, который, пожертвовав собой, и должен спасти корабль.

«А самым чистым, самым скромным, самым самоустраившимся и самым пассивным в плане выпивки, разврата и других естественных занятий отдыхающего единогласно признан пассажир по имени... — в наступившей гробовой тишине слышен странный звук, будто по всем палубам корабля, по всем его помещениям, лестницам рассыпаются огромные массы гороха («Баба сеяла горох!» — вспоминает Гость присказку из любимого фильма юности) или будто по всему судну разбегается огромная масса мелких грызунов, — пассажир по имени... Гость! — И уже сквозь крики восторга и рев радости слышны последние слова Сан Саныча: — Тем более, что главным его достоинством является то, что наш дорогой Гость пьет одно лишь шампанское под предлогом того, что не пьет вообще!»

Публика безумствует, люди, знакомые и не очень, кидаются обнимать ничего не соображающего Гостя. Кто-то нахлобучивает ему на голову корону «Мисс Крузиз», кто-то сует в руки цветы, от которых идет удивительный аромат, напор возрастает: Гостя подхватывают под руки, и восторженная толпа уже несет его на руках на открытую палубу «Променад», на которой расставлены праздничные столы, а в цент-ре — самый большой праздничный стол с белой скатертью, где в невообразимом изобилии предлагаются закуски и напитки, а также несколько огромных фарфоровых супниц, ашкетитно дымящихся золотисто-жирным бульоном, в котором плавают какие-то предметы, напоминающие мясо. По мере того как публика вываливает на палубу, обслуживающий персонал выдает каждому по новенькому, оранжевому спасательному жилету: «Сувенир на память от компании «Пушков и братья» и нашего дорогого хозяина Халида!» — кричит кто-то в микрофон.

«Боже ты мой! — радостно думает Гость, сидя на троне в центре самого большого закуского стола. — Попасть на такой блистательный корабль, в такое интеллигентное общество и стать центром происходящих здесь гуманитарных событий. Стать Звездой! Королем! Мисс Крузиз! Спасителем! И как же они меня все все-таки прочувствовали, как же они меня все любят, и как же они меня не презирают, простого, неинтеллигентного человека». — И у него на глаза наворачиваются мутные слезы умиления, которые каплют в близстоящую супницу с бульоном.

«Приветствовать спасающихся, — торжественно орет Сан Саныч, — пришли наши дети, наша молодая, подающая надежды смена». Раздаются не очень праздничные, где-то даже зловещие звуки горнов, и на палубу «Променад» стройными рядами выходят как бы пионеры. Впрочем, пионерами их можно назвать очень условно, потому что от тех пионеров, уничтоженных на заре эры свободы, остались лишь стройные ряды и четкая маршировка: на плече у каждого подростка автомат Калашникова, гранатомет и нежные многоцветные галстуки (артикул такой-то). Дети начинают сильно топтать и кричать неразборчивые речевки, которые трудно понять, но Гость с удивлением видит, как на лицах спасающихся появляется умиление. «Раз, два, три, четыре! Мы самые страшные крысята в мире!» — вопят скрипучими голосами дети, мордочки которых как-то

не по-детски заросли серым пушком, а носики то ли от пыли, то ли от грязи — черненькие. «Неужели это чудовищное влияние трюмов, в которых держали и дрессировали во время утренников бедных детишек?» — думает Гость, вспоминая о мутациях, происходивших в свое время с животными в глубочайших подземельях метрополитена. Недостаток солнца? Свежего воздуха?

Мальши несколько раз со стихами и песнями проходят вдоль и поперек палубы «Променад», и пассажиры, похоже, начинают к ним привыкать. Кое-кто из самых заядлых любителей животных даже нагибается, чтобы погладить пионера по шерстке и сунуть ему украдкой конфетку, что, впрочем, не так легко сделать, поскольку пионеры огрызаются и даже царапаются. Что им по вкусу, становится ясно чуть позже, когда ведущий отряд пионеров окружает центральный стол и каждому в чашку наливают по огромной порции бульона, который, обжигаясь, они жадно пожирают, так что брызги летят во все стороны.

«Несправедливо поступят те, — у микрофона вечные активистки-романистки Жанна и Лиля, — кто не поблагодарит нашего незабываемого, выдающегося чародея Сан Саныча, который так хорошо и кропотливо поработал с подрастающим поколением во время детских утренников. Да так, что мы ничего и не заметили. Как много будущих спасителей подарили он нам. Именно эти милые ребятки, — то Жанна, то Лиля чешут у кого-то из ребятшек за лохматым ушком, — повзрослев, возглавят новые круизы спасения, на которых будут спасаться самые нужные, самые умные, самые интеллигентные люди земли!»

«Спасательные шлюпки и плоты — на воду!» — раздается чей-то знакомый громовой голос. Гость, все еще сидящий в центре стола, на троне, поворачивает голову и видит на капитанском мостике Елизавету, облаченную в потрясающую капитанскую форму, прекрасно облегающую ее крупную мужскую фигуру. «К спасенью приступите! — командует капитан с почему-то очень уж женским именем Елизавета. — Не толпиться и соблюдать порядок: светлое будущее (эта острота так даром Елизавете не пройдет!) — вперед, за ним — дамы, потом — извините за выражение — господа!»

Вся толпа спасающихся в очень приподнятом настроении, кто с бокалами вина в руках, кто — с недоуменными бутербродами, кто — с бульоном, начиная спускаться на плоты и в шлюпки. Кое-кто из дам, изрядно поддавших и уже привязавшихся к некоторым пионерам, у которых над верхней губой пробиваются довольно серьезные мужественные усики, что свидетельствует об уровне их полового созревания, несут их, как котят, ласково придерживая под мышкой и что-то нежно шепча им на ухо. Проходя мимо стола, на котором сидит Гость, дамы и господа вместе с крысятами (последние идут и ползут молча) как-то тихо, с чувством искренней вины благодарят его, приговаривая: «Спаситель Вы наш! И разве мог бы кто-нибудь подумать, глядя на этого серого, блеклого, совершенно неинтеллигентной внешности, человека...» А Гость, широко улыбаясь каждому, разводит руками: «Пожалуйста, — говорит, — но я ничего не сделал для Вас особенного...» Спасающиеся пассажиры как-то странно переглядываются и тоже разводят руками, глубоко вздыхая.

Пустеет палуба, и последней (последним?) к столу подходит Елизавета, крупная прокатчица, занимающаяся прокатом океанских лайнеров, и, наливая стакан

водки, чокается с туфлей сидящего на возвышении Гостя, и говорит: «Спасибо, друг, за безупречное исполнение своей роли. Ты оказался самым Великим Актером на свете, которого я знала». Впрочем, поскольку язык у Елизаветы уже заплетается, то Гость не уверен, что последний глагол Елизавета употребила в женском роде. «Ишь ты! Долго ты нам всем голову морочил! Ну, пока, капитан покидает судно последним!»

Гость со своей удобной высокой точки, самой высокой на палубе «Променад», наблюдает, как по совершенно спокойной — как по заказу! — глади океана, как жуки и пауки, расползаются плоты и шлюпки, оставляющие за собой белые, слюнявые, долго не рассасывающиеся пенные борозды. Все дальше, все тише музыка, веселье, гром открываемого шампанского, речевки пионеров-крысят, завывая Фаин-Наин-Магдалин. Совсем издалека, с плотика, на котором полностью, со всем музыкальным оборудованием, спасается корабельный оркестрик, раздаются фразы ставшей очень популярной на корабле за последние дни песенки «Бывал я в Массачусетсе проездом...» Какой-то долговязый господин в одной из шлюпок искусно исполняет чечетку, держа в обеих руках за шиворот изворачивающихся и пищущих пионеров.

На корабле наступает мертвая тишина, если бы не легкий морской бриз, неуверенно, по-юношески заигрывающий с незакрепленными корабельными снастями. Вот он и один, облегченно вздыхает Гость. «И как хорошо, что все получилось именно так. Я приобщился к интеллигентному обществу, и меня приняли за своего. Скоро Праздник Спасения закончится, все вернутся, и я в каждой компании, в каждой каюте окажусь своим, родным человеком, и все будут из кожи лезть вон, искать со мной дружеских связей. И вообще, популярность и любовь окружающих — это грандиозно!» И он вдруг с такой ненавистью думает о своем бессмысленном библиотечном одиночестве, о серой пустынной улице, ведущей к дому, о холодной квартире с голыми стенами, куда ему пришлось бы вернуться, если бы не этот Круиз Спасения. И если бы даже все эти милые интеллигентные пассажиры спаслись бы понарошку, играючи, для него, для Гостя, спасение все равно стало бы реальным: не бывать никогда больше долгим одиноким вечером, тоскливым бессонным ночам. Он обрел себя! Он переродился! Он перевоплотился! Смерть старой оболочке Гостя! Смерть!

И он со слезами радости наклоняется над столом, на котором сидит, чтобы наконец налить себе желанного шампанского... но вдруг понимает, что не может сдвинуться с места: его незаметно привязали к его королевскому трону.

«Остроумно, остроумно! — смеется Гость. — Ну хоть шампанского-то могли дать выпить на прощание...»

«Конечно, конечно, — раздается за спиной мелодичный голос. — Шампанского сколько угодно, — перед ним появляется удивительно юная божественной красоты девушка, в которой Гость постепенно узнает полуночную пловчиху из бассейна. — Шампанского — море разлитое», — окидывает она рукой океан. А потом пристально взглядывает на него совсем близко, будто взлетев на уровень его лица, в самые глаза — в этот момент у Гостя кружится голова, и ему кажется, что вместо лица у девушки — темная дыра, глубокий колодец, засасывающий и солнечный свет, и океан, и корабль со всем его ценным оборудованием, и спасательные шлюпки с Месакиными, Сан Санычами, Магдалинами и компанией. Но видение пропадает.

ет, а прекрасная незнакомка, задумчиво покусывая тонкий мизинец, говорит как бы про себя: «Так вот вы, оказывается, какие, Гости...»

И тут из-за спины Гостя вырастают два румянощеких, усатых молодца — два рыцаря, словно сошедших с картины эпохи Возрождения: «Охрана госпожи Халид! Чем обязаны?» Девушка виновато смотрит на Гостя, вздыхает и машет на прощание рукой: беда! беда! у нее куча обязанностей, больших и малых, и от них никуда не спрятаться, надо спешить, надо...

Гость, пытаясь освободиться от сжимающих его все сильнее пут, хрипит: «А почему у тебя имя-то мужское — Халид? Женского не нашлось?» Но троица удаляется, чтобы, спустившись по лесенке, сесть в спасательный катер. Бритые затылки парней светятся бескорыстием и благородством неземного происхождения, и невозможно думать, что они, эти ребята, и госпожа Халид, владелица компании «Пушков и братья», связаны чем-то большим, помимо сестринско-братских отношений. «А потому что я,— кричит Халид под заводимый мотор катера, — и женщина, и мужчина. Я — везде, я — во всех...» — совсем что-то непонятное слышно снизу, где ревет мотор. Катер отчаливает, резко набирает скорость, почти летит над водой, а три неподвижных силуэта на нем, почти непохожих на человеческие, долго еще не исчезают в бескрайней глади океана.

И за несколько мгновений до того, как корабль вдруг дает сильный крен и все незакрепленные предметы — хрустальная посуда в ресторанах и барах, шарикот рулетки в казино, уборочные тележки горничных, крышки от кастрюль, многокилограммовые детали парового цеха — вся эта груда вещей со страшным грохотом валится с носовой части к корме, Гость, наконец, понимает, что ему удалось нос к носу столкнуться с Великим Актером, полетевшим сеять свое такое обаятельное и симпатичное зло по всей земле. Он уже ни о чем не думает помимо того, что умирает во имя Большого Искусства. Но перед его мысленным взором все же, независимо от него самого, пролетает... нет, не вся жизнь — жизнь его слишком мала и небогата событиями, чтобы пролетать перед мысленным взором так, как это бывает у сверхинтеллектуальных, светских людей: так, все серость и грязь — эпизод из его далекой зеленой юности, когда он, опаздывая на скорый поезд «Плюйск-Москва», вскочил на ходу на подножку, но проводница грубо столкнула его вниз, рявкнув: «Мест нет!»

И когда Гость понимает, что корабль легко и свободно идет ко дну и его уже никто не спасет, он дико выпучивает глаза и начинает громко кричать от ужаса и тоски, и картина, завершающая ваш эксперимент, по правде говоря, получится не очень интеллигентная и выверенная в эстетическом плане. И Гость будет кричать так долго и сильно, что грудь его, не выдержав напряжения, лопнет, как раздавленный автомобильный резиновый мячик.

А из груди — тут произойдет, увы, нечто, вашим экспериментом не предусмотренное, — из груди выпорхнет легкая стайка птиц неопознанного вида, наподобие жаворонков, и, быстро набрав высоту, по гигантской пологой дуге понесется над совершенно безлюдным на многие сотни километров океанским пространством, недоуменно размышляя своими птичьими мозгами: «А бульона-то поразили! Бульона-то...» — а потом, все быстрее и быстрее взмахивая крыльями, стая рванет к тому неведомому месту, куда медленно, в мертвой тишине проваливается тяжелое солнце.



ПО НАШЕЙ УЛИЦЕ С ГАРМОШКОЙ

В свое время я предупреждал глубокоуважаемых читателей о том, что у нас на Задворках будут происходить разные события, естественные для этого милого уголка. И я, как всегда, был прав. Чего только здесь не видели: происходили и поэтические самоутверждения и сенсации, состоялся конкурс на мой автопортрет, были и — не боюсь этого слова — по-хорошему значительные скандалы. Случилась даже одна дуэль. И должен сказать с законной гордостью, что мне, с моим недюжинным авторитетом, всегда удавалось — в отличие от всяких правоохранительных органов — предотвращать мордобитие и кровопролитие. Но все это — наши будни. А вот наступает праздник и на нашей улице, как сказал один из основоположников — не помню точно, кто. И надо его соответственно отметить. Как — лучше? И тут я вспомнил свое босоное и голопузое детство — в связи с тем, что в моем Подмоскovie молодежь всегда любила гулять с гармошкой и распевать под нее всякие озорные экспромты, которые научно называются частушками. А ведь и во время ВОВ народ, даже несмотря на временные трудности, отнюдь не изменял этому обычаю. И замечательный поэт, а по совместительству — частушковед — Николай Константинович Старшинов, кстати, один из ветеранов нашего Дома поэтов, собрал офигенную коллекцию образцов этого веселенького фольклорного жанра. В просьбе моей он не отказал и предоставил целый ряд таких, можно сказать, бесценных исторических свидетельств народной бодрости, озорства и задора. Итак, пусть и у нас на задворках прозвучит моя дорогая гармошечка или, если кому больше нравится, — тальяночка.

П. Нахабин

ОЙ, ВОЙНА, ВОЙНА, ВОЙНА!..

Стели, мать, постелюшку
Последнюю неделюшку.
А на той неделе, мать,
На казенной буду спать.

Милый мой, пойдем домой,
Пойдем, моя картиночка.
Тебя угонят на войну,
Я буду сиротиночка.

На войну уехал дряля
Из родительских ворот.
Как запел военну песенку,
Заплакал весь народ.

Ой, война, война, война,
Что же ты наделала?
Забрала мово миленка —
Голубенка белого!

Ой, война, ты цело море
Горя нам доставила:
Лучших мальчиков сгубила,
Выбой — нам оставила.

Ой, Германия, Германия,
Наделала чего:
Девяносто девять девок
Обнимают одного.

Милый мой, милый мой,
Возьми меня на фронт с собой.
Ты там будешь воевать,
Я — патроны подавать.

На войне, на войне,
На войне, на фронте,
Пули, мимо пролетайте, —
Милого не троньте!

Неужели пуля-дура
Ягодиночку убьет?
Пуля влево, пуля вправо,
Пуля, сделай перелет!

Танк танкетку полюбил,
В лес гулять ее волил.
От такого романа
Вся роща переломана!



Санитарки, санитарки —
Белые косыночки,
Осторожнее кладите
Дролю на носилочки!

Если б не было зимы,
Бураны не бурашили.
Если б не было войны,
Миленка бы не ранили!

Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

71120

АБОНЕМЕНТ на журнал (индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

Количество комплектов:

(наименование издания)

на 199 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на журнал 71120

(индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

(наименование издания)

Стоимость	подписки	руб.	коп.	Количество комплектов:
	пере-адресовки	— руб.	— коп.	

на 199 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

Ой, какой же нынче праздник, —
На границе — тишина.
Сорок пятого, девятого
Окончилась война!

Вот и кончилась война,
И осталась я одна:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.



Думал Гитлер наяву:
«В десять дней возьму Москву!»
А мы встали поперек:
«Ты Берлин бы поберег!»

От Москвы и до Берлина
Дороженька узкая.
Сколько, Гитлер, ни храбрись,
А победа — русская!

Рисунки Петра Яндань

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонемента должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонемента появляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Роспечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Роспечати».

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность»

Технический редактор Людмила ГУДКОВА
Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К сведению уважаемых авторов:
редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,
а также не вступает в переписку.

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей.

Авторы ответственны за точность цифр, дат и достоверность фактов.

Точка зрения автора публикуемого материала может не совпадать с редакционной.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах

обращаться в издательство «Пресса» по адресу:

125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Формат 84X108 1/16

Тираж 32 200 экз. Заказ № 261

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.

Телефон для справок: (095) 251-31-22.

Отдел рекламы: 251-05-06.

Телефакс: 251-74-60.

© «ЮНОСТЬ», 1995 г.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Дмитрий ХОЛЕНДРО

Сто страниц войны

Документальная повесть 10

Геннадий ГОЛОВИН

Жизнь иначе

Повесть. Окончание 34

Сергей ТОЛКАЧЕВ

Бульон на палубе «Променад»

Повесть 78

ДОМ ПОЭТОВ

Лев ОШАНИН 2

Григорий ЛЮШНИН 7

Генрих САПГИР 75

Задворки Дома поэтов 94

ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир ТОКАРЕВ

Человек из «Судьбы человека» ... 3

Юрий СЕЛИВАНОВ

Армия, которую предали... 29

Геннадий СМОЛИН

Народ ягуара — первая футбольная
цивилизация 64

Ирина МЕДВЕДЕВА

Татьяна ШИШОВА

Эббюз нерушимый... 68

Олег ВЫБОРНОВ

Благородный книжник 73

К НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ

Виктор ЛИПАТОВ

Преславный мудрец 62



**Феофан
ГРЕК**
«Спас»



«Богоматерь»

На 1-ой странице
обложки:
«Богоматерь»
(фрагмент).

На 2-ой странице
обложки:
«Голова Спаса»,
«Архангел»,
«Троица»
(фрагмент)



«Иоанн Предтеча»



«Архангел Гавриил»